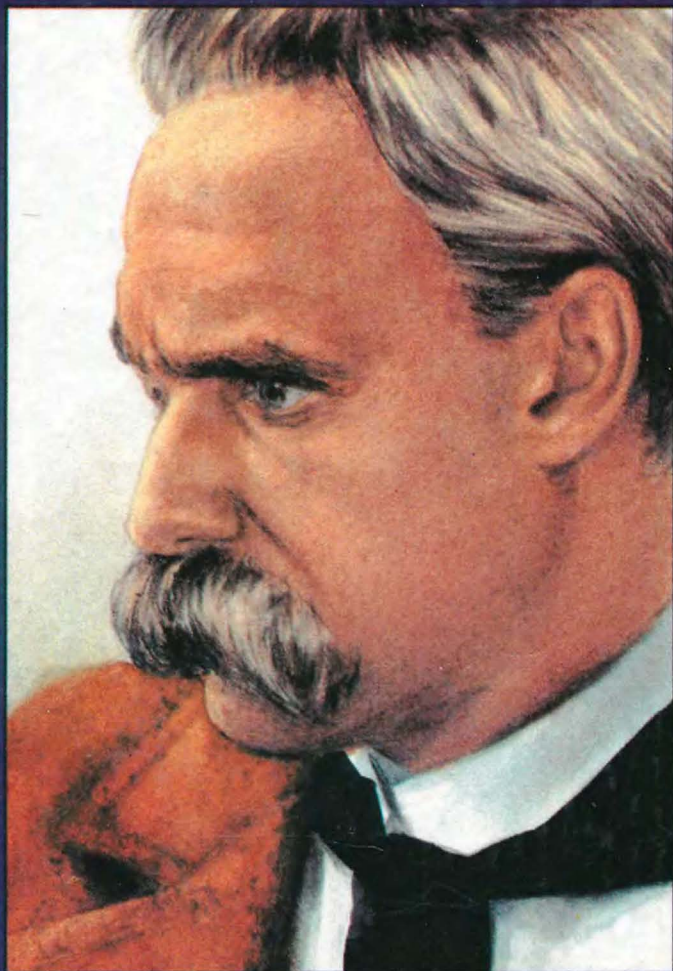




СЛЕД В **И**СТОРИИ

ФРИДРИХ НИЦШЕ



ДАНИЕЛЬ ГАЛЕВИ

Даниэль Галеви

Жизнь Фридриха Ницше

Ростов-на-Дону

«Феникс»

1998

Перевод с французского *А. Н. Ильинского*

Даниэль Галеви

Г15 Жизнь Фридриха Ницше. Пер. с франц. А. Н. Ильинского. Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс». 1998. — 384 с.

Жизнь и творческое наследие Ф. Ницше до сих пор является пробным камнем отношения к культуре. Понятый однобоко, он давал повод для обвинений в обосновании фашизма, вот почему и в нашей стране отношение к великому философу было не свободно от политической окраски. Книга Д. Галеви — серьезное и в то же время исключительно захватывающее повествование о жизни и духовном росте знаменитого немецкого мыслителя.

ББК 87.3(2)

ISBN 5-222-00157-1

© Оформление, изд-во «Феникс», 1998

Предисловие

Мы предлагаем вниманию просвещенных читателей книгу, встретившую уже во французском подлиннике самый лестный прием как у западноевропейской, так и у русской критики. Даниэль Галеви ставит себе многотрудную задачу написать беспристрастную биографию философа-художника, жизнь и учение которого вызвали уже на всех языках бесчисленное множество партийных предвзятых истолкований. Литература о Ницше очень велика и размножается каким-то почкованием. Один лишь Толстой встретил несравненно более усердное писательское внимание всех национальностей.

На немецком книжном рынке имеются пространные жизнеописания Ницше, принадлежавшие: одно («Жизнь Фридриха Ницше», Лейпциг, 1897) перу его сестры, Елизаветы Фёрстер, другое — Карлу Альбрехту Бернулли — автору двухтомного повествования о дружбе Ницше с Овербеком («Франц Овербек и Фр. Ницше, их дружба, по неопубликованным документам», Йена, 1908). На каждой странице кропотливого труда Е. Фёрстер сквозит неизбежное родственное пристрастие. Многие чрезмерно подчеркнута, не без рекламного, быть может, расчета, многое заботливо затушевано. Роль ангела-хранителя в образе сестры едва ли не преувеличена до крайности. Известно, что в мучительные годы, предшествовавшие полному безумию, несчастный философ горько жаловался на недостаточное внимание именно родной сестры, вышедшей замуж в Южной Америке. Громадная работа Бернулли далеко не везде блюдет психологическую перспективу. Фигура Овербека чересчур выдвинута на авансцену. Кое-что напрасно оставлено в тени, кое-что напрасно освещено эффектно каким-то рембрандтовским приемом. Как и сле-

довало ожидать, Бернулли выступил суровым обличителем своекорыстной тенденциозности Е. Фёрстер (напр. т. I, гл. XV, С. 210, 228, 328—352 и мн. др.).

Между двумя биографами завязалась ожесточенная печатная полемика*, а затем и судебная тяжба. В результате последней изящный второй том книги Бернулли был обезображен целыми страницами уничтожающих черных пятен ... Немецкие читатели негодовали на появление в неполитической и непорнографической книге «русской цензурной искры». Кто был в конце концов прав из двух соревнующихся биографов — осталось благодаря этому неизвестным.

Обширная и серьезная английская книга М. А. Мюгге «Фридрих Ницше, его жизнь и деятельность» (Т. Фишер Унвин, Лондон, 1908, 499 стр.) дает обстоятельное жизнеописание философа, составленное, однако, исключительно по второисточникам. Главное внимание Мюгге направлено на оценку моральной платформы Ницше. Еще менее биографического элемента в посредственной книге его соотечественника Генри Менкена «Философия Фридриха Ницше» (Лондон, 329 стр.), несмотря на многообещающее заглавие первой главы: «Ницше как человек».

Детально изображает философское развитие Ницше, останавливаясь подолгу на каждой знаменательней степени его причудливого духовного роста, профессор Артур Дреус в солиднейшей книге своей «Философия Ницше» (Гейдельберг, 1904, 571 стр.).

Однако многим существенным моментам интимной сердечной жизни Фр. Ницше не уделено никакого внимания. Подобный же разрез материала встречаем в ценном исследовании Циглера «Фридрих Ницше» (Берлин, 1908, 211 стр.).

* См.: «Архив Ницше — находки его друзей» Е. Фёстер (1907), С. 87—92.

Точно так же итальянские авторы Орестано («Основные идеи Ф. Ницше и их прогрессивное значение. Критический обзор». Палермо, 1903, 367 стр.) и известный исследователь индивидуалистического анархизма, Этторе Зокколи («Фридрих Ницше: религиозная философия, мораль, эстетика». Турин, 1901, 348 стр.) посвящают «безумной личности Ницше» несколько поверхностных страниц и пекутся гораздо более о точном установлении границ различных фазисов философского развития Ницше. Значительно ближе интересуется душевными лирическими переживаниями певца Заратустры французский писатель Х. Лихтенбергер («Философия Ницше». Париж. 1901), но его блестящая книжка не может претендовать на роль духовной биографии знаменитого скептика.

В небогатой русской литературе о Ницше важные и глубокие этюды московских профессоров князя Е. Н. Трубецкого и В. М. Хвостова основаны исключительно на объективных данных его литературного наследия и оставляют почти в стороне его личный внутренний мир.

Даниэль Галеви, по-видимому, постоянно помнит о тех загадочных особенностях философского характера Ницше, которые налагают весьма нелегкие обязанности на биографа.

Есть ведь подвижники мысли с уравновешенным эпическим складом духа, создающие в конце жизни стройную и устойчивую логическую архитектуру своего учения. Таковы Аристотель, Спиноза, Кант, Гегель, Спенсер... И есть философы страстного лирического склада, воплощающие собой ненасытное искание, огненную динамику вечного потока. Таковы Платон, Руссо, Фихте и Ницше... Раскрытие мировоззрений последних невозможно теперь без последовательных психологических жизнеописаний.

Исполинское философское зодчество Спинозы или Канта не отражает в себе нисколько их разнородный жизненный уклад: бурную трагедию отлученного амстердам-

ского еврея и безвозбратный трудовой путь кенигсбергского профессора. Многогранная и противоречивая философия Ж.-Ж. Руссо или Фр. Ницше может быть истолкована лишь в неразрывной связи с осторожной патологией их болезненного гения. Здесь необходим, однако, тот строжайший научный такт, в пределах которого посчастливилось, в отличие от многих других, удержаться вдумчивому и добросовестному Даниэлю Галеви. Французский писатель не поддался соблазну, одолевшему и некоторых очень авторитетных людей. Когда престарелого автора лучшей истории новой философии, Куно Фишера, спрашивали, почему он не отводит в своих трудах места Фридриху Ницше, то знаменитый гейдельбергский профессор с презрением всегда отвечал: «Ницше — просто сумасшедший».

На такую позицию «удобопревратной простоты» особенно охотно становятся правоверные представители официальной схоластики*. Так, автор большой книги «Закрытие «дела Ницше» (Лейпциг. 1907, 329 стр.). Йоханнес Шлаф называет всю нравственную философию Ницше сплошным помешательством, всю логику его признает паралитической (с. 277, 279 и 280), а в учении о сверхчеловеке — усматривает садическую подпочву**.

Много раз в литературе делались попытки истолковать жестокий душевный недуг, отравивший последнюю четверть жизни Фридриха Ницше, как праведную божественную кару за его нечестивое вольнодумство, как достойное искупление его сатанинской гордыни. В 1892 году редакция московского журнала «Вопросы философии и

* Отрядным исключением являются внепартийные работы немецких пасторов Кальтгофа («Фр. Ницше и проблемы современной культуры», 1900) и Риттельмейера («Фр. Ницше и религия». Ульм, 1904).

** Психиатры до сих пор не сталкивались о сущности и о причинах душевного недуга Ницше. См.: Дж. Мёбиус «Случай патологии» (Висбаден, 1902).

психологии», неизменно пользующегося всеобщим уважением, уступила неблагожелательной духовно-полицейской цензуре и предпослала изложению нравственной доктрины Фр. Ницше следующие предохранительные замечания: «Какой великий и поучительный пример представляет судьба этого несчастного гордеца, попавшего в дом умалишенных... Истинный ужас наводит это великое и заслуженное наказание злополучного безбожника, вообразившего себя богом...» (Книга XV, с. 116).

Владимир Соловьев в сатирической заметке под заглавием «Словесность или истина» серьезно утверждает*, что тяжелой психической болезнью Ницше «спас свою душу». Думаем, что даже нравственно-гениальный автор «Оправдания добра» — недостаточно полномочен для разгадывания вневременных судеб мятежной души, безвремем крушимой.

Ницше действительно заплатил безумием за героическую непокорность своей вопрошающей мысли, отдал невольно жизнь за свое запоздалое бессмертие. Непроницаемое темное облако окутало навсегда горделивую вершину его духа именно тогда, когда он, казалось, дождался возрождающего озарения от мирового светила — Логоса и запел восторженный победный гимн. Точно леденящий вихрь Хаоса погасил навсегда этот трепетный Прометеев огонь. В сумерках надвигавшегося безумия Фридриху Ницше стало казаться, что душевные и плотские страдания ниспосланы ему, как Спасителю человечества, он видел самого себя в золотом нимбе и так странно отождествлял себя с Распятием...

Было бы справедливо применить буквально к нему слова великого Толстого о Мопассане, о том Мопассане, которого Ницше столь любил и считал столь родственным себе духовно («Вот Человек!», 1, 3): «Он дожил до того трагического момента жизни, когда началась борьба между

* Собрание сочинений. VIII. С. 101.

ложью, которая окружала его, и истиною, которую он начинал сознавать. Начинались уже в нем приступы духовного рождения... Если бы ему суждено было не умереть в муках рождения, а родиться — он бы дал великие поучительные произведения, но и то, что он дал нам в своем процессе рождения, уже многое. Будем же благодарны этому сильному правдивому человеку и за то, что он дал нам».

Такая трагическая фигура поверженного, но не побежденного Ницше нашла теперь для себя достойного духовного ваятеля. Скорбный и привлекательный облик гениального скептика-страдальца, сгоревшего на жертвенном пламени своего неугасимого духа, встанет перед внимательным читателем прекрасной книги Даниэля Галеви.

Переведенный нами автор обнаружил везде замечательное психологическое и художественное чутье.

Нравственный силуэт Ницше воспроизведен им бережно и любовно во всей прихотливой извилистости его таинственных очертаний. Драгоценная оригинальность работы Галеви состоит прежде всего в том, что характеристика Ницше на всем пространстве его тернистого жизненного пути сделана везде его собственными словами. Галеви не выступает перед нами самозванным судьей вольных и невольных прегрешений прославленного отрицателя, но и не остается равнодушным компилятором. Его повествование не случайная пестрая мозаика, а стройное органическое целое, скрепленное одной проникновенной мыслью. Он мудро брал у своего оригинала то, что нужно для творческого портрета. Певец недопетых песен Заратустры дождался наконец для себя вполне нелицеприятно биографа. Да будет правдивый талантливый труд последнего оценен по достоинству в России — стране, к которой Фридрих Ницше относился всегда с живейшим интересом и заочной сердечной симпатией.

Валентин Сперанский (1911 г.)



I

Годы детства





Карл Людвиг Ницше, молодой лютеранский пастор, происходил из духовной семьи. Дед и отец его были преподавателями богословия; жена его была внучкою и дочерью пасторов. Новый образ мыслей, бурные желания не коснулись Карла Людвигу Ницше; он спокойно и уверенно следовал в своей жизни двухстороннему традиционному миросозерцанию: верил в Бога, в его откровение верующим людям и был верноподданным своего государя. Высшие власти относились к нему с большим уважением. Фридрих Вильгельм IV, король Пруссии, оказывал ему свое покровительство. Блестящая карьера открывалась перед ним, но его больные нервы, слабая голова обрekli его на спокойную жизнь.

Он попросил себе деревенский приход, и ему поручили Рёккен, бедную деревушку, домики которой расположены в широкой долине, на рубеже Пруссии и Саксонии. Карл Людвиг Ницше вскоре привязался к этому меланхолическому местечку и примирился с одиночеством. Будучи большим музыкантом, он часто при наступлении сумерек запирался в церкви и импровизировал на деревенском органе, а добродушные поселяне, проходя мимо, останавливались около церкви и были в восторге от его музыки.

Четыре года пастор и его молодая жена не имели детей. Первый ребенок, сын, родился 15 октября 1844 г. в день рождения короля. Это совпадение только увеличило радость счастливого отца. «О, октябрь, благосло-

венный месяц, — написал он в церковной книге, — ты всегда приносишь мне радость, но из всех твоих подарков это самый проникновенный и чудесный; я даю крещение моему первенцу. Сын мой, твоим именем на земле будет Фридрих Вильгельм, в память короля, моего благодетеля, в день рождения которого ты получил жизнь».

Вскоре у Карла Людвига Ницше родился второй сын и затем дочь. Обрывки воспоминаний жены и дочери Карла Людвига рисуют нам семейный очаг Ницше с его быстро проходящими радостями. Маленький Фридрих долго не начинал говорить; серьезными глазками смотрит он на окружающие его предметы и лишь двух с половиной лет произносит первое слово. Пастор, любивший в мальчике молчаливого спутника, часто брал его с собой на прогулку. Фридрих Ницше никогда не мог забыть ни отдаленного звона колоколов, разносившегося по необозримой, усеянной прудами долине, ни ощущения своей маленькой руки, потонувшей в большой сильной руке отца.

Скоро пришло и горе. В августе 1848 г. Карл Людвиг Ницше упал с лестничного крыльца и сильно ударился головой об ее каменные ступени. Было ли это сотрясение главной причиной или оно только ускорило наступление ужасной болезни — неизвестно. Карл Людвиг Ницше умер после целого года безумия и изнурительных страданий. Фридриху Ницше было тогда 4 года. Трагизм пережитых дней поразил его ум, беспокойная ночь, рыдания, слышавшиеся в доме, страх перед закрытой комнатой отца, тишина, заброшенность... Затем колокольный звон, похоронные напевы, надгробные речи и гроб, скрывшийся под церковными плитами. Долгое время Фр. Ницше жил с душой, встревоженной оттого, что он так рано понял смерть. По ночам его посещали видения, он предчувствовал приближение но-

вой катастрофы. Вот наивный рассказ об его сне, виденном им на четырнадцатом году жизни...

«Когда у дерева срезают верхушку, то оно увядает, сохнет и птицы покидают его ветви. Наша семья лишилась своего главы, всякая радость улетела из наших сердец и глубокая грусть охватила их. Едва только стала заживать наша рана, как ей нанесли новый удар. В эти ночи я не слышал во сне погребальные звуки органа, печально раздававшиеся под сводами церкви. И когда я старался понять, откуда я слышу их, раскрывалась могила и из нее выходил закутанный в саван отец. Он проходил через всю церковь и вскоре возвращался, держа в своих объятиях ребенка. Снова раскрывалась могила, отец опускался в нее, и камень закрывался над ним. Звуки органа замолкали, и... я просыпался. Утром я рассказывал сон моей горячо любимой маме. Вскоре заболел мой маленький брат Иосиф, у него сделался нервный припадок, и он умер через несколько часов. Горе наше было ужасно. Мой сон сбылся в точности, маленький труп опустили в объятия отца. После этого двойного несчастья один Господь Бог стал нашим утешителем...»

Это было в конце января 1850 г.

Весною этого года мать Фр. Ницше покинула приход мужа и переселилась в соседний город Наумбург на Заале. Там она была не одна: вблизи от города, в деревне, жили ее родители; мать и сестра ее мужа переехали в снятый ею маленький домик, где она и дети малопомалу привыкли к своему горю.

Наумбург был королевским владением, основанным Гогенцоллернами и переданный их династии. Городское население его составляли чиновники и духовенство; несколько семейств офицеров из мелкого дворянства жили между покрытыми дерном фортификациями, пять ворот которых запирались на замок каждый вечер. Жизнь протекала строго и размеренно. Колокол кафедральной церкви наполнял городок

своим гудящим звоном, будил его, усыплял и призывал его жителей к торжественному богослужению или светскому празднеству. Фр. Ницше был серьезным, уравновешенным мальчиком; инстинкты его вполне согласовались с обычаями Наумбурга, и его восприимчивая душа скоро открыла красоту в новой городской жизни. Его восхищали военные парады, церковная служба с органом и хоровым пением, и церемонии, которыми сопровождались большие праздники. Каждый год мальчика волновало наступление Рождества; день его рождения волновал его менее, но радости приносил еще больше.

«День моего рождения является также днем рождения нашего горячо любимого короля, — писал он, — в этот день я просыпаюсь под звуки военной музыки. Я получаю подарки; эта церемония не занимает много времени, и мы все идем в церковь. Хотя проповедь и не написана на мой счет, но я выбираю из нее лучшие места и отношу их к себе. Затем мы собираемся в школе, чтобы присутствовать на торжественном празднестве. Перед тем как разойтись, мы поем прекрасный патриотический гимн, и директор «consilium dimisit». Затем для меня наступает лучшая минута из всего дня: товарищи мои приходят ко мне, и мы веселимся весь остаток дня».

Фр. Ницше не забывал отца; следуя его примеру, он, как и все мужские представители их рода, собирался стать пастором, одним из избранных Божьих, говорящих от Его имени. Он не знал более высокого и соответствующего его желаниям призвания. Несмотря на молодые годы, совесть его была чрезвычайно требовательной и боязливой. Страдая от малейшего выговора, он не раз хотел заняться самоисправлением. Переживая укоры совести, Ницше прятался в темный уголок анализировал себя, и только после обдуманного порицания или оправдания своего поступка он снова бежал

играть к сестре. Однажды во время сильной грозы и ливня мать ребенка с удивлением увидела, что он возвращается откуда-то домой без зонтика и без пальто и идет ровным медленным шагом. Она окликнула его. Важно войдя в комнату, Ницше заявил: «Нам внушают, что не еледует бегать по улицам». Товарищи прозвали его «маленьким пастором» и с почтительным вниманием слушали, когда он читал вслух какую-нибудь главу из Библии.

Мальчик знал, что пользуется среди товарищей престижем. «Когда умеешь владеть собой, — поучал он важно сестру, — то начинаешь владеть всем миром». Он был горд и твердо веровал в благородство своего рода. Часто Фридрих и его сестра Элизабет мечтательно слушали семейную легенду, которую им с охотой рассказывала бабушка. Отдаленные предки Ницше жили в Польше, имели графское достоинство и назывались Ницкие. Во время Реформации, подвергаясь преследованиям, но пренебрегая ими, они порвали с католическою церковью и должны были спастись бегством, захватив с собою только что родившегося сына.

Три года они скитались из города в город, спасаясь от гонений и преследований; мать не переставала кормить малютку грудью и, несмотря на все перенесенные испытания, наделила его чудесным здоровьем. Он прожил до глубокой старости и передал своему потомству две добродетели: выносливость и долголетие.

Фридрих никогда не уставал слушать об этих занимательных приключениях и часто просил повторить ему сказку про поляков. Много раз заставлял он рассказывать о том, как происходили выборы короля дворянами, съехавшимися для этого верхом на лошадях в большую долину; право даже самого младшего из них воспротивиться общей воле и не согласиться с выбором восхищало и поражало его. Он ни минуты не сомневал-

ся в том, что поляки первый народ в мире. «Граф Ницкий не должен лгать», — заявил он однажды сестре. Страсти и горделивые желания, тридцать или сорок лет спустя вдохновлявшие произведения Ницше, уже теперь начинали волновать этого ребенка с выпуклым лбом и большими глазами, окруженного лаской обездоленных женщин. К девяти годам вкусы его расширились; первое знакомство его с музыкой произошло во время одной церковной службы, где он услышал хор Генделя. Мальчик стал учиться на рояле; он импровизировал, аккомпанируя себе, распевая псалмы из Библии, и мать содрогалась, глядя на него, вспоминая его отца, который, подобно ему, играл и импровизировал на органе рёккенской церкви.

Им овладел тиранический инстинкт творчества. Он сочиняет мелодии, фантазии, целый ряд мазурок, которые посвящает своим «польским предкам». Он написал стихи, и все — его мать, бабушка, тетки и сестра — получали ко дню своего рождения поэмы его сочинения, им же переложенные на музыку. Даже игры давали ему темы для сочинений: он написал несколько дидактических трактатов, заключающих в себе ряд правил и советов, и вручил их своим товарищам по школе. Вначале он преподавал им архитектуру, затем в 1854 г., во время осады Севастополя, взятие которого он горько оплакивал, так как любил всех славян и ненавидел революционных французов, он изучал баллистику и систему защиты крепостей. Одновременно с этим он основал вместе с двумя своими товарищами «Театр искусств», где давались драмы из античного и варварского мира; последние были его собственного сочинения и назывались «Боги Олимпа» и «Оркадал».

Он покидает школу и поступает в Наумбургскую гимназию. Превосходство его над сверстниками сразу бросилось в глаза учителям, и они посоветовали его мате-

ри поместить его в высшее учебное заведение. Бедная женщина колебалась — ей тяжело было расстаться с сыном: она мечтала, что он останется около нее.

Это было в 1858 г. Для Ницше эти летние вакации имели некоторое значение; он провел их по своему обыкновению в деревне Поблес, в тени лесистых берегов Заалы, где каждое утро купался. Он жил в доме родителей своей матери вместе с сестрой Лизбет. Он был счастлив, упоен жизнью, но тем не менее неопределенность будущего занимала его мысли.

Приближались юношеские годы, а может быть, с ними и необходимость покинуть родных, друзей, переменить место жительства. С долей беспокойства он предчувствовал, что жизнь его потечет по новому руслу. Мысленно возвращался он к своим детским годам, к тому времени, которое даже у взрослого человека не должно возбуждать насмешливой улыбки; прошло тринадцать лет, полных первыми привязанностями, первыми огорчениями, первыми проявлениями гордости самолюбивого ребенка, чудесными откровениями, которые ему дали музыка и поэзия. Воспоминания обильным потоком нахлынули одни за другими и растрогали его. Ницше, с его лирической душой, почувствовал себя как бы опьяненным самим собою; он взял перо и в двенадцать дней написал историю своего детства. Окончив ее, он был счастлив.

«Теперь, — пишет он, — я удачно закончил первую тетрадь и доволен тем, что мне удалось сделать. Я писал с величайшим наслаждением и ни одной минуты не чувствовал себя утомленным. Как хорошо заставить как бы снова пройти перед глазами первые годы своей жизни и проследить в них развитие своей души. Я рассказал всю правду, искренно, не поэтизируя, безо всяких литературных отступлений. Если бы я мог исписать таким образом еще не одну тетрадь!»

Затем следует четверостишие:

Ein Spiegel ist das Leben —
In ihm sich zu erkennen
Möcht'ich das erste nennen,
Wonach wir nur auch streben!

«Жизнь — зеркало. Узнать себя в нем — в этом, сказал бы я, заключается главная цель. К этому стремится каждый из нас».

* * *

Школа Пфорта находится в двух лье от Наумбурга, по течению Заалы. С тех пор как существует Германия, в Пфорта есть и ученики и учителя. В XII веке несколько цистерцианских монахов, пришедших с латинского Запада для обращения славян, захватили в свои руки эту пересекаемую рекой местность. Они воздвигли высокие крепостные стены, различные строения, церкви и положили начало своим до сих пор не угасшим традициям. В XVI веке они были изгнаны саксонскими князьями, но школа их продолжала существовать, и сменившие монахов лютеране сохранили в неприкосновенности прежние методы преподавания.

«Воспитание детей должно готовить их к религиозной жизни, — значит в одной инструкции, написанной в 1540 г. — В течение шести лет они должны изучать словесность и дисциплину добродетели». Воспитанники школы содержатся вдали от своей семьи и никого не видят, кроме своих учителей. Им предписываются некоторые определенные правила поведения: было запрещено говорить друг другу «ты» и вообще свободно держать себя. Между воспитанниками существовала известного рода иерархия: более взрослые заботились о более молодых, и каждый учитель был воспитателем 20 учеников. Их учили богословию, еврейскому

языку, греческому и латыни. Дух гуманизма, протестантский морализм и немецкая требовательность образовали в этом монастыре причудливый и скорый союз и проявили удивительную жизнеспособность. Целый ряд выдающихся и знаменитых людей получили свое образование в Пфорта: Новалис, братья Шлегель, Фихте, философ, педагог и патриот, составивший славу школы. Фр. Ницше давно хотелось поступить в Пфорта. Ему дали стипендию, и он покинул свою семью в 1858 году.

С момента поступления в монастырь мы теряем его из виду. Сохранился только один наивный анекдот героического характера из эпохи его первых школьных лет. Нескольким ученикам показался неправдоподобным рассказ о Муции Сцеволе, и они отрицали возможность существования подобного факта: «Ни у одного человека не хватило бы мужества положить в огонь руку», — рассуждали молодые критики. Ницше, не устаивая их ответом, вынул из печи раскаленный уголь и положил себе на ладонь. Знак от этого ожога остался у него на всю жизнь, тем более, что он искусственно поддерживал и растравлял рану, вливая в нее расплавленный воск.

Без сомнения, Ницше с трудом освоился с новой для него жизнью. Он редко принимал участие в играх, так как не любил сходитья с незнакомыми людьми, а нежная материнская ласка была плохой подготовкой к дисциплине Пфорта. Он ходил в отпуск только раз в неделю, в воскресенье после обеда. Мать, сестра и два товарища из Наумбурга поджидали его у ворот школы и проводили с ним день в соседней харчевне.

В июле 1859 года Ницше получил отпуск на целый месяц — более продолжительных вакаций в Пфорта не бывало. Ницше снова увидел любимых людей, любимые места и совершил небольшое путешествие в Йену и Веймар. Целый год он посвятил только школьным занятиям, теперь к нему снова вернулись вдохновение

и наслаждения творчества, и он написал сентиментальную фантазию, не лишенную патетических мест, навеянную ему летними впечатлениями.

«Солнце уже зашло, — пишет он, — когда мы оставили городскую стену. За нами небо точно купается в золоте, над нами пылают розовые облака; перед нами, овеянный тихим вечерним ветерком, покоится город. «О, Вильгельм, — сказал я своему другу, — есть ли на земле еще большая радость, чем бродить вместе по свету. О, радость дружбы, верной дружбы, о, дыхание прекрасной летней ночи, аромат цветов, пурпур вечернего неба! Но чувствуешь ли ты, как летят твои мысли и как они, подобно щебечущим ласточкам, парят на увенчанных золотом облаках? Как прекрасен вечерний пейзаж! Это моя жизнь раскрывается мне! Посмотри, как сгруппировались мои дни: одни остались как в полутени, другие же выступают вперед свободно и неудержимо». В эту минуту раздается душераздирающий крик; он несется из сумасшедшего дома, стоящего неподалеку. Крепче сплетаются наши руки, как бы от прикосновения страшного крыла какого-то злого гения. Прочь, злые силы! Да! В этом прекрасном мире есть несчастные! Но что же это такое, это несчастье?!»

В начале августа Ницше вернулся в Пфорта, и возвращение в школу было ему так же тяжело, как и приезде. Он не может примириться с резким переходом от семьи к школьной дисциплине, мысли о самом себе не оставляют его в течение нескольких недель, и он ведет интимный дневник, который знакомит нас с его настроением и распределением каждого его дня. В начале находим несколько бодрых изречений против скуки, сообщенных ему одним профессором и записанных в дневник; затем идет рассказ о его занятиях, развлечениях, о прочитанных книгах, переживаниях, душевных кризисах. Лирическая душа ребенка порою борется с этими переживаниями, порою отдается им безраздельно и с трудом покоряется тогда дисциплине.

Когда возбуждение овладевает им, он бросает слишком мало музыкальную для его меланхолии прозу и переходит к ритму и рифме; приходит вдохновение — и он пишет стихи, четверостишия, шестистишия; он не ищет и не удерживает потока вдохновения, он отдается в его власть; как только оно покидает его, тотчас же, как и в шекспировских диалогах, появляется на сцену проза.

Иногда жизнь Пфорта скрашивалась часами непринужденного юношеского веселья. Дети гуляли, пели хором, ходили купаться. Ницше принимает участие во всех этих развлечениях и сам рассказывает нам об этом. Когда жара становится нестерпимой, ученики бросают занятия и идут купаться. Двести мальчиков спускаются к реке, маршируя в такт распеваемым песням, бросаются в воду, не нарушая установленных рядов, и довольно долго плавают; младшие хотя и устают скорее, но все же гордятся своей выносливостью; по свистку воспитателей мальчики выскакивают на берег и одеваются — обыкновенно их сопровождал паром, куда и складывалось их платье; в полном порядке, по-прежнему с песнями, они возвращались в старую школу к прерванным занятиям. «Это было изумительно хорошо!» — восклицает Ницше. Наступал конец августа, еще 8 дней, еще 6, целый долгий месяц, и в дневнике Ницше не прибавляется ни одной новой строки. Он берет тетрадь в руки для того, чтобы на время покончить с нею и написать заключение...

«С того дня, как я начал писать мой дневник, мой образ мыслей совершенно изменился; тогда ранним летом все зеленело и расцветали цветы, а теперь, о горе, наступила поздняя осень... Тогда я был *unter-tertianer*, а теперь я поднялся на ступень выше; прошел день моего рождения, и я стал на год старше. Да, время проходит, как жизнь весенней розы, радость тает, как пена в ручейке.

В данный момент я весь охвачен необыкновенной жаж-

дой знания, изучения всемирной культуры. Разбудило во мне это желание чтение Гумбольдта. Если бы мое новое увлечение было бы так же продолжительно, как и моя любовь к поэзии!»

Ницше составляет себе обширный план занятий: геология, ботаника, астрономия, латинская стилистика уживаются у него с еврейским языком, военными науками и разного рода техническими познаниями. «И над всем возвышается Религия, основание всякого знания. Как ни велика область, охватываемая знанием, но искания правды бесконечны!...»

Мальчик усердно занимался всю зиму и весну. Но вот наступили вторые вакации и затем третий приезд его в школу; снова осень обнажила старые дубы Пфорта; Ницше в это время было уже 17 лет, и он начал почему-то грустить. Слишком долго он покорно исполнял все требования своих учителей, он прочел уже Шиллера, Гёльдерлина, Байрона и мечтает теперь о греческих богах и о мрачном Манфреде — всемогущем маге, который, устав от своего всемогущества, тщетно ищет отдыха в смерти, побежденной его собственным искусством. Что могут значить для Ницше теперь уроки его профессоров? Мечтательно вспоминает он стихи поэта-романтика:

Sorrow is knowledge: they who know the most
Must mourn the deepest over the fatal truth
The tree of knowledge is not that of life.

Познание горько: кто глубже всех познал,
Тот плачет над роковою истиной —
Древо познания не есть древо жизни.

Наконец занятия утомили его. Он стремится на свободу из мрачных стен школы, он бежит от забот, наполняющих его жизнь; углубившись в самого себя, он отдается мечтам, которые сменяют одна другую в его

воображении. Он открывает свою душу перед сестрою и матерью и объявляет им, что планы его на будущее резко изменились: университет ему наскучил, и он хочет быть не профессором, а музыкантом. Мать убеждает его отказаться от этой мысли и достигает своей цели, но ненадолго. Смерть любимого учителя довершает душевное настроение Ницше; он окончательно бросает работу, уединяется и предается размышлениям.

Вот что он пишет в этот период своей жизни: он говорит, между прочим, что с раннего детства у него было инстинктивное влечение к письменной речи, к видимой мысли. Он ни на минуту не бросает писать, и таким образом мы можем ознакомиться с самыми тонкими оттенками переживаний его беспокойной души. Он приобщается к беспредельному миру романтизма и науки, к этому миру, мрачному, беспокойному, чуждому любви. Созерцание его очаровывает Ницше и пугает вместе с тем. Следы былой набожности еще не исчезли из его души; его мучают укоры совести, напоминающие ему о бессильной дерзости отрицания. Он старается удержать в своей душе былую веру, но она исчезает с каждым днем. Ницше не в силах последовать примеру французов, порвавших с католицизмом; он медленно и боязливо освобождается от влияния религии; медленно — потому, что для него еще живы и полны значения догма и религиозные символы, олицетворяющие все его прошлое, связывающие его с памятью об отце и родительском доме; боязливо — потому, что чувствует, что, потеряв старую спокойную веру, он не найдет новой, и все вопросы спутаются и смешаются в его голове. Понимая всю важность выбора, он размышляет следующим образом:

«Подобная попытка по существу не должна быть результатом работы нескольких недель, а целой жизни, — пишет он, — разве можно, имея за собой только детское

наивное миропонимание, нападать на авторитеты двух тысяч лет, признанные самыми глубокими мыслителями всех времен? Разве можно, обладая только фантазиями, только зачатками идей, уйти от религиозной скорби и религиозного откровения, которыми была проникнута история? Разрешить философские проблемы, за которые человеческая мысль борется уже несколько тысяч лет, революционизировать верования, полученные нами от самых больших авторитетов, верования, поднявшие впервые человечество на должную высоту, связать философию с естествознанием, не зная даже общих выводов ни той ни другой, и, наконец, построить на основах естествознания систему существующего, в то время как разум не понял еще ни единства всемирной истории, ни наиболее существенных принципов, — надо быть безумно смелым, чтобы решиться на все это ...

Что такое человечество?

Мы едва можем ответить на этот вопрос: известная степень среди существующего, определенный период, произвольное творение Бога... Разве человек на первичной ступени своего развития не был простым камнем и не имеет за собой в прошлом длинный ряд промежуточных изменений через флору и фауну? Является ли он в настоящее время вполне законченным существом или еще что-нибудь ждет его в истории?

Это вечное движение будет ли иметь конец?

Где находятся пружины этих громадных часов?

Они скрыты от нас, но, как бы ни был длинен час, называемый нами историей, пружины остаются все те же.

Все перипетии написаны на циферблате часов, стрелка движается, и, пройдя двенадцать часов, снова идет по пройденному уже пути — тогда открывается новый период истории человечества.

Отправиться без компаса и проводника по океану сомнений — это верное безумие и гибель для молодого ума; большинство смельчаков погибло, и невелико число тех, кому удалось открыть новые страны...

Как часто вся наша философия представляется мне Вавилонской башней! Философия приводит к печальным ре-

зультатам: она только смущает народную мысль; надо ожидать великих событий в тот день, когда толпа поймет, что все христианство не имеет под собой никакой почвы. Существование Бога, бессмертие души, авторитет Библии, откровение — останутся вечными загадками. Я пытался отрицать все, но, увы, как легко разрушать и как трудно созидать!»

Какая прекрасная душа открывается нам в этой странице!

Фр. Ницше уже мучается над разрешением тех вопросов, над которыми впоследствии сосредоточились все его мысли, и в этих юношеских опытах сказываются первые абрисы той философии, которая позже взволновала весь мир: человечество — призрак, произвольное творение Бога, нелепое течение влечет его к бесконечному повторению, к вечному возвращению; корень всякой власти — сила, сила же слепа и покорна случаю...

Ницше ничего не утверждает: он даже осуждает поспешное суждение о важных предметах; если он колеблется, то предпочитает не высказывать своих убеждений, но зато, если потом отдается им, то целиком, без возврата. Он не позволяет мысли вырываться наружу, но она переполняет его существо и помимо его воли ищет выражения. «Очень часто, — говорит он, — подчинение Божественной воле и приниженность является только плащом, накинутым на низкое малодушие, охватывающее нас в момент бравурного столкновения с судьбой». Вся мораль, весь героизм ницшеанства заключается в этих немногих словах.

Мы уже говорили, что любимыми авторами Ницше были Шиллер, Байрон, Гёльдерлин. В особенности последнего, в то время еще мало известного, он предпочитал всем другим. Ницше открыл его так же, как часто с первого взгляда находят в толпе друга. Первое литературное знакомство с ним было исключительно по

своей обстановке. Жизнь незадолго перед тем умершего поэта походила на едва начавшуюся жизнь Ницше: Гельдерлин был сыном пастора и хотел последовать в выборе своей карьеры примеру отца; в 1780 г. он изучал богословие в Тюбингенском университете одновременно с такими юношами, как Гегель и Шеллинг. Вдруг он теряет веру; он прочел Руссо, Гёте, Шиллера, и романтизм опьянил его; мальчик всегда любил таинственную природу и светлую, лучезарную Грецию; он любит их одновременно и мечтает соединить их красоты в каком-нибудь немецком творении. Он был беден и вынес на своей спине всю тяжесть жизни нуждающегося поэта. Он страшно тяготился своим положением воспитателя в богатых домах, презиравших бедность, за исключением одной семьи, где его слишком любили; это был короткий миг счастья, за которым следовало уже только одно сплошное горе; на некоторое время он вернулся в свою родную деревню, где люди и самый воздух так мягки и нежны по сравнению с городом; он работал, писал на досуге, но, чувствуя себя постоянно лишней обузой для семьи, бежал из родного угла. Некоторые из своих стихотворений он напечатал, но читающая публика совершенно не оценила его прекрасных поэм, где неизвестный гений заставляет олимпийцев перенестись под сень швабских и прирейнских лесов. Несчастный Гёльдерлин мечтал о более обширных произведениях, но они так и остались только одной мечтой. Германия и Греция слишком различны по своему духу, и нужен был великий гений Гёте, для того чтобы соединить их и вложить вечные мировые слова в уста Фауста — соблазителя Елены.

Гёльдерлин пишет отрывки из поэмы в прозе, героем которой являет молодой грек, скорбящий о падении своего народа; являясь как бы слабым прообразом будущего Заратустры, он призывает лучшую часть чело-

вечества к возрождению. Гёльдерлин набрасывает три сцены из трагедии: герой ее, Эмпедокл, агригентский тиран, поэт, философ, надменный вдохновитель черни, эллин, единственный по своим достоинствам даже среди эллинов, маг, повелитель всей природы, пресытившийся всеми наслаждениями, какие только может дать жизнь, удаляется на вершину Этны, отстраняет от себя просьбы и мольбы семьи, друзей и народа и однажды вечером при лучах заходящего солнца бросается в отверстие кратера.

Несмотря на всю захватывающую мощь поэмы, Гёльдерлин бросает ее недоконченной; его мучает и тяготит тоска жизни, он хочет покинуть Германию, где ему пришлось так много страдать, и освободить близких от присутствия такого бесполезного и нудного члена семьи, как он.

Ему находят место во Франции, в Бордо, и он едет туда. Через шесть месяцев он возвращается домой, весь в лохмотьях, с лицом и руками, сожженными солнцем. Не отвечает на вопросы. С большим трудом удастся узнать, что он прошел пешком через всю Францию под палящими лучами августовского солнца. Он лишился рассудка и медленно угасал, не приходя в сознание, в течение сорока лет. Гёльдерлин умер в 1843 году, за несколько месяцев до рождения Ницше. Какой-нибудь платоник сказал бы, пожалуй, что душа одного гения переселилась в тело другого. В телах этих двух людей жила та же самая германская, романтическая по природе и классическая по духу, душа, разбитая на пути к достижению своих стремлений и приведшая их обоих к одинаковой жизненной развязке. И кажется, что в судьбе обоих сказался слепой труд расы, которая, не прерывая своего монотонного существования, посылает в мир, как мать, из столетия в столетие близнецов по духу на одно и то же испытание.

В этом году при приближении лета Ницше страдал сильными болями в глазах, имевшими какое-то неясное, может быть, нервное происхождение. Вакации были для него поэтому испорчены, но ему разрешили прожить в Наумбурге до конца августа, и радость от этой отсрочки вознаградила его за перенесенные огорчения.

* * *

С добрыми намерениями возвращается Ницше в Пфорта. Он хотя и не разрешил, но проанализировал свои сомнения и мог без вреда для самого себя снова отдаться усиленным занятиям и стать прилежным учеником; в то же время он не перестает читать самые разнообразные книги вне своего школьного курса. Каждый месяц он пунктуально посылает в Наумбург двум своим товарищам целые поэмы, отрывки балетной и лирической музыки, критические и даже философские опыты. Эти личные занятия не мешают его школьной работе. Под руководством прекрасных учителей он изучает языки и древнюю литературу. Ницше чувствовал бы себя совершенно счастливым, если бы на пути у него не стоял назойливый вопрос об избрании себе будущей карьеры.

«Меня волнует мое будущее, — пишет он в мае 1863 года своей матери, — все обстоятельства моей жизни, как внешняя, так и внутренняя, говорят о том, что будущая моя жизнь будет полна тревоги и неизвестности. Я глубоко уверен в том, что достигну должной ступени в той профессии, которую выберу, но вместе с тем у меня не хватит силы отказаться ради профессии от многого другого, что для меня в равной степени интересно. Чем я буду заниматься? Я еще не решил этого вопроса, хотя и вполне сознаю, что подобное решение зависит исключительно от меня самого; я знаю твердо только одно, что если примусь за изучение какого-либо дела, то изучу его до самого дна; от этого выбор дела-

ется, конечно, только еще затруднительнее, так как надо найти такое дело, котороехватило бы меня безраздельно. А сколько мы видим несбывшихся надежд! Как легко сбиться с настоящей дороги под влиянием мгновенного увлечения, семейных традиций, своих личных желаний! Положение мое действительно крайне затруднительно. У меня так много стремлений и желаний, что если бы я удовлетворил их все, то был бы очень образованным человеком, а никак не «профессиональным тупицей» (animal professionnel). Ясно, что я должен был бы отказаться от некоторых своих наклонностей и взамен их развить в себе новые. Но что же именно я должен выбросить за борт моей жизни? Может быть, как раз самых любимых моих детей?!»

Наступают последние вакации и начало последнего учебного года. Без всякого неудовольствия возвращается Ницше в свою старую школу; он успел привязаться к ней и перед скорой разлукой невольно жалеет ее.

Режим школы к тому времени стал значительно мягче: Ницше получил в свое распоряжение отдельную комнату и вообще стал пользоваться некоторой свободой.

Он часто получает приглашения к обеду от своих профессоров и даже знакомится в стенах школы впервые со светскими удовольствиями.

У одного из профессоров Ницше встретился с симпатичной молодой девушкой и после нескольких свиданий влюбился в нее.

В продолжение нескольких дней он мечтал о том, как снесет ей книги и будет вместе с нею заниматься музыкой. Чувство первой любви было томительно прекрасно, но девушка скоро покинула Пфорта, и Ницше снова принялся за будничную работу, закончив свои эстетические и умственные наслаждения чтением «Пира» Платона и трагедий Эсхила. Иногда по вечерам Ницше садился за рояль, а его друзья Герсдорф и Пауль Дейсен с упоением слушали его музыку. Он играл им Бетховена, Шумана, а иногда и импровизировал.

Поэзия по-прежнему волновала его душу. Часто во время перерыва между занятиями он по старой памяти отдавался во власть лирических настроений.

Утром Светлого Воскресения Ницше ушел из школы к себе домой, прошел прямо в свою комнату и там в уединении предался мечтам, и множество видений посетило его душу. Он пишет; после долгого перерыва и невозможности заниматься любимым делом он особенно остро переживает всю силу наслаждения творчеством. Разве эта страница, вылившаяся из-под пера в пасхальное утро, не равна по своей силе будущему Заратустре?

«Вот я сижу у камина вечером в первый день Пасхи, закутавшись в халат. Идет мелкий дождь. Нас двое — я и одиночество. Листок белой бумаги лежит передо мной на столе, я смотрю на него и бесцельно вожу пером. Множество образов, чувств и мыслей теснится в моей голове, давит ее и стремится вылиться на бумаге. Одни из них громко требуют, чтобы я высказал их, другие противятся этому. Первые — молодые, они торопятся жить, другие же — зрелые, хорошо осознанные мысли, как старики, с неудовольствием смотрят на вмешательство новой жизни, ворвавшейся в их мир. Ведь только в борьбе новых и старых начал способно определиться наше настроение; ведь только момент борьбы, победа одной стороны и поражение другой могут в любую минуту нашей жизни называться состоянием нашей души, нашим «*Stimmung*»...

Много раз подстерегая свои мысли и чувства и анализируя их в религиозном уединении, я переживал такое состояние, как будто кругом меня волновались и гудели целые дикие орды и от крика их содрогался и как бы разрывался самый воздух. Так чувствуют себя орел и гордая мысль человека, когда они приближаются к солнцу.

Постоянная борьба питает и укрепляет душу, от этой борьбы вырастают нежные прекрасные плоды; она разрушает старый мир в жажде новой жизни; душа умеет отважно бороться, и какую вкрадчивой делается она, когда

завлекает противника; она заставляет его слиться с нею воедино, неотступно держит его в своих объятиях. Подобное ощущение в такую минуту составляет все наше счастье и все наше горе, но оно уже спадает с нашей души через мгновение, как покрывало, обнажая другое переживание, еще более глубокое и возвышенное, перед которым оно растворяется и исчезает. Таким образом живут впечатления нашей души, всегда единственные, несравнимые, несказанно молодые, ежеминутно углубляющиеся и быстро-летные, как принесшие их мгновения.

В такие минуты я думаю о любимых мною людях, в моей памяти воскресают их имена и лица; я не хочу сказать, что на самом деле их природа непрестанно делается глубже и прекраснее; верно только то, что, вставая передо мною, картины прошлого производят на меня более тонкое и острое впечатление, потому что рассудок никогда не переступает во второй раз уже пройденную грань. Нашему уму свойственно стремление постоянно расширяться. Я приветствую вас, дорогие мгновения, чудесные волнения моей мятущейся души; вы так же разнообразны, как природа, но вы величественнее ее, так как вы непрестанно растете и боретесь, цветок же — наоборот: он благоухает сегодня так же, как и в первый день творения.

Я не люблю теперь так, как любил несколько недель тому назад, и я уже теперь больше не во власти тех настроений, под влиянием которых взялся за перо.»

Фр. Ницше вернулся в Пфорта, чтобы держать выпускные экзамены. Он едва не провалился и по математике не получил нужного балла, но профессора не обратили на это внимания и выдали ему диплом. С болью в сердце покинул Ницше школу. Душа его всегда обладала способностью быстро привязываться к месту и жилищу, в равной степени она дорожит воспоминанием о счастливых минутах и о меланхолических настроениях.

Прощание учеников со школой сопровождалось известной церемонией. В последний раз вся школа собирается на общую молитву; выпущенные ученики вруча-

ют своему наставнику письменную благодарность. Ницше написал ее с пафосом и в торжественном стиле. В начале он обращается к Богу: «Моя первая благодарность принадлежит Ему, всем меня одарившему! Что, кроме горячей благодарности всего моего сердца, полного любовью, принесу я Ему? Этою чудною минутой моей жизни я также обязан Его благодати. Да будет милость Его всегда со мною!» Затем он обращается с благодарностью к королю и благодарит его за ... «доброту, которая помогла мне поступить в школу». Далее он говорит об уважаемых учителях и дорогих товарищах: «Теперь я обращаюсь к вам, мои дорогие друзья!.. Что же сказать мне вам на прощанье? Я понимаю теперь, почему растение, выдернутое из вскормившей его земли, медленно и с трудом принимается на чужой почве. Смогу ли я существовать без вас? Привыкну ли я хоть когда-нибудь к другим людям, к другой обстановке?.. Прощайте!»

Не удовлетворившись этими пространными излияниями, он пишет еще прощальные стихи уже для самого себя:

Пусть будет так; я не нарушу течения жизни.
Пусть будет со мною то же, что и с другими:
Они уходят, их легкий челнок разбивается
И никто не может указать то место, где он затонул.
Прощайте, прощайте! Колокол звонит на корабле.
Я все еще медлю, и гребец торопит меня...
А теперь смело вперед по волнам, не боясь грозы и
подводных камней...
Прощайте, Прощайте!...

N

II

Годы юности





В середине октября 1862 года Ницше покидает Намбург и отправляется в Боннский университет. Вместе с ним едет его товарищ Пауль Дейссен со своим кузеном. Молодые люди не торопятся, останавливаются в прирейнских деревушках и совершают весело свой путь, опьяненные внезапно наступившей свободой. Пауль Дейссен, ныне профессор в Киле, с гордостью и воодушевлением солидного и благодушного буржуа, рассказывает нам о бесконечных проделках, шалостях и безудержной радости своей далекой юности.

Трое друзей верхом разъезжают по деревням. Ницше, пожалуй, слишком увлекается питьем пива в попутных харчевнях, а измерение длинных ушей его верхового коня интересует его больше, чем красивые пейзажи. «Это осел», — утверждает он. «Нет, — возражают его спутники, — это лошадь». Ницше еще раз измеряет уши животного и твердо заявляет: «Это осел». Домой юноши возвращаются только на рассвете. Они наполняют своим шумом и криком весь городок и своим поведением скандализуют местное общество. Ницше напевает любовные песенки, а молодые девушки, разбуженные шумом, подбегают к окнам и из-за занавесок любуются всадниками. Все это продолжается до тех пор, пока из ворот какого-нибудь дома не показывается один из почтенных обывателей; пригрозив пристыженным озорникам, он загоняет их в гостиницу.

Наконец, друзья поселяются в Бонне. Все живо ин-

тересует их. Университеты в то время пользовались особым престижем. Свободные университеты только и вносили живую жизнь в дряхлое тело еще не объединившейся Германии. Они имели за собою славную историю и их окружал ореол еще более славных легенд. Народ знал, что молодые ученые Лейпцига, Берлина, Йены, Гейдельберга и Бонна, воодушевленные своими учителями, вооружились против Наполеона во имя спасения немецкой нации; народ знал также, что эти ученые боролись и борются против деспотизма и клерикализма во имя свободы Германии, народ любил важных профессоров и шумных студентов, в самом благородном образе олицетворявших трудолюбивую, вооруженную для труда родину. Не было, пожалуй, ни одного мальчика, который не вспоминал бы о своих школьных годах как о лучшем времени своей жизни; не было ни одной, даже самой скромной девушки, которая бы не грезила о молодом, невинном студенте; и сама мечтательная Германия не имела, пожалуй, лучшей мечты: она была бесконечно горда своими университетами, рассадниками знания, смелости, добродетели и веселья. «Я приехал в Бонн, — пишет Фр. Ницше в одном из многочисленных отрывков, где он сам себе рассказывает свою жизнь, — с горделивым предчувствием богатого неисчерпаемыми событиями будущего». Ницше знал, каким громадным влиянием пользовался в то время университет. Он горел нетерпением узнать поскорее своих сверстников, о которых он думал, с которыми духовно жил все время.

Большая часть боннских студентов жила, объединившись в корпорации. Ницше вначале немного колебался и не знал, надо ли ему последовать этому общепринятому обычаю. Из боязни, что, отказавшись от всяких товарищеских обязанностей, он обрежет себя на слишком суровое одиночество, Ницше вступил в один

из существовавших ферейнов (Verein). «Только по зрелому размышлению, — пишет он своему другу Герсдорфу, — я сделал этот шаг; приняв во внимание мой характер, я решил, что для меня поступить так почти необходимо».

Несколько недель пролетело в рассеянном наблюдении новой обстановки: надо было привыкнуть к своему студенческому положению. Ницше, конечно, не злоупотреблял ни пивом, ни курением, но увлекался такими скромными удовольствиями, как научные дискуссии, прогулки в лодке по реке. Весело проходило время в прибрежных трактирах, и возвращались домой обыкновенно под аккомпанемент импровизированного хора. Ницше хотел даже однажды драться на дуэли, чтобы стать настоящим «закаленным» студентом, и, не найдя настоящего врага, выбрал одного из безобиднейших своих товарищей. «Я — новичок, — сказал ему Ницше, — я хочу драться. Вы мне симпатичны, хотите драться со мной?» — «Охотно!» — ответил тот. И Ницше получил удар рапирой.

Конечно, такая жизнь не могла долго удовлетворять его. В начале декабря Ницше начинает вести более сосредоточенный образ жизни и начинает чувствовать, что в его душе снова просыпается беспокойство. Его огорчила необходимость встречать Рождество и Новый год вдали от родных. Глубоким волнением дышит его письмо к матери.

«Я так люблю большие праздники, сочельник и день моего рождения, — пишет он. — Этим дням мы обязаны теми часами, когда сосредоточенная душа обнаруживает в своей глубине новые извилины. Конечно, переживание подобных часов больше всего зависит от нас самих, но мы так редко вызываем в себе подобное настроение! В такие часы рождаются определенные решения. В подобные минуты я обыкновенно перечитываю рукописи и старые пись-

ма и записываю для самого себя пришедшие мне в голову мысли. В течение часа, иногда двух часов, я нахожусь вне времени, чувствую себя как бы изъятым из круга жизни. В такие минуты вырастает верный и определенный взгляд на прошлое и оценка его, душа становится как бы сильнее и чувствует в себе больше решимости идти вперед по жизненному пути. А сколько красоты в благословениях родных: они орошают душу, подобно мягкому дождю!..»

До нас дошли некоторые отрывки из тех размышлений, которые Ницше пишет «для самого себя». Он горько упрекает себя за часы безделья и веселья и решает вести более суровую и сосредоточенную жизнь. Но в самый момент разрыва со своими несколько грубоватыми, но славными и такими же молодыми, как он сам, товарищами, решимость покинула его. А если остаться с ними? Легкий страх охватил его при мысли, что путем продолжительного с ними общения он может сам привыкнуть к их манерам и в нем притупится отвращение к их вульгарности. «Приспособляемость — страшная сила, — пишет он Герсдорфу, — мы сразу много теряем, лишившись инстинктивного предубеждения против пошлости и низости обыденной жизни». Ницше избирает третий, очень щекотливый, путь и решается откровенно поговорить с товарищами, постараться повлиять на них, облагородить их жизнь и положить таким образом начало новому апостольству, которое впоследствии, мечтает он, проникнет в самые отдаленные уголки Германии. Он вносит проект преобразования корпораций, хочет, чтобы студенты прекратили потребление табака и пива, вещей, внушавших ему отвращение.

Предложение его не имело никакого успеха, проповедника заставили замолчать, и вся компания постепенно отстранилась от него. Ницше с прирожденным ему сарказмом заклеил их колкими словами и тем еще более усилил их нелюбовь к себе.

Жизнь послала ему самое горькое одиночество — одиночество побежденного. Не он сам покинул студенческую среду — его попросили удалиться. Ницше с его гордым характером было трудно примириться с таким к себе отношением.

Энергично, но без всякой радости принялся Ницше за изучение неинтересной для него филологии. Для него это занятие являлось лишь средством дисциплинирования своего ума и излечения его от туманных тенденций мистицизма.

Кропотливый анализ греческих текстов не доставлял ему никакого наслаждения, а красоту их он улавливал инстинктивно. Ритчль, профессор по кафедре филологии, убеждал Ницше не заниматься ничем посторонним. «Если вы хотите быть сильным человеком, — говорил он, — выбирайте себе специальность». Ницше послушался его совета и прекратил свои занятия теологией. В декабре он написал несколько музыкальных пьес и решил затем в продолжение целого года не позволять себе таких пустых удовольствий. Он одержал победу над самим собою, и ему удалось написать работу, которую Ритчль похвалил за точность и проницательность.

Жалкий успех! Ницше хотелось, чтобы в ней увидели оригинальность мысли.

Он часто прислушивался к разговорам студентов: одни без всякого увлечения повторяли формулы Гегеля, Фихте и Шеллинга; великие философские системы в их устах теряли, казалось, всякую силу побуждения; другие, предпочитая позитивные науки, читали материалистические трактаты Фохта и Бюхнера; Ницше, прочитав эти трактаты, больше уже не возвращался к ним. Он был поэт и не мог жить без лирических порывов, без таинственного проникновения; холодный определенный мир знания не мог удовлетворять его. Студенты, исповедовавшие материализм, держались вместе с тем и демократических воззрений — они превозно-

сили гуманитарную философию Фейербаха; Ницше же был опять-таки слишком поэтом и слишком аристократом, по воспитанию и по темпераменту, для того, чтобы интересоваться политикой масс. Красота, добродетель, сила и героизм представлялись ему желанными целями, и к достижению их он стремился, но их он желал для самого себя. Он никогда не желал счастливой и одинаково удобной жизни для всех; он был бесконечно далек от идеи благополучия, понимаемого в смысле скромных житейских радостей и уменьшения человеческих страданий.

Какую же он мог испытать радость, когда все тенденции его современников так мало его удовлетворяли? Куда он мог направить свой ум, когда низменная политика, дряхлая метафизика, ограниченная наука не только не привлекали, а даже отталкивали его. Конечно, у него до некоторой степени образовались определенные симпатии; он хорошо знал свой вкус: он любил Баха, Бетховена и Байрона. Но каково же было его собственное миропонимание? Он не умел отвечать на запросы жизни, предпочитая молчание неопределенному ответу, и в 20 лет, как раньше, обрекал себя на воздержание от высказывания своих воззрений.

В своих разговорах, заметках, письмах он также не дает своей мысли полной воли. Его друг Дейссен высказал однажды мысль, что молитва не имеет настоящей ценности, так как она дает уму человека лишь призрачную надежду. «Ослиное остроумие, достойное Фейербаха!» — резко возразил ему Ницше. Тот же Дейссен говорил ему однажды о «Жизни Иисуса» Штрауса, появившейся в новом издании, и одобрял идеи автора. Ницше отказался высказаться по этому поводу. «Это вопрос, — сказал он, — чрезвычайной важности: пожертвовав Христом, ты должен пожертвовать и Богом». Судя по этим словам, можно предположить, что Ницше еще очень близко стоит к идеям христианства, но

письмо его к сестре не оставляет и тени этого предположения. «Правду надо искать там, где она дается труднее, — пишет ему сестра, — в тайны христианства верится с трудом, а это значит, что они действительно существуют». Вскоре после этого письма она получила ответ от брата; в нем ясно сквозило его подавленное состояние.

«Неужели ты думаешь, что мы действительно только путем борьбы с самим собою можем примириться и освоиться со всеми верованиями, внушенными нам нашим воспитанием; вера, покорявшая нас мало-помалу, пускает глубокие корни в нашей душе, и мы все, да и огромное большинство самых лучших людей, принимаем эту веру за истинную, и все равно — истинная она или нет, во всяком случае она утешает и наставляет человечество. Думаешь ли ты, что принятие такой веры более трудно, чем борьба с нашей душой, с угрызениями совести, с постоянным сомнением и бегством от людей? Мною часто овладевает полное отчаяние, но в моей душе постоянно живет стремление к вечной цели, искание новых путей, которые приведут нас к истинному, прекрасному, доброму. Чем же все это кончится? Возвратимся ли мы к старым идеям о Боге и искуплении мира? Или для беззаветно ищущего решительно безразличен результат его исканий? К чему мы стремимся? К покою? К счастью? Нет, мы стремимся только к истине, как бы ужасна и отвратительна она ни была.

Вот как расходятся пути человеческие: если ты хочешь спокойствия души и счастья — верь, если ты поклоняешься истине — ищи...»

Ницше старался всеми силами рассеять свое тяжелое душевное состояние; он делал большие прогулки пешком по соседним деревням. Сидя одиноко в своей комнате, он изучал историю искусства или читал биографию Бетховена. Но все усилия были тщетны, он не мог забыть об окружающих его людях. Два раза он ездил в Кельн, на музыкальные празднества, но с каж-

дым разом на душе у него становилось все тяжелее. Наконец, он решил совсем уехать.

«Как беглец, покинул я Бонн. В полночь, вдвоем с моим другом М., мы были на набережной Рейна. Я поджидал парохода из Кельна; без малейшего сожаления думал я о разлуке с нашей молодой компанией, с прекрасной, цветущей местностью. Совсем напротив. Я бежал от них. Я не хотел снова, может быть несправедливо, как я уже часто это делал, обвинять их. Но я не находил в их среде никакого удовлетворения. Я был еще слишком сдержан и замкнут для того, чтобы не растеряться среди стольких обрушившихся на меня влияний; у меня не было еще достаточно силы для того, чтобы совладеть с настойчиво подступившими требованиями жизни. С грустью в душе приходилось сознаться самому себе, что я еще ничего не сделал для науки, ничего не сделал для жизни, что в прошлом моем были лишь ошибки и заблуждения. Все окружавшие меня предметы покрылись мокрым туманом, но я, несмотря на ночную сырость, остался на палубе. Я смотрел, как постепенно погасали береговые огоньки, и не мог освободиться от впечатления, что я именно спасаюсь бегством.»

Две недели Ницше прожил в Берлине: он остановился у одного своего товарища, сына богатого буржуа, который все время раздражался по различным поводам проклятиями, жалобами и упреками. «Пруссия погибла. Евреи и либералы уничтожили все своей болтовней; они разрушили традиции, погубили взаимное доверие, развратили мысли». Ницше слушал и не протестовал. О Германии он судит по боннским студентам и по-прежнему всюду и везде получает только тяжелые впечатления. Сидя на концерте он мучается сознанием, что самая хладнокровная публика разделяет с ним его наслаждение музыкой. В кафе, куда его водили любезные хозяева, он сидит особняком, не разговаривает с новыми знакомыми, не пьет и не курит.



Ницше не хочет больше возвращаться в Бонн и решает кончать университет в Лейпциге. Приехав в незнакомый ему город, он сейчас же записывается на лекции. Он попадает как раз на праздник. Ректор произносит перед студентами пространную речь на ту тему, что ровно сто лет тому назад Гёте вместе с предками присутствующих пришел в университет записываться на лекции. «У гения — свои пути, — поспешно добавляет осторожный оратор, — но для простого смертного они безопасны. Гёте не был хорошим студентом, не берите с него примера, пока вы будете в университете». «Нou! Нou!» (Долой, долой!) — загудела молодежь, и Ницше почувствовал себя счастливым оттого, что затерялся в массе веселых молодых людей, счастливым оттого, что случай привел его в университет в праздничный день и в такую годовщину. Он принимается за работу, сжигает затерявшиеся среди бумаг стихи и самым усердным образом начинает изучать методы филологии. Но, увы, знакомая тоска снова овладевает его душою; он ужасается при одной только мысли, что придется пережить такой же год, как в Бонне; горькими жалобами полны его письма, тетради и дневники.

Но внезапно поток жалоб прекратился: в одном из книжных магазинов Ницше находит книгу неизвестного ему до этого времени автора. Эта книга была «Мир как воля и представление» Артура Шопенгауэра. Ницше стал перелистывать ее и поразился одною сильно и блестяще выраженной мыслью. «Я не знаю, — пишет он, — какой демон шепнул мне, чтобы я купил эту книгу. Придя домой, я с жадностью раскрыл приобретенную мною книгу, весь отдавшись во власть энергичного, мрачного, но гениального автора».

Сочинению предшествует грандиозное вступление;

оно состоит из трех предисловий, которые этот неизвестный публике автор пишет с большими промежутками в 1818, 1844 и 1859 годах. В горькой и презрительной иронии автора нет и тени никакого беспокойства; Ницше поразили богатство и глубина идей и злоба его сарказма, как будто лиризм Гёте слился воедино с острым умом Бисмарка. Предисловия полны классической размеренной красоты, столь редко встречающейся в немецкой литературе.

Шопенгауэр безраздельно покори́л Ницше своим превосходством, тонким вкусом и широким размахом. «Я убежден, — пишет Шопенгауэр, — что кем-нибудь открытая истина или новый луч света, брошенный им на какую-нибудь неизведанную область, могут поразить другое мыслящее существо и привести его в состояние радостного и утешительного возбуждения; к нему обращается он в эту минуту и говорит с ним, как говорили с нами подобные нам умы, успокаивавшие нас в пустыне жизни...» Ницше был взволнован; ему казалось, что заблудший гений обращался к нему одному.

Страшен мир в представлении Шопенгауэра. Им не управляет никакое Провидение; никакой Бог не обитает в нем; неизменные законы влекут его через время и пространство, но вечная сущность его не зависит от законов и чужеродна разуму; слепая Воля управляет нашими жизнями.

Все феномены мира — лучеиспускания этой Воли, точно так же, как все дни года освещаются одним и тем же солнцем. Она неизменна и бесконечна: «разобшенная пространством, она питается сама собою, так как вне ее нет ничего, а она ненасытна. Она раздирает сама себя на части и поэтому страдает. Жизнь есть желание, а желание бесконечное мучение. Простые души 19-го века верят в божество человека, в идею прогресса. Предрассудок глупцов. Воля игнорирует людей, этих послед-

них земных пришельцев, живущих в среднем 30 лет. Прогресс — это глупая выдумка философов, угрожающих толпе; Воля, компрометирующая Разум, не имеет ни начала, ни конца, она абсурдна, и мир, одушевленный ею, лишен всякого смысла».

Фр. Ницше с жадностью прочел 2 000 страниц этого метафизического памфлета, беспощадно побивающего все наивные верования 19-го века и развенчивающего все ребяческие мечты человечества. Ницше испытывает странное волнение, близкое к радости. Шопенгауэр осуждает жизнь, но он полон такой могучей энергии; в его обвинительном акте мы находим ту же жизнь, и нельзя читать его без чувства восхищения. В течение двух недель Ницше спит только 4 часа в сутки, проводит дни между книгой и роялем, размышляет, а в промежутках сочиняет «Господи, помилуй». Душа его переполнена, удовлетворена вполне; она нашла истину. Истина эта сурова и жестока, но не все ли равно?

Он давно уже инстинктивно предчувствовал такую истину и приготовился к ней. «Чего мы ищем? — читаем мы в его письме к сестре, — Покоя, счастья? Нет, только одну истину, как бы ужасна и отвратительна она ни была». Ницше приемлет мрачный шопенгауэровский мир, он предчувствовал его в своих юношеских мечтах, читая Эсхила, Байрона, Гёте; он предвидел его сквозь христианские символы; разве злая воля раба своих желаний не есть, под другим только именем, падшая натура человека, указанная великим Апостолом? Она в этом виде даже еще более трагична, так как лишена божественных лучей Искупителя.

Юноша Ницше, боясь за свой неопытный ум и страшась своей дерзости, в ужасе отступил перед этим страшным видением. Он смело смотрит теперь ему в глаза — он не боится его больше, потому что он не один. Он вверяет себя мудрости Шопенгауэра и таким обра-

зом видит свое самое глубокое желание осуществившимся: у него есть учитель; он решается даже произнести более святое имя; он дает Шопенгауэру самое высшее, по его мнению, название, вокруг которого рано осиротевший мальчик создает ореол таинственной силы и глубокой нежности. Он называет Шопенгауэра отцом. Мысль о том, что всего 6 лет тому назад Шопенгауэр был еще жив, глубоко волнует его и возбуждает страшную тоску. Шопенгауэр был жив, и он, Ницше, мог видеть его, слышать его и рассказать ему о своем к нему благоговении. Судьба разъединила их! В душе Ницше сливаются горе и радость с одинаковой силой, постоянное возбуждение изнуряет его организм, и его бьет нервная лихорадка.

В страхе перед серьезным нервным заболеванием Ницше с громадными усилиями берет себя в руки и возвращается к реальной жизни, к обыденным занятиям и более спокойному сну.

Молодым людям так свойственно обожание, в этом сказывается известная форма любви. В минуты любви и обожания легче переносить тягости жизни. Сделавшись учеником Шопенгауэра, Ницше узнает первые минуты счастья. Филология уже не кажется ему такой неинтересной, как прежде. Товарищи его и так же, как и он, ученики Ритчля образуют научный кружок. Ницше вступает в него и 18 января 1866 года, через несколько дней после первого литературного знакомства с Шопенгауэром, излагает перед кружком результат своих изысканий по поводу манускриптов и вариантов Феогида. Ницше говорит с увлечением и силой, и речь его вызывает шумные одобрения. Ницше любил успех и переживал его с чувством самого простого тщеславия, в котором сознавался сам. Он был счастлив. Свой труд он отнес Ритчлю, похвалы которого, конечно, удвоили счастливое состояние юноши. Он захотел сделаться любимым учеником профессора и скоро достиг этого.

Не подлежит никакому сомнению, что Ницше не переставал смотреть на филологию как на занятие низшего порядка, как на простое умственное упражнение, будущий кусок хлеба, и душа его мало этим удовлетворялась, но чья глубокая душа способна почувствовать себя удовлетворенной? Часто после целого дня, проведенного за неинтересным занятием, Ницше впадал в меланхолию; но чья молодая мятущаяся душа не знает меланхолии? По крайней мере тоска его потеряла свой прежний оттенок угрюмости; приводимый ниже отрывок письма, начинающийся жалобами и кончающийся порывом энтузиазма, говорит скорее о чрезмерной восприимчивости и чуткости, чем о страдании.

«Три вещи в мире способны успокоить меня, — пишет он в апреле 1866 года, — но это редкие утешения: мой Шопенгауэр, Шуман и одинокие прогулки. Вчера все небо было покрыто грозowymi тучами; я поспешно собрался, отправился на соседний холм (его называют Лейш, — может быть, ты сможешь объяснить мне значение этого имени?) и взобрался на него. Я нашел там хижину и увидел, как какой-то человек в присутствии своих детей резал двух ягнят. В эту минуту разразилась гроза со страшной силой, гремел гром, сверкала молния. Я чувствовал себя несказанно хорошо, душа была полна силы и отваги, и я ясно почувствовал, что до глубины понять природу можно только подобно мне, ища у нее спасения от забот и срочных дел! Что мне в такую минуту человек с его трепещущей волей. Как далек я от вечного «ты должен», «ты не должен». Молния, гроза и град точно из другого мира, свободные стихии, чуждые морали! Как они счастливы, как они свободны! Робкий разум не смеет смущать их свободную волю!»

Летом 1866 г. Ницше почти не выходит из Лейпцигской библиотеки, разбираясь в труднейших византийских манускриптах. Как вдруг внимание его привлекло грандиозное событие: Пруссия, в течение 50 лет соби-

равшаяся с силами, снова появилась на поле битвы. Королевство Фридриха Великого нашло себе руководителя. Бисмарк, страстный, гневный и хитрый аристократ, хочет наконец реализовать общенемецкую мечту и основать империю, которой подчинялись бы все мелкие государства. Он порывает всякие дипломатические связи с Австрией, униженной Мольтке после 20-дневного боя. «Я кончаю мои «Теогниды» для «Рейнского музея» во время битвы при Садовой», — читаем мы в меморандуме Ницше. Он не прекращает своей работы, но интерес к политике мало-помалу овладевает его мыслями. Он проникается гордостью национальной победы, чувствует себя пруссаком, патриотом, и некоторое удивление примешивается к его гордости. «Для меня совершенно неизведано это редкое радостное чувство...» — пишет он. Затем, оценивая эту победу, он с удивительной ясностью предвидит ее результаты.

«Мы достигли успеха, он в наших руках, но до тех пор, пока Париж останется центром Европы, все будет по-старому. Надо употребить все силы для того, чтобы разрушить это равновесие, во всяком случае попытаться сделать это. Если это нам не удастся, то мы все же можем надеяться, что ни один из нас не уцелеет на поле битвы, сраженный французской пулей.»

Подобная картина будущего не смущает Ницше, напротив — его мрачный патетический ум находит в ней красоту; он воодушевляется, он восхищен.

«Бывают минуты, — пишет он, — когда я делаю усилие над собой для того, чтобы не подчинить своих мнений своим кратковременным увлечениям, своим естественным симпатиям к Пруссии. Я вижу, как государство и его глава ведут грандиозную созидательную работу, как творится история. Здесь, конечно, не место для морали, но для того, кто только наблюдает, — это достаточно прекрасное и величественное зрелище!»

Разве же это чувство не родственно тому, которое испытывал Ницше на вершине холма, носящего странное название Лейш, при свете молнии и раскатах грома, стоя рядом с крестьянином, простодушно резавшим ягнят. «Свободные стихии, чуждые морали! Как они счастливы, как они свободны! Робкий разум не смеет смущать их свободную волю!»

* * *

Второй год жизни в Лейпциге был, быть может, самым счастливым годом в жизни Ницше. Его ум нашел в шопенгауэровской философии радостную опору. «Ты требуешь от меня апологии Шопенгауэра, — пишет он своему другу Дейссену. — Я тебе скажу следующее: я смотрю в лицо жизни без страха и робости, с тех пор как я почувствовал почву под своими ногами. Житейские волны, выражаясь образно, не мешают моему пути, потому что они не доходят мне выше головы: я чувствую себя в этом темном мире, как у себя дома».

В этом году Ницше ведет более общительный образ жизни и приобретает новых товарищей. Общественные дела его больше не интересуют. Вслед за упоением победой Пруссия снова опустилась на дно обыденной жизни. Большие дела великих людей сменились пошлой болтовней с трибун и в печати. Ницше отворачивается от такой действительности. «Пусть, — пишет он, — множество посредственных людей занимаются насущными, практическими целями. Для меня же страшно даже подумать о такой участи!» Может быть, Ницше даже немного сожалеет о своем увлечении этой драматической перипетией, хотя он и знал, что, по учению Шопенгауэра, политика и история — это призрачная игра. Или он об этом забыл? Он прибегает к письменной форме, желая укрепить свою мысль, и старается

определить ограниченный смысл и ценность человеческих страстей.

«История есть не что иное, как бесконечное сражение бесчисленных и разнообразных интересов, столкнувшихся на своем пути в борьбе за существование. Великие «идеи», которые, по мнению большинства, являются двигателями этой борьбы, суть не более как отражение света, скользящего по взволнованной поверхности моря. Оно не оказывает на самое море никакого действия, но волны от него приобретают своеобразную красоту и даже способны обмануть наблюдателя своим блеском.

Все равно, будет ли это отражение от лучей солнца, луны или маяка, волны будут только освещены немного сильнее или немного слабее. Вот и все.»

Ницше целиком углубляется в изучение искусства и философских систем гениального античного мира. Он страстно привязан к своему учителю Ритчлю. «Этот человек — моя научная совесть», — говорит он. Ницше посещает вечера Ферейна (кружкá), вместе со всеми говорит, спорит. Он берет на себя работы больше, чем может выполнить, и делится ею со своими друзьями. Ницше берется за изучение Диогена Лаэртского, этого великого компилятора, давшего нам чрезвычайно ценные сведения о греческих философах. Он мечтает о том, как напишет ясный, содержательный, но непременно красивый реферат. «Каждый серьезный труд, — пишет он Дейссену, — оказывает на нас, как ты сам, наверное, испытал, моральное воздействие. Усилие, делаемое нами для того, чтобы сосредоточить свое внимание на заданной теме, можно сравнить с камнем, брошенным в нашу внутреннюю жизнь: первый круг не велик по объему, число последующих кругов увеличивается, и сами они расширяются».

В апреле Ницше просматривает и исправляет все свои заметки, главным образом обращая внимание на красо-

ту внешней формы. В противоположность другим ученым он не хочет пренебрегать тонкостью и остротой выражений, художественным распределением фраз. Он хочет п и с а т ь в самом глубоком, классическом значении этого слова.

«Словно завеса упала с моих глаз, — пишет он. — Я слишком долго прожил в полном неведении стилистики. Меня разбудил голос категорического императива: «ты должен писать, необходимо, чтобы ты писал». Я старался писать красиво. С тех пор, как я уехал из Пфорта, я редко брался за перо, и оно, казалось, неловко лежало в моей руке. Бессильная злоба охватывала меня. Принципы хорошего стиля, данные нам Лессингом, Лихтенбергом и Шопенгауэром, звучали в моих ушах. Утешая себя, я мог только вспомнить, что все они единодушно соглашались с тем, что писать хорошо чрезвычайно трудно, и для того, чтобы приобрести стиль, необходимо много предварительной, усидчивой работы. Прежде всего я хочу, чтобы мой стиль был легкий и носил веселый оттенок. Я применю к выработке стиля ту же систему, которую я применяю к моей игре на рояле: это будет не только воспроизведение заученных пьес, но и насколько возможно свободная фантазия, всегда логичная и красивая.»

К радостному состоянию Ницше примешивается еще и несколько сентиментальное счастье: он находит себе друга. Ницше долгое время оставался верным друзьям своего раннего детства; один из них умер, а другой, после десятилетней разлуки и в силу совершенно различных интересов и занятий, стал для Ницше чужим человеком. В стенах Пфорта он любил прилежного Дейссена и преданного Герсдорфа; из них первый учился в Тюбингене, а другой — в Берлине. Ницше аккуратно писал им, но простая переписка не могла, конечно, удовлетворить его инстинктивной потребности в сердечной дружбе. Наконец, он познакомился с Эрвином Роде, человеком сильного и ясного ума. Ницше тотчас же

полюбил его и, не будучи в состоянии любить и не преклоняться, он стал благоговеть перед ним и наделять его всеми прекрасными качествами, которыми так полна была его собственная душа. Они встречались каждый вечер после тяжелого трудового дня. Молодые люди гуляют пешком, катаются верхом и без умолку говорят. «Первый раз в жизни, — пишет Ницше, — я испытываю радость дружбы на фоне морали и философии. Мы обыкновенно много спорим и в очень многих вопросах не соглашаемся друг с другом. Но как только спор принимает серьезный характер, тотчас же потухают все несогласия, и мирное согласие воцаряется в наших душах.»

Друзья решили провести вместе первые недели каникул. Освободившись в начале августа, они вместе покидают Лейпциг и отправляются искать уединение к границе Богемии. Лесистая, несколько возвышенная местность по красоте своего пейзажа несколько напоминает Вогезы. Ницше и Роде ведут жизнь странствующих философов. С легким багажом за плечами — книг они с собою не взяли — друзья бодро и беззаботно шагают из одной харчевни в другую, философствуют о Шопенгауэре, Бетховене, о Германии и Греции. Они высказывают свои суждения со свойственной молодости быстротою и не перестают злословить о науке. «О, ребяческое самомнение эрудиции! — восклицают они. — Гениальность Греции открыта поэтом Гёте. Он показал немцам, всегда погруженным в мечтательность, античный мир, как образец прекрасного, как пример светлой, богатой красоты. Профессора шли в своих открытиях позади него. Они стремились к возрождению античной культуры, их близорукие глаза видели в этом чудесном создании искусства лишь предмет для научного исследования. Чего они только не изучали? Творительный падеж у Тацита, деепричас-

тие — у латинских авторов Африки, до самых последних мелочей они изучали язык Илиады и точно установили, в каком соотношении он находится с тем или иным арийским наречием. Гёте почувствовал выдающуюся красоту Илиады, а профессора — нет. Мы ставим себе задачей прекратить это пустое занятие и вернемся к традициям Гёте; мы не будем рассекать на части греческий гений, мы оживим и заставим всех проникнуться его красотой. Пора закончить это кропотливое исследование, которое в продолжение стольких лет ведут ученые. Наше поколение закончит этот труд и завладеет всем богатством прошлого. Ведь наука тоже должна служить прогрессу.»

Целый месяц, пробираясь по густым лесам, юноши занимались подобными разговорами и наконец очутились в Мейнингене, маленьком городке, где музыканты пессимистической школы давали целую серию концертов. Одно из писем Ницше рисует нам картину такого концерта. «За дирижерским пультом находился аббат Лист*. Играли симфоническую поэму Ганса Бюлова под названием «Нирвана», объяснение которой в прилагаемой программе было сделано в форме шопенгауэровских максим. Самая музыка была ужасна, но Лист замечательно тонко схватил самый характер индийской «Нирваны» и воспроизвел его в своем следующем произведении «Блаженства». На другой день после этого концерта Ницше и Роде расстаются, и каждый возвращается в свою семью.

* Ференц Лист (1811—1886), знаменитый пианист, композитор, педагог, капельмейстер. В начале 60-х годов переселился в Рим, в 1865-м принял малое пострижение и звание аббата. С этого момента творчество его, ранее уже окрашенное в мистицизм, направилось преимущественно в сторону церкви. Плодами этого периода служат оратории «Св. Елизавета», «Христос», четыре псалма, «Реквием», «Венгерская коронационная месса».



Оставшись один в Наумбурге, Ницше усердно принимается за занятия и чтение. Он изучает молодых немецких философов — Гартманна, Дюринга, Ланге, Банзена. Он восхищается ими со снисходительностью собрата по оружию, мечтает лично познакомиться, работать вместе с ними в «Обозрении», которое они могли бы основать. Он пишет философский опыт, нечто вроде манифеста о человеке, которого он хотел бы сделать учителем современной ему молодежи, — о Шопенгауэре. «Это самый истинный из всех философов. В нем нет никакой притворной чувствительности; душа его преисполнена смелостью, а это главная добродетель вождя». Ницше торопливо заносил в свою записную книжку: «Век Шопенгауэра включает в себе здоровый, проникнутый идеалом пессимизм, серьезную, мужественную силу, вкус ко всему простому и здоровому. Шопенгауэр — это философ воскресшего классицизма, германского эллинизма».

В самый разгар его работы случилось событие, перевернувшее все течение его жизни. Ницше по причине своей близорукости был освобожден от воинской службы; но прусская армия в 1867 году крайне нуждалась в людях; его зачислили в один из артиллерийских полков, квартировавший в Наумбурге.

Ницше пришлось покориться своей судьбе. Он всегда следовал максиме, что человек должен уметь использовать все случаи своей жизни и, как художник, должен уметь извлечь из них материал для лучшего жизненного употребления. Вследствие необходимости сделаться солдатом он стал учиться этому новому для него ремеслу.

Поступление на военную службу сопровождалось в то время ныне упраздненной торжественностью. Ниц-

ше находит даже здоровой и красивой перемену учебников и словарей на лошадь и, сев на нее, делается хорошим артиллеристом, своего рода аскетом для служения родине — *ασχητός* «послужим немного», — пишет он на своем греко-немецком языке.

«Солдатская жизнь не особенно удобна, — пишет он, — но она, пожалуй, даже полезна, если ее попробовать в качестве «*entremets*». В ней есть постоянный призыв к энергии, которая особенно хороша как противовядие против парализующего людей скептицизма, действие которого мы наблюдали вместе с тобой. В казарме узнаешь свой собственный характер, в ней научаешься приспосабливаться к чужим людям, в большинстве случаев очень грубым. До сих пор все относится ко мне, по-видимому, доброжелательно, начиная от капитана до простого солдата, к тому же все свои обязанности я исполняю усердно и с интересом. Разве можно не гордиться, если среди 30 рекрутов получишь отличие как лучший кавалерист? По-моему, это лучше, чем получение диплома по филологии...»

По этому поводу он цитирует полностью латинскую фразу из Цицерона, написанную Ритчлем в похвалу его реферата «*De fontibus Laertii Diogenii*». Ницше был счастлив от сознания своего успеха и не скрывал этого. Его это забавляло. «Мы уже так созданы, — пишет он, — мы знаем, чего стоит подобная похвала, и, несмотря на это, удовольствие неизменно отражается на вашей физиономии».

Бодрое настроение Ницше продолжается недолго. Он не может не признать, что конный артиллерист глубоко несчастен, если у него есть склонность к литературной деятельности; уединившись в своей комнатке, он размышляет о философии Демокрита.

Неволя гнетет Ницше; случай помог ему освободиться от службы. Он упал с лошади и ушиб себе бок; несмотря на физические страдания, он не теряет даром свободного времени, занимается, размышляет и вспо-

минает об этом периоде своей жизни как о хорошем, приятном времени. Ему пришлось лежать в продолжение целого нестерпимо длинного месяца, и, когда наступили чудесные майские дни, он окончательно теряет терпение и начинает с сожалением вспоминать о военных упражнениях. «Я ездил на самых горячих лошадях», — пишет он Герсдорфу. Чтобы немного развлечься, он принимается за небольшую работу на тему о «Жалобе Данаи» Симонида. Он исправляет сомнительные места в тексте и сообщает Ритчлю, что начал новую работу. «Еще с ранних детских лет песня Данаи оставалась в моей памяти как неизгладимая мелодия; разве же не хорошо стать самому немного лириком в эти прекрасные майские дни? Лишь бы только на этот раз вы не упрекнули меня в моем сочинении за слишком «лирические уклонения».

Судьба Данаи занимает его самым живейшим образом, и жалобы богини, брошенной с ребенком на произвол злобной стихии, перемешиваются в его письмах с жалобами его собственной души. Он невыносимо страдает, рана его не затягивается, а, наоборот, с каждым днем все больше и больше открывается, обнажая осколок кости. «Странное ощущение я переживаю, когда смотрю на себя, — пишет он, — мало-помалу мне становится ясно, что план моих экзаменов, проект поездки в Париж, — все это становится для меня невозможным. Бренность нашего существования никогда так ясно не обнаруживается, как в тот момент, когда видишь кусок своего собственного скелета».

Поездка в Париж, о которой в этом письме говорит Ницше, была самою дорогою его мечтою. Он непрестанно лелеет ее, не в силах удерживать свою радость при приближении того дня, когда он действительно поедет, и пишет Роде, потом Герсдорфу и двум другим товарищам — Клейнпаулю и Ромундту. «Окончив уни-

верситет, — пишет он им, — вместе проведем зиму в Париже. Забудем о науке, о нашем педантизме, познакомимся с божественным канканом, с зеленым абсентом. Будем, как добрые товарищи, фланировать по Парижу и олицетворять собою германизм и Шопенгауэра. В полных лентяев мы, конечно, не превратимся, будем время от времени посылать в журналы переводы, чтобы познакомить мир с парижскими анекдотами; через полтора-два года (он постоянно удлиняет время этой воображаемой поездки) мы вернемся держать экзамены, вернемся к нашей жалкой профессии». Роде обещал поддержать компанию, и Ницше уже с меньшим нетерпением переносит период выздоровления, затянувшегося до лета.

* * *

Наконец, Ницше поправился. В первых числах октября он переезжает в Лейпциг; в нем проснулась жажда музыки, светского общества, разговоров, театральных зрелищ; всего этого Наумбург, конечно, не мог ему дать. Учителя и товарищи оказывают ему самый теплый прием; вообще возвращение его было счастливо. Заря его славы взошла на 23-м году его жизни. Из Берлина он получил заказ на историческую работу для серьезного журнала. В самом Лейпциге ему предлагают вести критико-музыкальный отдел; от этой работы Ницше отказывается, несмотря на настойчивые просьбы: «него ас репнегро», — как он пишет Роде, живущему в другом университетском городе.

Ницше интересуется всем, кроме политики. Ему невыносим нестройный и смутный шум публичных собраний: «Я могу определенно сказать, — пишет он, — что я не ξῶν πολιτῆχόν». Он пишет своему другу Герсдорфу в ответ на его сообщение о парламентских интригах Берлина:

«Все эти события удивляют меня, но я не могу хорошо в них разобраться, не могу проникнуть в них всем своим умом, а когда мне удастся вынырнуть из потока событий, то я начинаю с громадным наслаждением любоваться деятельностью одного вполне определенного человека — Бисмарка: он дает мне своею личностью громадное поле для самых глубоких наслаждений. Его речи действуют на меня как крепкое вино: когда я читаю их, то как бы задерживаю язык, чтобы не слишком быстро глотать слова и возможно дольше продлить наслаждение. Я без труда понимаю из твоих рассказов о махинациях его противников, потому что ведь совершенно необходимо, чтобы все маленькое, сектантское, узкое, ограниченное восставало против подобных натур и постоянно воевало с ними.»

Ко всему этому восхищению у Ницше прибавляется еще новое впечатление, новое счастье: он открывает нового гения — Рихарда Вагнера. Это был момент, когда вся Германия сделала подобное же открытие, вся страна уже знала о нем, уже восхищалась этим мятежным человеком, поэтом, композитором, публицистом, философом; революционер в Дрездене, освищенный композитор в Париже, придворный фаворит в Мюнхене, — такова была судьба Вагнера; немецкая публика спорила о его произведениях, смеялась над его долгами, над его эффектной манерой одеваться. Трудно было составить себе о характере этого человека вполне ясное мнение; в его душе перемешивались такие качества, как вера и неискренность, величие скупости, его подчас оригинальная, сильная мысль растворялась в многоголосии. Что представляет из себя Рихард Вагнер?.. Смесь помешанного и гения?!.. Никто не знал этого наверно, и сам Ницше долгое время оставался в нерешительности. «Тристан и Изольда» приводили его в восторг, другие же вещи совершенно разочаровывали. «Я только что прочел «Валькирию», — пишет он Герсдорфу в октябре 1866 года, — и вынес от этого

чтения такое смутное впечатление, что до сих пор не могу себе в нем отдать полного отчета. В этом произведении великая красота компенсируется неменьшим безобразием и уродливостью; $+a + (-a)$ дают в общем 0". «Вагнер — это нерешенная проблема», — говорит он в другом месте и предпочитает в то время Шумана.

Но слава пришла к Вагнеру. В июле 1868 года в Дрездене в первый раз идут «Мейстерзингеры», благородная, родная для немцев поэма, где героем и главным действующим лицом является немецкий народ. Он фигурирует на сцене в своих состязаниях, играх, перед нами проходят картины его любви, труда, и сам этот народ прославляет свое искусство и музыку. Германия переживала в этот момент горделивое стремление к величию. Она была достаточно уверена в себе и обладала достаточным размахом для того, чтобы осмелиться признать гениальность Вагнера. Вагнер имел шумный успех; за последние месяцы 1868 года он переступил невидимую грань, после которой для человека наступают дни вечной, бессмертной славы.

Ницше слышал «Мейстерзингеров»; чудная красота этой оперы тронула его, он уже не ощущает потребности критиковать Вагнера. «Чтобы быть справедливым по отношению к такому человеку, — пишет он Роде, — необходимо проникнуться энтузиазмом. Я тщетно стараюсь слушать его музыку с холодным и сдержанным вниманием: эти звуки заставляют во мне дрожать каждый нерв...» Обаяние вагнеровского творчества покорило его, Ницше хочет, чтобы и друзья разделили с ним его новое увлечение; он сообщает им о своих впечатлениях. «Вчера вечером, — пишет он, — я был на концерте, и увертюра к «Мейстерзингерам» захватила меня с такою силою, что я уже давно не испытывал ничего подобного...» Сестра Вагнера, госпожа Брокгауз, живет в Лейпциге; судя по отзывам ее друзей, это женщина высоко-

го ума, и печать гения ее брата видна на ней. Ницше очень бы желал познакомиться с нею, и его скромное желание было скоро удовлетворено.

«Однажды вечером, — пишет он Роде, — я возвращаюсь домой и нахожу коротенькую записку: «Если ты хочешь познакомиться с Рихардом Вагнером, приходи в «Театральное кафе» в без четверти четыре. Подпись W... sh...» Это известие, прости меня, вскружило мне голову, и точно какой-то вихрь охватил меня. Конечно, я бегу разыскивать этого очаровательного Виндиша и получаю от него более подробные сведения. От него я узнаю, что Вагнер находится в Лейпциге у своей сестры и соблюдает самое строгое инкогнито, что газеты ничего не знают, а вся прислуга в доме Брокгауз нема, как могильщик. Г-жа Брокгауз, сестра Вагнера, познакомила его только с г-жою Ритчль, женщиной тонкого ума и проницательности. Г-жа Брокгауз хотела похвастать своею подругою перед братом и показать своему счастливому другу знаменитого композитора. «Г-жа Ритчль, — продолжал рассказывать Виндиш, — и сейчас там, и Вагнер играет «Песню» из «Мейстерзингеров» (которую ты хорошо знаешь)». Очаровательная дама слушает его игру и заявляет, что эта песня хорошо знакома ей, благодаря мне, моей опере. В радостном изумлении Вагнер высказывает непосредственное желание открыть мне свое инкогнито. Решено было пригласить меня в пятницу вечером. Виндиш заявил, что мне могут помешать мои обязанности, работа, или я могу в этот день оказаться связанным каким-нибудь другим обещанием. Приняв это во внимание, мой визит отсрочили до воскресенья после полудня.

В назначенный день мы идем вместе с Виндишем и застаем всю семью в сборе, за исключением самого Вагнера; по показаниям домашних, он ушел из дому без шляпы; одни роскошные волосы защищали его голову. Я познакомился со всем семейством, очень милым и благовоспитанным; меня приняли очень любезно и пригласили в воскресенье вечером. Я согласился.

В продолжение всех последних дней, уверяю тебя, я находился почти в романтическом настроении; признайся,

ведь в этом событии, в моем знакомстве с этим героем, к которому никто не смел приближаться, есть что-то близкое к легенде.

Ради этого торжественного вечера я решил надеть самое лучшее мое платье. Как раз к этому воскресенью портной обещал приготовить мою фракную пару — все шло как нельзя лучше. Наступает воскресенье, идет дождь со снегом. Одна мысль о том, что надо выйти на улицу, вызывала дрожь. Поэтому я несколько не рассердился, когда днем ко мне пришел Р. Мы поговорили с ним об элеатской школе и о существовании Бога — в их философских системах, так как он собирается, как *candidandus* писать на тему, данную Аренсом — «Развитие божественной идеи до Аристотеля», — тогда как Ромундт имеет претензию написать «О воле» и получить университетскую премию. Наступают сумерки, а портной не приходит. Ромундт собирается уходить: я выхожу вместе с ним и отправляюсь к портному, где застаю подмастерьев, спешно заканчивающих мой костюм; они обещают через 3 часа доставить его ко мне на дом. Я ухожу довольный положением дел, читаю *Kladderadatsch* и с удовольствием нахожу в хронике, что Вагнер в данный момент находится в Швейцарии, но что в Мюнхене для него строится прекрасный дом. Я-то хорошо знал, что через несколько часов увижу его и что вчера пришло письмо от молодого короля с адресом: «великому немецкому композитору Рихарду Вагнеру».

Возвращаюсь домой — портного нет. Удобно усаживаясь и читаю диссертацию об «Евдокии»; время от времени до меня долетает и раздражает отдаленный посторонний шум; наконец, я слышу звонок у запертой железной калитки...»

Это звонил портной. Ницше примеряет платье; оно сидит хорошо; он благодарит хозяина, но тот не уходит и требует денег. Ницше относительно денег всегда держался особого мнения: но портной повторяет свое требование уплаты; а Ницше продолжает отказываться; портной неумолим и уходит, унося с собою платье; Ницше остается пристыженным, с неудовольствием

осматривает свой черный сюртук и очень сомневается в том, чтобы он был достаточно хорош для Вагнера, но наконец все же надевает его.

«... Идет проливной дождь. Часы показывают четверть девятого. В половине девятого Виндиш будет меня ждать в «Театральном кафе». Я выхожу; на дворе черная, дождливая ночь, и я, тоже несчастнейший из смертных, одет в черное и даже не во фрак, но пребываю в самом романтическом настроении. Судьба благоприятствует этому настроению. Вид покрытой снегом улицы представляет собою что-то таинственное и необычайное.

Вот, наконец, мы входим в уютную, изящную гостиную Брокгаузов, где кроме самой семьи, из посторонних — только мы двое. Меня представляют Рихарду, которому в нескольких словах я высказываю мое восхищение; он очень внимательно расспрашивает меня, как я стал поклонником его музыки, раздражается проклятиями по поводу всех постановок своих опер, за исключением прекрасного исполнения их в Мюнхене, и издевается над отеческими советами дирижеров оркестров: «теперь, господа, пожалуйста, немного страсти, еще немного страсти, друзья мои...» Вагнер великолепно имитирует лейпцигский акцент.

Мне хотелось бы дать тебе хоть некоторое представление о том совершенно особенном состоянии, которое я пережил в течение этого вечера, о его радостях, таких необычайных по своей живости; до сегодняшнего дня я все еще не могу прийти в состояние равновесия и, милый друг, я не могу сделать ничего лучшего, как рассказать тебе пережитое в форме волшебной сказки. До и после обеда Вагнер играл нам лучшие места из «Мейстерзингеров» и сам исполнял все партии; ты, конечно, можешь себе представить, что ему многого не хватало. Это человек баснословно живой и стремительный; говорит он чрезвычайно быстро, речь его блещет умом, и он легко воодушевлял наше интимное общество. Я имел с ним, между прочим, продолжительный разговор о Шопенгауэре. Ты понимаешь, с какой радостью я услышал от него самый восторженный отзыв и признание в том, сколь многим он обязан Шопенгауэру, кото-

рый, единственный из всех философов, понимал сущность музыки. Затем он пожелал узнать, какое положение занимают по отношению к Шопенгауэру современные философы; он очень смеялся над философскими конгрессами в Праге и упомянул о философском «лакействе». Потом он прочел отрывок из своих только что написанных мемуаров, сценку из его студенческой жизни в Лейпциге, написанную с необычайным юмором, о которой я до сих пор не могу вспомнить без смеха. У Вагнера удивительно гибкий и тонкий ум.

На прощание, когда мы с Виндишем уже собирались уходить, он очень горячо пожал нам руки и самым дружеским образом приглашал нас зайти к нему поговорить о музыке и философии. Он поручил мне познакомить с его музыкой его сестру и родных. Я принял это поручение с энтузиазмом. Я лучше и подробнее расскажу тебе об этом вечере, когда он станет для меня прошлым и я более объективно смогу отнестись к нему. А на сегодня прощай, шлю тебе мои лучшие пожелания...»

День спокойной оценки, которого ждал Ницше, так и не наступил. Он приблизился к человекобогу, он чувствовал всю силу его гения, и душа его была очарована им. Он изучил теоретические труды Вагнера, которыми пренебрегал до этого времени, и с полным вниманием и серьезностью отнесся к его идее единого искусства, воплощающего в себе рассеянные красоты поэзии, пластики и гармонии. Он предвидел обновление немецкого духа, и подвижный ум его быстро направился именно в эту сторону.

* * *

Однажды Ритчль сказал ему: «Я хочу застать вас врасплох. Хотите получить кафедру профессора Базельского университета?» Изумление Ницше не имело границ. Ему шел 24-й год, и он не имел еще научной сте-

пени. Он попросил Ритчля повторить его странное предложение и получил от него следующие объяснения: из Базеля на его имя пришло письмо, где его спрашивали, что за человек Фридрих Ницше, автор двух прекрасных статей, изданных в «Рейнском Музее», и можно ли было бы ему доверить кафедру филологии? Ритчль отвечал, что Фр. Ницше — молодой человек, который может сделать все, что только захочет. Он даже взял на себя смелость написать, что Фр. Ницше гениален. Вопрос окончательно еще не был решен, но, во всяком случае, предложение, сделанное Ницше, было очень лестно.

Ницше с бесконечным волнением выслушал этот рассказ; он мог гордиться таким к нему отношением, а между тем своеобразная грусть охватила его. От него улетал, таким образом, целый год свободы, обладателем которой он уже считал себя. Планы занятий, обширная программа чтения, путешествие, — все улетело. Он точно терял счастливую, полную грез жизнь. Но разве же он мог отказаться от такого прекрасного предложения? Несмотря на все доводы рассудка, у него все же оставалось в душе некоторое колебание, и необходимо было все влияние Ритчля, чтобы победить его. Старый ученый чувствовал глубокую нежность к этому странному ученику, талантливому филологу, метафизику, поэту, он любил его и верил в него. Одно только беспокоило его, как бы Ницше, постоянно вдохновляемый различными прекрасными побуждениями, не растратил бы своей энергии на слишком разнообразные предметы и не погубил бы своего дарования. В продолжение четырех лет Ритчль давал ему один и тот же настойчивый совет: «Сдерживайте себя для того, чтобы быть сильным». Ницше вспомнил об этом совете, понял весь его смысл и покорился правоте своего учителя. Он тотчас же написал Эрвину Роде: «Не думайте больше о нашем

парижском путешествии: я, по всей вероятности, получу место профессора филологии в Базельском университете, это я-то, желавший изучать химию! С сегодняшнего дня я вообще думаю, что надо начать приучать себя к отречению. Там меня ждет полное одиночество, около меня не будет ни одного друга, мысль которого звучала бы вместе с моей мыслью, подобно тому, как нижняя терция сливается с верхней».

Ницше получил выпускной диплом без экзамена: это было сделано из уважения к его прежним работам и ввиду исключительности случая. Лейпцигские профессора не считали удобным экзаменовать своего базельского коллегу. Перед отъездом Ницше провел некоторое время у своих родных в Наумбурге. Вся семья радовалась и торжествовала: «Такой молодой — и уже профессор университета!» «Подумаешь, какое событие, — нетерпеливо возражал Ницше, — стало на свете одной пешкой больше, вот и все!»

13 апреля он пишет Герсдорфу:

«... Наступил последний срок, последний день моего пребывания у домашнего очага. Завтра утром выхожу в широкий свет, начинаю новое для меня ремесло, вступаю в тяжелую атмосферу обязанности и долга. Еще раз придется сказать «прости» золотому времени, когда работа была свободна и не ограничена, когда каждая минута была повластна, когда искусство и мир представлялись нам как великолепное зрелище, в котором мы едва только принимаем участие... Это время безвозвратно прошло, теперь наступило царство жестокого бога — повседневного труда. Ты знаешь эту трогательную студенческую песню «Понравилась я скромному студенту»... Да, да наступила и моя очередь сделаться филистером. Когда-нибудь, где-нибудь, а поговорка всегда сбывается. Должности и почести не достаются даром. Весь вопрос в том, чтобы узнать, что носимые тобой цепи сделаны из железа или из ниток. У меня осталось еще достаточно храбрости для того, чтобы при

случае разорвать то или иное кольцо этой цепи и тем или иным способом подвергнуться всем жизненным опасностям. Я еще не чувствую в себе искривления позвоночника, присущего профессорам. Сделаться филистером, «*ἀνοικτός ἰσχυρός*», стадным человеком, — да хранят меня от этого Зевс и Музы! К тому же я не вполне понимаю, как я могу сделаться тем, чего во мне органически нет. Я скорее боюсь впасть в другого рода филистерство, приобрести профессиональную «обособленность». Вполне естественно, что ежедневные занятия, непрестанная сосредоточенность мысли на определенных научных вопросах отрицательно действуют на остроту восприимчивости ума и в корне кладут свой отпечаток на философское понимание вещей. Но мне кажется, что подобная перспектива менее опасна для меня, чем для большинства других профессоров. Философская серьезность так глубоко вскоренилась в меня, истинные и вечные проблемы жизни и мысли так ясно были мне указаны таким великим толкователем таинств, как Шопенгауэр, что я навсегда защищен от постыдного отступления перед «Идеей». Наполнить мою науку свежей кровью, заразить моих слушателей глубиной шопенгауэровской философии, передать им яркий, как звезда, свет его учения, — такова моя задача, моя, может быть, слишком смелая задача; я хотел бы быть чем-нибудь большим, чем педагогом добродетельных ученых; я думаю об обязанностях современного учителя, я забочусь о грядущем поколении, — вот что занимает мой ум. Если уж мы должны выносить нашу жизнь, то постараемся по крайней мере прожить ее так, чтобы после желанной смерти мы могли рассчитывать на уважение!»

Беспокойство Фр. Ницше было напрасно. Если бы он мог предугадать свое ближайшее будущее, то его бы охватила огромная радость. Рихард Вагнер жил в то время недалеко от Базеля, и здесь Ницше суждено было стать его другом.

N

III

**Фридрих Ницше и
Рихард Вагнер.
Трибшен**





Фр. Ницше поселяется в Базеле, устраивается на квартире, знакомится со своими коллегами, но все его мысли принадлежат Рихарду Вагнеру. Через три недели после приезда Ницше в сопровождении нескольких друзей совершает прогулку по Фирвальдштеттскому озеру. Однажды утром во время этой прогулки Ницше покидает своих спутников и идет вдоль берега в Трибшен, где в это время в полном уединении жил Вагнер. Так назывался небольшой мыс, вдающийся в озеро. На нем находится только одна вилла, окруженная садом, высокие тополя которого видны издалека.

Фр. Ницше подходит к решетке сада, останавливается у калитки и звонит. Он ждет и осматривается вокруг: самый дом скрыт от него деревьями. Он прислушивается и чутким ухом улавливает далекие звуки аккордов, которые заглушает приближающийся шум шагов. Выходит слуга: Ницше дает ему свою карточку и затем, оставшись один, начинает снова прислушиваться к тому же тоскливому, упрямому, без конца повторяющемуся аккорду. Невидимый музыкант на минуту останавливается, но тотчас же опять начинает отыскивать нужный звук, переходит из одного тона в другой и снова возвращается к первоначальному аккорду. Слуга возвращается и спрашивает: «Г. Вагнер желает знать, тот ли это самый Фр. Ницше, с которым он однажды виделся в Лейпциге?» — «Да!» — отвечает молодой человек. — «Г-на Фридриха Ницше просят пожаловать во время завтрака». Ницше извиняется: его ожида-

ют друзья, и он не может прийти в это время. Слуга исчезает, потом возвращается с новым приглашением: «Г-на Фр. Ницше просят прийти в Духов день». В этот день Ницше свободен и принимает приглашение.

Ницше пришлось близко узнать Вагнера в хорошие моменты его жизни. Великий человек живет в одиночестве, вдали от публики, журналистов и толпы. Он только что женился на похищенной им жене Ганса Бюлова, дочери Листа и госпожи Д'Агу, прекрасной женщине, в жилах которой текла кровь двух рас. Это событие скандализировало всех фарисеев старой Германии. Вагнер кончает в своем уединении гигантский труд, цикл из четырех драм, из которых каждая громадна по своему объему; труд этот предпринят не ради людского удовольствия, а ради смятения и спасения душ; творчество Вагнера настолько необычайно, что нет публики, достойной его услышать, нет певцов, достойных его петь, нет достаточно большой, достаточно благородной сцены, на которой оно могло бы быть представлено. Но Вагнер не хочет спуститься до публики, пусть публика склонится перед ним. Он кончает «Золото Рейна», «Валькирию»; «Зигфрид» почти готов, и он уже познает радость автора, созерцающего венец своего труда. Беспокойство и гнев примешиваются к радости Вагнера, потому что он не из тех, кого может удовлетворить одобрение одного избранного ценителя в лице жены. Его волновали все мечты человечества, и он, в свою очередь хочет завладеть душами всех людей. Ему нужна толпа, он хочет, чтобы она слушала его, он непрерывно призывает ее и страдает от того, что тяжеловесные и медлительные немцы не следуют его зову. «Помогите мне! — кричит он им в своих книгах. — К вам приходит сила и мощь, но, обладая ими, не пренебрегайте своими духовными учителями, не забывайте Лютера, Канта, Шиллера и Бетховена. Слушайте меня! Я наследник этих людей! Поддержите меня, мне нужна сцена,

где бы я чувствовал себя свободным, дайте мне ее! Мне нужен народ, который бы меня слушал, будьте им. Ваш долг помочь мне. В свою очередь я прославлю вас!»

Представим себе первый визит Ницше: он обладал мягким характером, тихим голосом, горящими и вместе с тем затуманенными глазами, совершенно молодым, несмотря на опущенные вниз усы, лицом. Представим себе Вагнера, в полном расцвете своих 59 лет, с неистощимым запасом интуиции и опыта, желаний, порывов и обещаний, с безудержной речью и порывистыми жестами. В чем заключалась их первая беседа? Мы не имеем о ней никаких сведений. Вероятно, Вагнер повторял то, что писал в своих книгах, и повелительно сказал Ницше: «Вы, молодой человек, также должны помочь мне».

Когда настала минута расставания, Вагнер, пользуясь прекрасным вечером и не желая прерывать интересного разговора, пожелал проводить своего гостя и пройтись с ним по берегу озера. Они вышли и пошли вместе. Удовольствию Ницше не было границ. Уже давно его мучила жажда любви, обожания, жажда слушать кого-нибудь. И до сих пор он не мог удовлетворить своего желания, так как не встречал человека, достойного быть его учителем. Наконец-то он нашел человека, по отношению к которому никакая любовь, никакое обожание не покажутся чрезмерными. Ницше был всецело увлечен этим чувством и решил отдать всего себя на служение гениальному отшельнику, бороться вместе с ним против инертной толпы, против Германии с ее университетами и церквями, парламентом и двором. Какое впечатление произвел он на Рихарда Вагнера? Без сомнения, Вагнер был также счастлив этой встречей; с самого первого знакомства он открыл в своем друге необыкновенное дарование. Он мог говорить с ним, а говорить — значит открывать себя и воспринимать другого. Как мало людей доставляли ему эту радость!

22 мая, через неделю после первого визита, несколько из ближайших друзей Вагнера приехали из Германии в Трибшен, чтобы провести вместе с ним 60-летнюю годовщину его жизни. Ницше был также приглашен; он должен был отказаться, так как готовился к вступительной лекции и не располагал свободным временем. Ему хотелось в первой же лекции дать понять слушателям свое отношение к науке и задачам своего преподавания. В качестве темы он выбрал вопрос о Гомере, в понимании которого исследователи древнего мира и художники расходятся между собою. Ученые, как он хотел показать, приняв сторону художников, должны разрешить этот конфликт. Ученая критика много сделала полезного в историческом отношении; благодаря ей удалось восстановить в полном объеме обе легендарные поэмы. Но в понимании внутренней красоты наука бессильна. Ясные образы «Илиады» и «Одиссеи» стоят перед нами, и если Гёте говорит, что обе поэмы — творения одного поэта, — то ученому остается только верить этому. Задача филолога очень скромна, но бесспорно полезна и заслуживает уважения. «Не забудем же, — говорит Ницше, кончая свою первую лекцию, — что еще только несколько лет тому назад эти чудесные памятники эллинского искусства были погребены под целым сводом предрассудков и только самоотверженная работа наших студентов спасла их для нашей культуры. Никто не станет утверждать, что филология создала этот очаровательный мир и заставила звучать эту бессмертную музыку, но все же заслуга ее весьма значительна; с удивительным искусством филология разобралась в античных поэмах, и благодаря ей снова звучит для нас эта давно забытая и почти невозстановимая мелодия. Подобно тому, как музы спускаются с неба на землю и являются грубым, несчастным беотийским поселянам, филология является в мире, полном образов, неясных окрасок, самых глубоких неизлечимых страданий, и ее утешаю-

щий голос говорит нам о светлом образе богов, о полной чудес, голубой, далекой земле».

Ницше имел большой успех у базельской публики, собравшейся в большом количестве слушать молодого ученого, о гениальности которого до нее уже дошли слухи. Его радовал этот успех, но мысль его летела дальше, к другой земле, полной чудес, голубой, далекой — в Трибшен. 4 июня он получил от Вагнера записку следующего содержания:

«Не хотите ли провести два дня под нашей кровлей, мы хотели бы ближе узнать вас. Мои немецкие соотечественники до сегодняшнего дня давали мне мало радости. Спасите же мою упорную веру в германскую свободу, как я ее называю вместе с Гётте и некоторыми другими».

Ницше располагал двумя днями и со времени этого своего посещения стал своим человеком у Вагнера.

«Вагнер, — пишет он своим друзьям, — воплощает в себе идеальный тип человека: у него изумительно богатый, великий ум, поразительно энергичный характер; этот очаровательный человек достоин любви, он горит желанием знать все. Нужно кончать, а то я начинаю петь целый пзан». — «Я прошу тебя, — пишет он далее, — не верь ничему, что печатают о Вагнере журналисты и музыкальные критики. Никто в мире не знает его и не может судить о нем, потому что весь мир покоится на чуждых ему основах и теряется в атмосфере его творчества. В душе Вагнера царит такой абсолютный идеализм, такая глубокая и трогательная человечность, что я чувствую себя около него, как бы в присутствии божества...»

* * *

По просьбе Людвига II Баварского Вагнер написал небольшой трактат о социальной метафизике. Он скрывал его от всех и показывал только избранным друзьям эту оригинальную работу, сочиненную с целью очаро-

вать молодого принца-романтика. Вагнер показал этот трактат Ницше. «Из всего прочитанного мною мало есть вещей, которые бы так поразили меня», — пишет Ницше. Впечатление, полученное им, было так велико, что влияние этой вещи Вагнера отразилось на всех, даже самых поздних, его произведениях. Дадим хотя бы некоторое понятие о содержании этого трактата.

Вначале Вагнер говорит о своих былых заблуждениях; в 1848 году он был социалистом; это не значит, что бы он когда-нибудь разделял принципы всеобщего уравнивания: его жаждущий красоты и гармонии ум, стремящийся к высшим началам, никогда бы не примирился с этим. План его мыслей был иной. Он надеялся, что человечество, освободившись от самых унижительных обязанностей, будет с меньшими усилиями возвышаться до понимания искусства, но он понял, что ошибался. «Друзья мои, — пишет он, — несмотря на их великую бодрость и храбрость, были побеждены; их тщетные усилия доказали мне, что они сделали коренную ошибку и требовали от мира того, что было не в его силах».

Взгляды Вагнера прояснились: он понял, что масса бессильна, что бунт бесполезен и содействие ее иллюзорно; он думал, что масса в состоянии способствовать прогрессу культуры в истории; теперь он признал ее неспособной даже к участию в поддержке уже завоеванной культуры. Масса чувствует только элементарные, грубые, скоропреходящие потребности. Всякая возвышенная цель для нее недостижима. Проблема, разрешения которой требует действительность, сводится к следующему: как добиться от массы служения культуре, которая должна остаться для них чужеродной, как достичь того, чтобы она служила с усердием, с любовью и была способна ради нее пожертвовать даже своей жизнью. Вся задача политики заключается в этом вопросе, и неразрешимость его только кажущаяся. Обра-

тимся к природе: никто не понимает ее целей, а между тем все существа служат им. Каким образом природа умеет привязывать к жизни? Она просто обманывает свои создания, поселяя в них надежду непреложного и все еще не наступившего счастья. Она наделяет их инстинктами, которые от самых низменных животных требуют долгих жертв и добровольных страданий. Природа создала материнскую любовь, преданность человека людскому стаду. Она окутывает иллюзиями всех живущих и убеждает их бороться и страдать с постоянным упорством.

Общество, говорит, Вагнер должно поддерживаться такими же хитростями. Иллюзии придают ему прочность, и задача тех, кто управляет, заключается в том, чтобы поддерживать ее и распространять таким образом консервативные иллюзии. Самое существенное из этих явлений — патриотизм. Каждое дитя народа должно воспитываться в любви к королю, живому символу родины, и любовь эта должна стать достаточно сильным инстинктом для того, чтобы способствовать самому высшему отречению. Патриотическая иллюзия гарантирует существование государства, но ее недостаточно для гарантии высшей культуры.

Она разделяет человечество, покровительствует жестокости, ненависти и узости мысли. Властный взгляд короля охватывает и измеряет границы своего государства, а сам учитывает предельность его целей. Необходима еще другая иллюзия. Это религиозная иллюзия, догмы которой символизируют глубокое единство, мировую любовь. Король должен поддерживать эту иллюзию среди своего народа.

Если простой человек попадает во власть этих двух иллюзий, то он может вести счастливую и достойную жизнь: у него есть правила, и он спасен. Жизнь же принца и его советников более важна и опасна: они распро-

страняют иллюзии, значит, тем самым и судят их. Жизнь встает перед ними без всякого покрывала и открывается им во всей силе своего трагизма. «Великий, исключительный человек, — пишет Вагнер, — почти ежедневно находится в состоянии простого смертного, отчаявшегося в жизни и потому готового на самоубийство. Принц и избранная благородная среда его окружающих силой своей природы предохранены от подобного трусливого искушения. Хотя горькое желание «повернуться спиной к миру» они часто испытывают. Они для самих себя ищут успокоительных иллюзий, являясь в данном случае одновременно и авторами, и участниками. Искусство спасет их. Теперь оно выступает не для возбуждения наивного энтузиазма толпы, а для облегчения страдания духовно благородных людей, для поддержания в них чувства мужества».

«Я показываю искусство, — пишет Вагнер, обращаясь к Людвигу II, — моему дорогому другу как благотворительную обетованную землю. Если искусство не в силах совершенно поднять нас над жизнью, то по крайней мере в самой жизни оно поможет нам возвыситься до самых высших областей. Оно придает жизни вид игры и, превращая в призрачные картины самую ужасную действительность, оно освобождает нас от общественной необходимости, радует и успокаивает нас».

«Еще вчера, — пишет Ницше 4 августа 1869 года Герсдорфу, — я читал доверенную мне Вагнером рукопись «О государстве и религии»; это великолепный трактат, написанный им для его молодого друга, баварского короля, для того, чтобы показать ему, как он, Вагнер, понимает идею государства и религии. Никто никогда еще не говорил со своим королем таким достойным философа языком. Я был крайне взволнован и потрясен подобным идеализмом, в котором я все время чувствую духовное влияние Шопенгауэра. Лучше всякого другого смертного король должен понимать всю трагедию жизни.»



В сентябре, после непродолжительной поездки по Германии, Ницше снова начинает жить между Базелем и Трибшеном. В Базеле у него была работа, внимательные ученики, общество любезных коллег. Его ум, музыкальный талант, его дружба с Рихардом Вагнером, его манеры и изящество создавали ему известный престиж. Его приглашали в лучшие дома, и он не отказывался от знакомств. Но самые лучшие отношения не стоят простой дружбы, а среди этих честных буржуа у Ницше не было ни одного друга. Его не удовлетворяет Базель; вполне хорошо он чувствовал себя только в Трибшене.

«У меня теперь также есть моя Италия, — пишет он Эрвину Роде, находившемуся тогда в Риме, — но я могу туда ездить только по субботам и воскресеньям. Моя Италия называется Трибшен, и я чувствую себя в ней как у себя дома; за последнее время я был там четыре раза подряд, и, кроме того, я каждую неделю посылаю туда письма. Дорогой мой друг, невозможно передать тебе всего того, что я вижу и чему учусь.

Верь мне — еще живы Шопенгауэр, Гёте, Эсхил и Пиндар!»

Каждый раз Ницше возвращался домой с величайшим огорчением. Его давило чувство одиночества, и он делился своею тоскою с Эрвином Роде и одновременно сообщал ему о своих надеждах в области научных занятий.

«Увы, мой дорогой друг, — пишет он ему, — у меня так мало радости, и я должен переживать ее всегда один, в полном, полном одиночестве. Я не боялся бы самой серьезной болезни, если бы этой ценой я мог хоть один вечер с тобой побеседовать. Письма дают так мало! Людям постоянно нужна акушерка, и почти все идут разрешаться от бре-

мени в кабаке, в коллегии, где мелкие мысли и мелкие проекты прыгают, как котята. Но когда мы полны нашими мыслями, то нет никого, кто бы помог нам, кто бы присутствовал при трудных родах, и, сумрачные и тоскующие, мы несем в какую-нибудь темную дыру наши новорожденные тяжелые, бесформенные мысли. Нам не хватает солнца дружбы.»

«Я становлюсь виртуозом по части уединенных прогулок, — говорит он далее и затем прибавляет: — В моей дружбе есть что-то патологическое». Несмотря на это, в глубине души он все-таки счастлив, и сам однажды пишет об этом Роде, предупреждая его не относиться с полной верой к его письмам.

«В переписке всегда досадно то, что хочется выразить самую лучшую часть самого себя, и вместо этого даешь, в большинстве случаев, только самый легкий намек, только аккорд, вместо вечной мелодии.

Каждый раз, как я сажусь писать тебе, мне приходит на ум выражение Гёльдерлина (любимого автора моих школьных годов) «Любящий — лучший из смертных» (*курсив Ницше*). А насколько я могу припомнить, что ты мог найти в моих последних письмах? Отрицание, противоречие, странности, одиночество. Между тем Зевс и осеннее божественное небо знают о том неудержимом потоке, который влечет меня к положительным идеям; каждый день я переживаю часы крайнего возбуждения, когда широкие горизонты, богатейшие замыслы раскрываются передо мною; в такие минуты экзальтированной впечатлительности я никогда не забываю послать тебе письмо, наполнив его своими мыслями и пожеланиями. Я посылаю его тебе по синему небу в уверенности, что электричество, соединяющее наши души, доставит его тебе.»

Мы можем познакомиться с этими положительными идеями, с широкими взглядами, рассматривая заметки и черновики Ницше, и можем видеть по ним, как постепенно, день за днем, он научается владеть собой.

«Чем были для меня годы моего учения, — пишет он Ритчлю, — великолепной прогулкой в области филологии и искусства; вот почему сердце мое полно живейшей признательности, когда я теперь обращаюсь к вам, так как до сих пор вы были «судьбой» моей жизни; я понимаю теперь, как необходимо мне было принять эту кафедру, которая из блуждающей звезды сделала меня звездой, прикрепленной к небесному своду, и дает возможность вкушать удовлетворение от горького, но регулярного труда, ведущего к верной непреходящей цели. Труд человека делается совсем иным, когда святая *ἀνάγκη* осеняет его. Как спокоен тогда его сон и как ясно при пробуждении сознает его совесть ее дневной долг. В этом нет филистерства. У меня такое чувство, точно я собираю множество рассеянных страниц в одну книгу.»

Книгой, главные идеи которой в это время обрабатывает Ницше, было «Происхождение трагедии». Греческий мир остается центром, вокруг которого группируются его мысли; он не останавливается перед трудностями истории: настоящий историк, думает он, должен уметь одним взглядом охватить и обобщить события. Все завоевания филологии, пишет он в своих заметках, родились от творческого взгляда. Взгляд Гёте открыл светозарную прозрачную Грецию. В обаянии его гения мы продолжаем видеть не исчерпанную им красоту. Но раньше всего мы должны увидеть и познать самих себя. Гёте остановил свое внимание на веках александрийской культуры. Ницше пренебрегает этим периодом; он предпочитает более грубые и примитивные века, куда инстинкт вел его с 18-летнего возраста, когда он еще увлекался двустипшиями аристократа Феогнида из Мегары. В его поэзии Ницше вдыхает энергию, силу мысли и действия, научается терпению и возмездии. Душа его утопает в лирических мечтах.

Наконец, он находит, или ему по крайней мере кажется, что он находит, в древнейшей Греции дух Ри-

харда Вагнера. Вагнер хочет обновить трагедию и, пользуясь театром как умственным орудием, оживить в человеческой душе упавший дух лиризма. То же стремление было и у греческих трагиков, — с помощью потрясающе представленных на сцене мифов они хотели еще более облагородить и воспитать свой народ. Чудесная мечта их была разбита; пирейские купцы и городская чернь, сброд рынков и гаваней, не могли полюбить лирическое искусство, которое требовало от них возвышенных мыслей и достойных деяний. Благородные авторы были побеждены, и трагедия перестала существовать. Рихард Вагнер столкнулся с такими же врагами — с демократами, плоскими резонерами, низкопробными сулителями благополучия. «Наш иудейский мир, наш болтливый и политиканствующий плебс органически враждебны глубокому идеалистическому искусству Вагнера, — пишет Ницше Герсдорфу. — Им чужда его рыцарская натура». Будет ли вагнеровское искусство побеждено так же, как в свое время трагедия Эсхила? Внимание Ницше все время поглощено перипетиями этой борьбы.

Он излагает своему учителю свои новые взгляды. «Надо обновить идею эллинизма, — говорит он, — так как мы пользуемся ложными общими данными. Мы говорим о «радости», об «эллинской ясности», — а на самом деле и эта радость, и эта ясность — запоздалые плоды скудного знания, милости веков рабства. Тонкость Сократа и мягкость платоников уже несут на себе следы последующего упадка. Надо изучать древнюю поэзию шестого и седьмого веков. Тогда только вы прикоснетесь к наивной силе, к изначальному растительному соку Эллады. Между поэмами Гомера, — романом ее детства, драмами Эсхила, — произведениями ее зрелого возраста, Греция после долгого усилия овладевает своими инстинктами и своими дисциплинами. Вот

времена, достойные изучения, так как в них много сходства с нашим веком. Греки верили в то время, подобно современным европейцам, в фатализм естественных сил, в то, что должны сами создать себе и добродетель, и богов. Их воодушевляло чувство трагического, смелый пессимизм, не отвращавший их от жизни. Между греками и нами можно провести полную параллель: пессимизм и мужественная воля созидания новой красоты».

Рихард Вагнер интересовался идеями молодого философа, и он все более и более привязывался к нему. Однажды, в присутствии Ницше, Вагнер получил известие, что «Золото Рейна» и «Валькирия», плохо исполненные и поставленные с полным пренебрежением к его советам и указаниям, не имели никакого успеха. Он не мог скрыть своей горечи; ему было тяжело видеть, как обесценили и исковеркали его великое произведение, предназначенное им — увы! — несуществующему еще театру и несуществующей публике. Он глубоко страдал, и Ницше мучился вместе с ним.

В присутствии Ницше Вагнер писал в то время «Гибель богов». Страница за страницей на глазах у Ницше мерно и безостановочно создавалось новое творение, как бы изливаясь из невидимого источника. Вагнер, мысль которого никогда не истощалась, в это же время писал историю своей жизни. Ницше получил эту рукопись с тайным поручением отдать ее в печать и ограничить издание 12 экземплярами. Он давал Ницше и более интимные семейные поручения. На Рождество Вагнер готовил для своих детей «петрушку» — ему хотелось, чтобы были изящные фигурки: черти, ангелы. Г-жа Козима Вагнер поручает Ницше закупить все это в Базеле. «Я все забываю, что вы ведь профессор, доктор филологии, — мило говорит она ему, — и думаю только о том, что вам 25 лет». Ницше обошел все базель-

ские магазины, но не нашел ничего подходящего и написал в Париж, чтобы оттуда прислали в Трибшен самых страшных чертей и самых прекрасных ангелов. Ницше получает приглашение смотреть «петрушку» и проводит все Рождество в семье Вагнера, в сердечной, интимной обстановке. Г-жа Вагнер подарила ему французское издание Монтеня, которого он еще не читал и которого так полюбил впоследствии. Г-жа Вагнер поступила неосторожно: для молодого ума Монтень был опасным автором.

* * *

«Этою зимою я должен прочесть две лекции об эстетике греческих трагиков, — писал Ницше в сентябре своему другу барону Герсдорфу, — и Вагнер приедет из Трибшена слушать меня». Вагнер не приехал, но слушать Ницше собралась многочисленная публика. Он говорит о неведомой Греции, полной волнующей тайны, о празднествах в честь бога Диониса и о том, как через это смятение духа и опьянение Греция пришла к лиризму, пению и трагическому созерцанию. Он, по-видимому, хотел дать определение вечному романтизму, оставшемуся по существу одинаковым как в Греции в VI веке, так и в Европе в XIII веке; тот же романтизм, без всякого сомнения, вдохновляет Вагнера в его уединении в Трибшене. Однако Ницше воздержался от произнесения этого имени.

«Когда афинянин присутствовал на представлении трагедии великого Диониса, то он приносил в своей душе маленькую искру той элементарной силы, из которой рождается трагедия. Это был победный весенний расцвет, страстное беснование различнейших ощущений, которое чувствуют при приближении весны все наивные народы, вся природа. Все знают, что наша Пасха и наш карнавал только

видоизменены церковью и представляют собою нечто иное, как те же весенние праздники. Корень всего этого лежит в глубоком инстинкте жизни. Древняя греческая земля нашла в себе толпы энтузиастов, опьяненных Дионисом; точно так же в танцах Св. Иоанна и Св. Витта принимала участие в средние века все время возраставшая толпа, с пением и плясками кочевавшая из города в город. Врачи могут рассматривать эти явления как продукт массовых народных болезней; мы же утверждаем, что античная драма есть цветок, родившийся на почве одной из таких болезней, и что если наше современное искусство не почерпает силы из этого чудесного источника, то в этом заключается его несчастье.»

Вторую свою лекцию Ницше посвятил рассмотрению цели трагического искусства. Оно представляет собой совершенно исключительное явление; все остальные искусства Греции медленно и плавно склонились к упадку. Трагедия же этого упадка не переживала, она исчезает только после Софокла, как бы под влиянием какой-то катастрофы.

Говоря об этом, Ницше называет имя ее разрушителя — Сократа; он берет на себя миссию развенчать этого самого уважаемого человека. Этот вышедший из народа человек, бедный афинянин, безобразный насмешник, убивает античную поэзию. Сократ не был ни художником, ни философом; он ничего не написал, ничему не учил, даже едва умел говорить; сидя на площади, он останавливал прохожих и удивлял их своей забавной логикой, убеждал их в их невежестве и абсурдности мнений, смеялся над ними и заставлял их смеяться над собой. Его ирония оскорбляет наивные верования, придававшие таинственную силу предкам, и высмеивает их мифы, которые поддерживали их добродетели. Он презирует трагедию и открыто заявляет об этом, и этого довольно. Еврипид почувствовал себя смущенным и сдержал поток своего вдохновения, молодой Платон,

который, пожалуй, мог превзойти самого Софокла, услышав нового учителя, сжигает свои стихи и отрекается от искусства. Сократу, таким образом, удается самая решительная революция: он разочаровывает древнее человечество, с его инстинктивной жизнью и прирожденной склонностью к лирике, и с помощью речей соблазненного им Платона он устанавливает неведомую древним иллюзию, по природе своей доступную человеческому разуму, отдавшемуся ей без остатка и тем самым уничтожившему навсегда возможность гармонии. Эти страницы вошли впоследствии в книгу Ницше «Происхождение трагедии».

Обвинительная речь против Сократа смутила слушателей. Вагнер знал о выступлении Ницше и написал ему очень осторожное, но полное энтузиазма письмо в феврале 1870 года.

«Что касается меня, то я готов присоединить мой громкий голос к вашему, — да, это так! Вы достигли истины и остротой вашего ума установили правильную точку зрения. Я с восхищением жду продолжения ваших работ в вашей дальнейшей борьбе с вульгарным догматизмом. Но тем не менее положение ваше внушает мне некоторое беспокойство, и я желаю вам от всего моего сердца не сломать себе шеи. Я хочу вам посоветовать не излагать больше своих дерзких взглядов, которым трудно поверить, в малоговорящих коротеньких брошюрах. Я чувствую, как глубоко вы проникнуты своими идеями; надо их собрать все вместе и издать большую, пространную книгу. Только тогда вы найдете себя и скажете истинное слово о божественных ошибках Сократа и Платона; ведь, несмотря на то, что мы отворачиваемся от них, мы все же не можем не обожать этих чудесных учителей. О, друг мой! Слова звучат подобно гимнам, когда мы говорим о необъяснимой гармонии этих людей, чуждых нашему миру. И какая гордость и надежда овладевают нами, когда, возвращаясь к самим себе, мы с ясностью и силой чувствуем в себе способность реализовать замыслы, оставшиеся недоступными даже этому высшему миру.»

До сих пор не было опубликовано ни одно письмо Ницше к Вагнеру. Потеряны ли они, уничтожены ли, или может быть г-жа Козима Вагнер из чувства злопамятности не хочет дать их в печать? Мы ничего не знаем по этому поводу. Ницше, без сомнения, просил у Вагнера духовной поддержки, помощи в выяснении своих действительно трудных точек зрения, и Вагнер отвечал ему.

«Мой дорогой друг, как хорошо, что мы можем писать друг другу такие письма. У меня нет никого сейчас, кроме вас, с кем бы я мог так серьезно говорить, за исключением, конечно, «единственной»*. Бог знает, что было бы со мной без нее и без вас. Но для того, чтобы быть в состоянии отдаться удовольствию борьбы вместе с вами против «сократизма», надо иметь много свободного времени и не соблазняться никаким другим занятием, так как, для того чтобы выяснить этот вопрос, мне придется отказаться от всякого другого творчества. Здесь вполне применимо разделение труда; вы можете многое сделать для меня, если возьмете на себя половину дела, предназначенного мне судьбой. Исполнив это, вы, может быть, тоже последуете своей судьбе. Я всегда оставался недоволен моими филологическими изысканиями, а с вами бывало то же в области музыки. Если бы вы стали музыкантом, то из вас вышло бы приблизительно то же самое, как если бы я посвятил себя филологии. Но страсть к филологии живет в моей крови, она руководит мною в моем музыкальном творчестве. Вы же оставайтесь филологом и, в качестве такового, отдайте себя во власть музыки. Я серьезно настаиваю на этом. Я знаю от вас, насколько низменны современные занятия ремесленника-филолога, а от меня вы знаете, в какой жалкой лачуге находится сейчас настоящий «абсолютный» музыкант. Покажите же нам, чем должна быть филология, и помогите мне подготовить то великое «возрождение», в котором Платон сольется с Гомером, и в котором Гомер,

* Г-жа Козима Вагнер.

проникнутый идеями Платона, будет наконец в первый раз высочайшим Гомером!...»

В этот момент у Ницше уже был выработан план его работы, и он собирался сразу написать ее. «Наука, искусство и философия сплелись так тесно в моей душе, что я думаю произвести на свет кентавра», — пишет он в феврале Эрвину Роде.

Но профессиональные занятия отвлекают его от этой работы. В марте он назначается исполняющим должность профессора и чувствует себя польщенным оказанной ему честью, но у него уходит теперь много времени на служебные обязанности. В то же время ему поручают курс высшей риторики, а затем его просят редактировать на хорошем латинском языке поздравительный адрес профессору Брамбаху, в продолжение 50 лет состоящему профессором в Фрайбургском университете. Ницше, который никогда ни от чего не отказывался, берется и за чтение курса, и за редактирование адреса. В апреле его ждет новая работа. Ритчль основывает обозрение «Записки филологического общества Липсии», — и хочет, чтобы его лучший ученик принимал в нем участие.

Ницше безусловно обещал свое сотрудничество, обещал поместить в обозрении статьи и уговаривал в письме Роде также согласиться участвовать в журнале.

«Лично я чувствую себя обязанным принять участие в этой работе, — пишет он, — хотя в данный момент она и будет отвлекать меня от моих занятий, но я все же не в силах отказаться от нее. Мы оба должны что-нибудь написать для первого выпуска. Ты знаешь, что многие будут читать мою статью с любопытством и недоброжелательством, поэтому *надо*, чтобы она была хороша. Я уже обещал наверное мою помощь, отвечай мне, как ты думаешь поступить».

В июне 1879 года Ницше как будто всецело занят «Аста». К Троицыну дню Роде возвратился из Италии и

остановился в Базеле; Ницше был чрезвычайно рад приезду друга: ему очень хотелось познакомить его с Вагнером, и поэтому он повез его в Трибшен. Прекрасна была их встреча, но никто из них не почувствовал, что они стоят на краю пропасти. Роде поехал дальше, а Ницше, оставшись один, стал жертвой несчастного случая: получил растяжение жил и должен был лежать в постели.

* * *

Обратил ли Ницше какое-нибудь внимание на слухи о войне, волновавшие Европу в 1870 году? Надо думать, что нет. Он мало интересовался новостями и совсем не читал газет. Ницше, конечно, не относился вполне равнодушно к своей родине, но, подобно Гёте, понимал ее как источник искусства, морального величия; у него была, пожалуй, только одна идея, внушенная встревоженным общественным мнением: «Не надо войны, — пишет он, — государство слишком много выиграет от этого». Здесь, безусловно, в личном мнении Ницше мы можем видеть и отголосок разговоров в Трибшене. Самыми пылкими поклонниками Рихарда Вагнера были прирейнские и южногерманские жители, баварцы, во главе с его покровителем Людвигом II; северяне плохо ценили его, берлинцы же относились к нему хуже всех, и Вагнер не желал, чтобы международный кризис, разрешившись войною, способствовал усилению прусской диктатуры. «Государство», о котором Ницше упоминает в своей короткой заметке, — это Пруссия. Он так же, как и его учитель, предвидит угрожающую гегемонию Берлина и боится его, этого презренного города бюрократов, банкиров и журналистов.

Выздоровливающий Ницше, полулежа в шезлонге, пишет Роде 14 июля и говорит ему о Рихарде Вагнере, Гансе Бюлове, об искусстве и дружбе. Внезапно он ос-

танавливается на середине фразы и пропускает одну строчку, чтобы отметить обрывок своей мысли.

«Как ужасный удар грома вспоминаю я известие об объявлении франко-прусской войны; точно какой-то ужасный демон обрушивается на всю нашу вековую культуру. Что будет с нами?

Другой мой, милый друг, еще раз приходится нам переживать сумерки мира. Что значат теперь все наши желания! Может быть, мы присутствуем при начале конца? Какая пустыня кругом. Единственное спасение в отшельническом уединении, и мы с тобою будем первыми монахами.»

Он подписывается так: *лояльный швейцарец*. Эту неожиданную подпись можно понимать буквально: Фр. Ницше должен был отказаться от своей национальности для того, чтобы стать профессором Базельского университета. Но, по всей вероятности, подпись эта указывает на нечто большее, на независимость его мышления, на занятую им чисто созерцательную позицию.

Как плохо Ницше знал самого себя! Он был еще слишком молод, слишком предан своей нации, чтобы созерцать эту грозную драму в качестве простого зрителя. Как лояльный швейцарец он поселяется со своей сестрой Лизбетой в горном пансионе и пишет там несколько страниц о греческой лирике. Здесь он впервые формулировал определение начала Диониса и начала Аполлона. Тем временем германская армия переходит через Рейн и одерживает первые победы. Фр. Ницше не без волнения прислушивается к этим известиям. Мысль о великих делах, в которых он не принимает участия, об опасностях, которым он лично не подвергается, устраивает правильный ход его умственных занятий.

20 июля в письме к г-же Ритчль он высказывает свои родившиеся в одиночестве мысли. Раньше всего он говорит о страхе, который внушает ему воспоминание о том, как вследствие конфликта между Спартой и Афи-

нами пала Греция. «Печальные исторические аналогии говорят мне, что даже традиции, созданные культурой, могут быть уничтожены ужасами национальной войны». Мало-помалу обнаруживается и самое волнение, охватившее его душу. «Как я стыжусь моей праздности, которой я предаюсь в тот момент, когда мог бы применить к делу мои артиллерийские познания. Само собой разумеется, я готов и на решительный шаг, если дела примут дурной оборот. Вы знаете, все кильские студенты в порыве энтузиазма записались добровольцами...» 7 августа он читает в утренней газете телеграммы из Вёрта: «Немецкие войска победили, потери громадны». Ницше не был больше в состоянии оставаться в своем уединении; он возвращается в Базель, хлопочет и добивается разрешения швейцарских властей на поступление в санитарный отряд и тотчас же едет в Германию, чтобы немедленно принять участие в манящих его к себе военных действиях.

Он проезжает через завоеванный немцами Эльзас, видит братские могилы Виссембурга и Вёрта и останавливается на бивуаках в Страсбурге, объятom пламенем, зарево которого покрывает весь горизонт; оттуда через Люневиль и Нанси Ницше направляется к Мецу, превращенному в сплошной госпиталь раненных под Марс-ла-Тур, Гравелотом и Сен-Прива; больных так много, что их едва успевают лечить; множество людей умирает от ран и от инфекционных болезней. Нескольких человек поручают Ницше; он исполняет свой долг с мужеством и кротостью и чувствует при этом прилив какой-то особенной радости, священный страх, почти энтузиазм. Первый раз в жизни он без отвращения смотрит на работу организованной толпы. Перед его глазами проходят миллионы людей; на одних уже лежит печать смерти, другие идут в поход, или стоят под огнем; в душе его нет никакого презрения к ним, напротив, скорее чувство уважения. Постоянные опасности военного

времени сделали этих людей храбрыми; они забыли свои праздные мысли; они маршируют, поют, исполняют приказания начальства и рано или поздно умирают. Ницше вознагражден за свои труды, братское чувство наполняет его душу; он не сознает себя более одиноким и любит окружающих его простых людей. Во время битвы под Седаном, он пишет: «Во мне проснулись военные наклонности и я не в силах удовлетворить их. Я мог бы быть в Резонвиле и Седане пассивным, а может быть, и активным, но швейцарский нейтралитет связывает мне руки».

Пребывание его во Франции было кратковременно, так как он получил приказание доставить в Карлсруэ находившихся на его попечении больных.

Ницше едет 3 дня и 3 ночи в запертом и плотно закрытом из-за холода и дождя товарном вагоне, сопровождая 11 раненых. Двое из них были больны дифтеритом, все остальные — дизентерией. «Страдание есть самый скорый способ постижения истины», — говорит один немецкий мистик. В эти дни Ницше вспоминает об этом своем любимом изречении. Он испытывает свое мужество, проверяет свои мысли. Он не прерывает их течения, даже перевязывая раны больных, прислушиваясь к их зову и столам. До сих пор он знал только одни книги; теперь он узнает жизнь. Вкушая горечь страдания, он не перестает думать о далекой красоте. «У меня тоже есть мои надежды; благодаря им, я мог пережить войну и в то же время не прерывать моих размышлений при виде даже самых ужасных страданий. Мне вспоминается одна одиноко проведенная ночь, когда ложась вместе с ранеными в товарном вагоне, я не переставал думать о трех безднах трагедии, которые носят названия: заблуждение, воля, скорбь. Почему явилась у меня тогда непреложная вера в то, что грядущий герой трагического познания и эллинской радости должен будет получить при своем рождении такое испытание?»

Вместе с ранеными и больными Ницше приезжает в Карлсруэ; он заразился и заболел дифтеритом и дизентерией. Незнакомый ему человек, помогавший ему на перевязках, самоотверженно ухаживает за ним. Став на ноги, Ницше немедленно уезжает в Наумбург, к родным, искать не покоя, а наслаждения работой и размышлениями:

«Да, — пишет он Герсдорфу, бывшему в это время в рядах действующей армии, сражавшейся во Франции, — наше общее мировоззрение получило, так сказать, боевое крещение. Я испытал то же, что и ты. Для меня, как и для тебя, эти несколько недель создали целую эпоху в жизни, во время которой в душе моей укрепились и утвердились все мои принципы... Я чуть не умер ради них... Сейчас я в Наумбурге, но еще не совсем поправился. Атмосфера, в которой я так долго находился, осталась висеть надо мной, как черный туман; мне все время чудятся несмолкаемые стоны и жалобы...»

Раньше, в 1865 году, во время кампании под Садовой, Ницше уже испытал войну и пережил увлечение ею. Великое непосредственное вдохновение охватило его; на один миг он почувствовал себя слитым воедино со своим народом. «Я переживаю совершенно новое для меня увлечение патриотизмом», — писал он. Ницше тщательно хранит и культивирует в себе это внезапно зародившееся в нем чувство.

Как изменилась теперь его душа! Никакого следа не осталось в ней от «лояльного швейцарца» прежнего времени. Он стал мужем среди мужей, немцем, гордым своей родиной. Война преобразила его, и он восхваляет ее: она будит человеческую энергию, тревожит уснувшие умы, она заставляет искать цели слишком жестокой жизни в идеальном строе, в царстве красоты и чувства долга. Лирические поэты и мудрецы, непонятые и отвергнутые в годы мира, побеждают и привлекают людей в годы войны; люди нуждаются в них и сознают-

ся в этой нужде. Необходимость идти за вождем заставляет их прислушиваться к голосу гения. Только война способна преобразить человечество, только она может поселить в нем стремление к героическому и высокому.

Ницше, еще совсем слабый и больной, берется за рукопись своей книги и хочет занести в нее свои новые идеи. Мысль его возвращается к Греции; искусство ее заключается во внешней форме общежития, где все дисциплинировано борьбой, начиная с мастерской, где работает обращенный в рабство военнопленный, кончая гимназией и *ἀγορά* (агога), где свободный человек учится обращаться с оружием. Подобно тому, как крылатая богиня самофракийская летит над окровавленной триремой, точно так же греческий гений рождается из войны; она звучит в его песнях, она постоянный спутник его жизни. «Этот народ трагических тайн, — пишет Ницше, — нанес великий удар силе персиян; в свою очередь народ, поддержавший войну, имеет право на спасительный напиток трагедии. Мы можем проследить в этих словах Ницше, как ум его хочет в неизведанной Греции найти самую идею трагического. Мы постоянно находим у него слово «трагический», которое звучит лейтмотивом, вроде того, как ребенок повторяет впервые услышанное слово. «Трагическая Греция побеждает персов ...» «Трагический человек — это сама природа в высшем напряжении своего творчества и сознания; такой человек играет со страданием». Одно время три формулы удовлетворяют Ницше в его поисках: произведение трагического искусства — трагический человек — трагическое государство. Таким образом, он предопределил три основные части своей книги, общее заглавие которой будет «Трагический человек».

Не надо упускать из виду действительной цели всех его размышлений; мысль об обществе, о дисциплине, увлекавшей его в прошлом, — все это не что иное, как

идеальные формы для его родины. Он им отдает свои мечты и надежды. Латинская Европа обессилена утилитаризмом и неизбежностью жизни; Германия богата солдатами, поэтами, мифами и победами; она сюзерен народов, склоняющихся к упадку. Но как осуществить эту верховную власть? Не можем ли мы предсказать, что ее триумф составит новую трагическую и воинственную эру, расцвет рыцарства и лиризма? Если ум наш постигает это, то мы можем надеяться, а этого достаточно для того, чтобы возвести все это в степень долга. Какою прекрасною будет Германия с таким вождем, как Бисмарк, с таким солдатом, как Мольтке, с поэтом, как Вагнер, а философ ее уже существует, его зовут Фр. Ницше. Он нигде не говорит об этом, но безусловно в это верит; в гениальности своей он не сомневается.

Ницше легко приходит в состояние экзальтации, но никогда не отрывается от земли в своих мечтах; он мечтает об идеальном отечестве, но ни на минуту не перестает трезвыми глазами смотреть на свою человеческую, слишком человеческую родину. Весь октябрь и половину ноября Ницше проводит в Наумбурге, со своими родными; его оскорбляют провинциальные добродетели, вульгарность окружающих его мелких людей, знакомых и чиновников. Наумбург — это прусский город. Ницше не любит грубых, низменных пруссаков. Мец пал, лучшая часть французской армии была в плену, и бешеная гордость охватывает всю Германию; Ницше устоял и не поддался этому общему настроению. Чувство триумфа — это духовный отдых, а его вечно деятельная душа не знает отдыха. Напротив, она полна беспокойства и страха перед будущим.

«Я боюсь, — пишет он Герсдорфу, — что за наши чудесные национальные победы мы должны будем заплатить такой ценой, на которую я никогда не соглашусь. Говоря откровенно, я думаю, что современная Пруссия — это в высшей степени опасная для культуры держава.

Наша трудная задача заключается в том, чтобы сохранить философское спожойствие среди всей этой суеты и зорко следить за тем, чтобы никто не расхитил воровским образом достояния культуры, так как она несравнима ни с чем, даже с самыми героическими военными подвигами, с самым высоким национальным подъемом».

В это время появилась статья, произведшая на Ницше глубокое впечатление; она была посвящена столетию со дня рождения Бетховена. Поглощенная войной Германия забыла о чествовании этого дня. В этот день прозвучал только один голос, принадлежавший Рихарду Вагнеру, достаточно сильный для того, чтобы напомнить победителю о годовщине другой славы: «Немцы, вы мужественны, — пишет он, — оставайтесь же такими и во время мира; в этом полном чудес 1870 году нет лучшего воспоминания для прославления вашей национальной гордости, как память о великом Бетховене. Почтим же этого великого завоевателя новых путей, почтим его так, как он этого заслуживает; он не менее достоин славы, чем победа мужественной Германии. Тот, кто дает радость миру, стоит еще выше над всеми людьми, чем тот, кто завоевал целый свет».

«Немцы, вы мужественны, оставайтесь же такими и во время мира», — никакие слова никогда не волновали Ницше так сильно, как эти; желание увидеть учителя охватило его душу и он, не совсем еще поправившись, все же покинул Наумбург.

* * *

Свидание с Рихардом Вагнером не вполне удовлетворило Ницше; этот человек, такой великий в годы несчастья, казалось, в минуты счастья изменился к худшему. Радость его носила вульгарный оттенок. Ему казалось, что победа прусского оружия как бы отомстила французам за свистки и насмешки над его музыкой в

Париже. Он мысленно «поедал французов» с большим нравственным удовлетворением. Но тем не менее он отказался от целого ряда высоких должностей и великих почестей, которые ему обещали, если он согласится жить в Берлине. Он отказался от посвящения в официального певца Прусской империи; Ницше чрезвычайно радовался такому решению.

Ницше нашел себе в Базеле человека по душе, которому и поверял свои опасения. Историк Якоб Буркхардт, великий знаток искусства и цивилизации, также переживал в то время полосу грустного настроения; всякое проявление грубой силы было ему противно; он ненавидел разрушительную войну. Будучи гражданином страны, поддерживающей в Европе свою независимость и старинные нравы, гордившейся своею независимостью и своими традициями, Якоб Буркхардт, базельский буржуа, не любил 30- и 40-миллионных наций, выступивших теперь на историческую сцену. Всем планам Бисмарка и Кавура он предпочитал советы Аристотеля: «Сделайте так, чтобы число граждан не превышало цифры 10 000, иначе они не будут в состоянии собираться на публичной площади». Буркхардт хорошо знал Афины, Венецию, Флоренцию, Сиену; он с глубоким уважением относился к античным и латинским философским дисциплинам и очень дешево ценил немецкие; возможность гегемонии Германии ужасала его. Буркхардт и Ницше, будучи коллегами по университету, часто встречались в перерывах между лекциями; они много беседовали, а в хорошие дни поднимались на известную всем туристам террасу, находившуюся между красным каменным собором и Рейном, еще недалеким от верховья, но уже с полной силой и неумолчным шумом катящим свои быстрые воды. Простое здание университета было расположено совсем близко на склоне между музеем и рекой.

Они всегда говорили на общую им тему: о том, ка-

ким путем пойдет дальше традиция культуры, о хрупкой и столь часто искажаемой красоте, завещанной нашим заботам Атикой и Тосканой. Франция оказалась на высоте; она сумела удержать стиль и воспитать известную школу вкуса. Есть ли у Пруссии такие качества, которые давали бы ей право на такое наследство? «Может быть, — повторял с надеждой Ницше, — война эта преобразит нашу прежнюю Германию; я вижу ее в своих мечтах более мужественной, обладающей более решительным, более тонким вкусом».

— «Нет, — отвечал ему Якоб Буркхардт, — вы все время думаете о грехах, в характере которых война, действительно, воспитывала добродетель. Современные войны слишком поверхностны; они не достигают глубины, ничем не исправляют буржуазного нерадения к жизни. Они случаются слишком редко, и впечатление от них быстро сглаживается; о них скоро забывают; мысли не останавливаются на них». Что же отвечал на это Ницше? Письмо к Эрвину Роде обнаруживает перед нами, что он еще не составил себе определенного мнения по этому вопросу. «Меня очень занимает вопрос о ближайшем будущем, — пишет он, — мне кажется, я усматриваю в нем черты видоизмененного средневековья. Спешите же уйти из-под влияния этой чуждой культуры Пруссии. Лакеи и попы вырастают в ней, как грибы, и наполняют своим чадом всю Германию».

Якоб Буркхардт жил уже давно только среди своих книг и воспоминаний о прошлом; он привык к своей грусти, и она уже более не тяготила его. В качестве скромного протеста против увлечений своих современников он прочел лекцию об «Историческом величии». «Не принимайте за истинное величие, — сказал он базельским студентам, — тот или иной военный триумф, торжество какого-нибудь государства. Сколько было могущественных держав, забытых историей и по справедливости достойных такого забвения. Гораздо реже

можно видеть историческое величие; оно заключается всецело в творчестве людей, которых мы, за неимением более подходящего слова, совершенно не исчерпывая и не проникая в глубину их натуры, называем великими людьми. Так, неизвестный строитель оставил человечеству Notre Dame de Paris, Гёте подарил нам «Фауста», Ньютон — свой закон о солнечной системе. Только в таких делах и заключается истинное величие». Ницше был на этой лекции и аплодировал Буркхардту. «Буркхардт, — пишет он, — становится последователем Шопенгауэра...» Но его пыл не удовлетворяется несколькими умными словами. Ницше не может так скоро отказать от лелеянной им надежды — спасти отечество от того морального падения, которое, по его мнению, ему угрожало.

Как поступить при таких обстоятельствах?.. Перед Ницше стоял тяжеловесный, чуждый всякому беспокойству народ, приниженный демократией, противный всякому благородному порыву. Как велико должно быть искусство, чтобы сохранить среди него идеал, стремление к героизму и ко всему возвышенному. Ницше строит план настолько смелый, настолько крайний, что долго не решается открыть его кому-нибудь и хранит его про себя. Рихард Вагнер был занят в то время постройкой Байройтского театра, где он с полной свободой мог проявить свое эпическое творчество. У Ницше рождается смелая мысль — создать такое же учреждение, только в другой области: ему хочется основать философский семинарий, где бы его молодые друзья — Роде, Герсдорф, Дейссен, Овербек и Ромундт — могли бы собираться и жить вместе, свободные от труда и административной опеки и под руководством нескольких учителей обсуждать проблемы современности. Таким образом, общий очаг искусства и мысли поддерживался бы в самом сердце Германии, вдали от толпы, от государства и традиционного мышления. «Придется уйти в

монастырь», — писал он в июле Роде; через шесть месяцев эта идея снова вырастает в его голове. «Современный анахоретизм, — читаем мы в его заметках, — это, без сомнения, самое странное зрелище, порожденное эпохой победоносной войны; ведь это свидетельство полной невозможности жить в согласии с государством».

Ницше увлекается этой мечтой, не замечая ее неосуществимости. Он представляет себе собрание отшельников, напоминающее нам Порт-Ройял де Шамп. Он знает, что подобное общество совершенно не может согласоваться с привычками и вкусами его времени, но он считает его необходимым и предполагает в себе лично достаточно силы для того, чтобы стать его учредителем. Глубокое инстинктивное желание вдохновляет его и руководит им. В старой школе Пфорта, монашеской по происхождению, по своей постройке, даже по окружающим стенам, а также по размеренной важности и строгости нравов, Ницше, будучи ребенком, уже испытывал впечатление почти монашеской жизни; вся эта обстановка ясно осталась в его памяти, и он не мог без тоски вспомнить ее. В студенческие годы он ограничивался тесным кругом друзей; он изучал Грецию, и античная мудрость окрыляла его мечту; он любил Пифагора и Платона: одного — как основателя школы; другого — как поэта; любил избранных аристократов духа, замкнувшихся в самом лучшем и высоком из когда-либо существовавших на земле братств, вооруженных мудрецов, рыцарей-философов. Так христианство и язычество, сплетенные его мыслями в отдаленном созвучии, осеняли его вдохновение.

Он хочет писать открытое письмо своим знакомым и незнакомым друзьям, но только думает созвать их в благоприятный момент, а до тех пор решает держать свой проект в секрете. «Дай мне два года сроку, — пишет от Герсдорфу, весь полный энтузиазма и таинственности, — и ты увидишь, как распространится новый

взгляд на античный мир и как им определится новый дух в моральном и научном воспитании нации». В середине декабря Ницше нашел, что удобный момент настал. Роде в ответ на страстное письмо Ницше отозвался слабым грустным эхо. «Нам нужны будут скоро монастыри», — повторяет он мысль, сказанную Ницше еще 6 месяцев тому назад. Но это были только слова; Ницше же принял их за добровольное согласие, возвещающее о восторженном сотрудничестве, и в радостном порыве пишет ему:

«Дорогой друг, получил твое письмо и тотчас же отвечаю тебе. Мне в особенности хочется тебе сказать, что я чувствую абсолютно то же, что и ты, и что мы будем настоящими тряпками, если ограничимся одними слабыми жалобами и не уйдем от тоски путем какого-нибудь энергичного поступка... Я наконец понял, что говорил Шопенгауэр об университетской философии. В этой среде неприемлема никакая радикальная истина, в ней не может зародиться никакая революционная мысль. Мы сбросим с себя это иго; я во всяком случае решил так поступить. Мы образуем тогда новую греческую академию; Ромундт будет тоже с нами.

Ты теперь, после твоего посещения Трибшена, знаешь о байройтских планах. Уже давно, никому не говоря о своих мыслях, я думал, не следует ли нам порвать с философией и ее культурными перспективами. Я готовлю большую «*adhortatio*» для тех, кого еще не коснулся и не задумали руки нашего времени. Как печально, что я опять могу только писать тебе и уже давно не могу вместе с тобой в личной беседе обсуждать каждую мою мысль! Ты не знаешь сейчас всех извилин моих мыслей и всех родившихся у меня выводов, и мой план может показаться тебе простым эксцентрическим капризом. На самом деле решение мое диктуется из необходимости...

Постараемся доплыть до того маленького острова, где уже больше не придется затыкать уши воском. Мы будем там учителями друг другу. Наши книги с этого дня станут удочками, с помощью которых мы будем привлекать к себе

друзей в нашу эстетическую и монашескую ассоциацию. Будем работать и улаживать друг другу жизнь, и только таким образом мы сможем создать общество. Я тебе скажу (ты видишь теперь, как серьезны мои намерения), что я уже сократил свои расходы, для того чтобы образовывать маленький запасный капитал. Попробуем наше «счастье» в лотерее; а что касается до книг, то в предвидении будущего я буду за них требовать самые большие гонорары. Короче, мы не будем пренебрегать никакими легальными средствами, чтобы достигнуть нашей цели — основать монастырь. Итак, мы должны в продолжение двух предстоящих лет исполнять наш долг.

Пусть этот план покажется тебе достойным размышления. Твое последнее, такое взволнованное письмо служит мне знаком к тому, что настала пора открыть перед тобою мои планы.

Разве мы не в силах создать новую форму Академии?

И я не должен подыскивать

Новую форму этому удручающему насилию?

Так говорит о Елене Фауст. О моем проекте никто ничего не знает, и от тебя зависит теперь, чтобы Ромундт был извещен.

Само собою разумеется, что наша философская школа не будет ни историческим переживанием, ни произвольным капризом. Не правда ли, сама необходимость толкает нас на этот путь? Мне кажется, что наши еще студенческие мечты о совместном путешествии возвратились к нам, только в новой, символической и более широкой форме. На этот раз я постараюсь, чтобы это не осталось только проектом. Мне до сих пор досадно вспоминать о прошлой неудаче. С самыми лучшими надеждами остаюсь твоим верным *frater Fridericus*.

От 23 декабря до 1 января я буду жить в Трибшене, около Люцерна».

22 декабря Фр. Ницше покидает Базель; он не получил ответа от Роде. В Трибшене его встретили оживление и радостная возня детей, ожидавших рождествен-

ских праздников. Г-жа Вагнер подарила ему томик Стендаля «Прогулки по Риму» Ницше подарил Вагнеру офорт Дюрера «Рыцарь, собака и Смерть», к которому он написал комментарий в своей готовящейся к печати книге «Происхождение трагедии». «Ум, чувствующий себя одиноким, — пишет он, — безнадежно одиноким, не найдет себе лучшего символа, чем «Рыцарь» Дюрера, который в сопровождении своей лошади и собаки следует по пути ужаса, не думая о своих страшных спутниках, не озаренный никакой надеждой. Шопенгауэр был именно Рыцарем Дюрера: у него в душе не было никакой надежды, но он стремился к истине. Другого подобного ему нет на свете». Ницше чувствовал бы себя счастливым в доме Вагнера, если бы не ожидал напряженного ответа на свое последнее письмо к Роде... Это ожидание сильно мучило его. Он пробыл в Трибшене 8 дней. Вагнер без конца говорил о Байройте и о своих широких планах. У Ницше была своя мысль, и он охотно бы высказал ее, но сначала он хотел узнать мнение своего друга, а письмо все не приходило. Он так и уехал, ничего не получив и никому не рассказав о своем проекте.

Наконец, уже в Базеле, он получил долгожданный ответ; пришло письмо, полное честных, дружественных чувств, но с отказом. «Ты говоришь, что теперь нужны монастыри, — писал Роде, — и я верю тебе. Но в жизни есть суровая необходимость, против которой бессильны все средства. Прежде всего, где мы достанем денег? Даже если мы и найдем их, то я не знаю, последую ли я за тобою. Я не чувствую в себе такой творческой силы, которая сделала бы меня достойным того уединения, к которому ты меня призываешь. Это не касается ни Шопенгауэра, ни Бетховена, ни тебя, мой дорогой друг! Но поскольку это дело касается меня, я должен надеяться на другую жизнь. Допустим, однако, что у нескольких друзей появится желание уеди-

ниться в обители муз. Что же станет с нами, когда пройдет этот порыв?»

Перед Ницше встает вопрос: если Роде отказывается следовать за ними, то кто же за ним тогда последует? Он не написал своего *adhortatio*; Ромундта так и не предупредили, и даже, кажется, Вагнер ничего не узнал о проекте Ницше.

* * *

Не тратя времени на напрасные жалобы, Ницше принимается один за выработку революционных истин и заботится только о том, чтобы появление их на свет совершилось для него наиболее безболезненно. Он отворачивает свои взгляды от Германии, от современных государств, культивирующих рабство, избегающих открытого столкновения и взявших на себя миссию покровительствовать человеческой личности. Снова обращается он к первобытной Греции, к общине VII и VI веков; таинственное очарование влечет его к ней! Было ли это обаяние совершенной красоты? С одной стороны, это было так; но здесь действовало также обаяние силы и жестокости: всему, что современный человек скрывает как порок, древние греки отдавались с радостью. Ницше любит силу: на поле битвы под Мецом он ясно почувствовал в себе инстинктивное стремление к ней.

«Если гений и искусство являются конечными целями эллинской культуры, — пишет он, — то все формы эллинского общества должны показаться необходимыми механизмами и необходимыми звеньями на пути к этой великой цели. Рассмотрим же, какие средства употребляет воля к художеству у эллинов...» Ницше разбирается в этих средствах и называет одно из них, а именно — рабство. «Фридрих Август Вольф, — замечает он, — уже показал, что рабство необходимо для развития культуры. Это одна из самых крупных мыслей мо-

его предшественника». Все последующие мыслители были слишком слабы, чтобы охватить такую идею. Ницше увлекается этой найденной мыслью, как бы выжимает из нее все соки и хочет исчерпать ее до дна. Внезапно открыв идею, он вдохновился ею; своею глубиной она увлекает его за собой; мысль жестокая, почти чудовищная, но она вполне удовлетворяет его романтическому темпераменту. Душа Ницше содрогается перед подобной жестокостью, но преклоняется перед ее мрачной красотой.

«Возможно, что такое познание ужаснет нас, — пишет он, — но чувство ужаса — это необходимое последствие каждого более или менее глубокого познания. Природа всегда таит в себе ужас, даже когда из ее рук выходят самые прекрасные творения. Закон природы состоит в том, что культура в своем триумфальном шествии одаряет только ничтожнейшее, привилегированное меньшинство, и для того, чтобы искусство достигло своего полного расцвета, необходимо, чтобы массы оставались рабами.

Наше поколение имеет обыкновение противопоставлять грекам два принципа, кстати сказать, оба измышленные для того, чтобы успокоить общество, рабское по своему духу, но не могущее без страха и тревоги слышать самое слово «раб». Мы говорим о «достоинстве человека» и «достоинстве труда».

Совсем иной язык у греков. Они простодушно заявляют, что труд унижителен, ибо невозможно, чтобы человек, занятый добытанием хлеба, стал когда-нибудь *артистом*. Признаем же следующую истину, как бы жестоко она ни звучала в наших ушах: рабство необходимо для развития культуры; это — истина, не оставляющая никакого сомнения в абсолютной ценности бытия. Это коршун, клюющий внутренности сына Прометея, творца культуры. Страдания людей, живущих в нищете, должны быть еще сильнее, чтобы самое ограниченное число жителей Олимпа могло создать мир искусства. Ценой труда низших классов, путем так называемого неоплаченного труда привилегированный класс должен быть освобожден от борьбы за существова-

ние, и, тем самым, получить возможность творить, удовлетворять все новым потребностям. И если можно сказать, что Греция пала оттого, что носила в себе рабство, то гораздо справедливее будет другое мнение: мы погибаем потому, что у нас нет рабов».

Каково происхождение рабства?

Как создалось подчинение раба, «слепого крота культуры»? «От греков мы узнаем, — говорит Ницше, — побежденный принадлежит победителю, с женою и детьми, с имуществом, плотью и кровью. Власть дает первое право, и нет такого права, которое по существу своему не было бы присвоением захватом, насилием». Таким образом, мысль Ницше возвращается к первоначальной точке своего отправления: сначала его вдохновляла война, и он снова возвращается к ней. Война создала рабство; в страдании и трагедии люди создали красоту; надо их глубже погрузить в страдание и в трагедию, чтобы удержать в людях чувство красоты. На нескольких страницах, по пафосу и по ритму похожих на гимн, Ницше прославляет и призывает войну:

«Перед нами постыдное по своему происхождению Государство; для большинства людей оно служит источником неистощимых бедствий и в своих постоянно повторяющихся кризисах оно пожирает людей, как пламя.

Но при звуках его голоса душа наша забывает себя; на его кровавый призыв откликаются тысячи поднявшихся до героизма людей. Да, для слепых масс предметом самого высшего поклонения является, может быть, государство, которое в часы своего подъема кладет на все лица отпечаток особенного величия!..

Какая-то таинственная связь существует между государством и искусством, между политической деятельностью и художественным творчеством, между полем битвы и произведениями искусства. Какую роль играет государство? Это — сталь, скрепляющая общество. Вне государства, при естественных условиях, — война всех против всех, общество ограничилось бы семьей и не могло бы широко

пустить свои корни. Повсеместным установлением государства инстинкт, определявший в былое время войну всех против всех, как бы сконцентрировался; в различные эпохи ужасные военные грозы собираются над человечеством и разрешаются одним ударом с молнией и громом, которые бывают чем реже, тем сильнее. Но подобный кризис постоянен; в промежутке между двумя кризисами общество дышит легче; обновленное войной, оно повсюду распускает почки, которые зеленеют в первые хорошие дни и приносят ослепительные, гениальные плоды.

Оставляя в стороне эллинский мир, я обращаюсь к нашему. Признаюсь, что я нахожу и распознаю в нем симптомы вырождения, которые внушают мне опасения и по отношению к обществу, и по отношению к искусству. Некоторые люди, лишённые государственного инстинкта, не хотят служить ему больше, а хотят только пользоваться им для достижения своих личных целей. Они не видят в государстве ничего божественного и, чтобы утилизировать его самым верным и рациональным способом, заботятся главным образом о том, чтобы избежать потрясений войны; они стараются направить события в такую сторону, чтобы война стала невозможной. С одной стороны, они придумывают системы европейского равновесия, с другой — стараются отнять у верховных суверенов право объявления войны и этим облегчить свое обращение к эгоизму толпы и ее представителей. Они чувствуют потребность ослабить монархический инстинкт народа, пропагандируя либеральные и оптимистические идеи, корень которых находится в рациональных французских доктринах и в Великой французской революции, т. е. в совершенно чуждой германскому духу философии, — в романской плоской мысли, лишённой всякого метафизического полета.

Триумфальное, в данный момент, национальное движение, распространение всеобщего избирательного права, параллельного, как мне кажется, этому движению, объясняется главным образом *боязнью войны* (курсив Ницше); и среди всеобщего смятения я особенно хорошо различаю тех, которые более всего встревожены возможностью войны: это — цари биржи и международных финансов, лишённые, вполне естественно, всякого государственного инстинкта;

они подчиняют своим денежным интересам и спекуляциям и политику, и государство, и общество.

Для того, чтобы дух спекуляции не поглотил самого государства, есть только одно средство — война и опять война. В момент всеобщего возбуждения войною человеческий ум ясно понимает, что государство создано не для того, чтобы оберегать эгоистичных людей от демона войны, а совсем наоборот: любовь к родине и преданность королю помогают войне вызывать в людях нравственный подъем, служащий знаменем гораздо более высокой судьбы. Поэтому никто не осудит меня за то, что я пою здесь пеан войне... Звук ее серебряного лука ужасен. Она придет к нам, темная, как ночь, хотя и в сопровождении Аполлона — законного руководителя государств, бога-очистителя. Итак, мы можем сказать: война необходима для государства так же, как раб для общества. Никто не может противоречить этому выводу, если он добросовестно исследовал причины того совершенства, которого достигло искусство Греции, и только оно одно».

«Война, только война способна возбуждать народы», — восклицает отшельник Ницше. Но пусть он на миг перестанет писать, а понаблюдает и послушает кругом, и сейчас же он увидит, насколько мелка империя, и откажется от своих надежд. Мы можем проследить за тем, как постепенно смущается его мысль. Ницше стоит в нерешительности и в одну и ту же минуту переживает прилив упорствующей иллюзии и неизбежное разочарование.

«Я мог бы представить себе, — пишет он, — что немцы предприняли эту войну для того, чтобы спасти луврскую Венеру — вторую Елену. Такова могла бы быть духовная интерпретация этой борьбы. Прекрасная античная суровая красота, освященная войной... Пришло время стать серьезными, но я также думаю, что настало время и для *искусства*» (курсив Ницше).

Далее мысль Ницше становится более ясной и более грустной.

«Когда государство не может достичь своей высшей цели, то оно растет безмерно... Мировая Римская империя не представляет, в сравнении с Афинами, ничего возвышенного. Сила, которая должна принадлежать исключительно цветам, принадлежит теперь неимоверно вырастающим стеблям и листьям».

Античный Рим был чужой для Ницше; он не любил его и считал позором древнего мира. Память о воинственно настроенной, победоносной, но плебейской общине стесняет его в предсказании будущего.

«Рим, — пишет он, — это типичное государство; воля неспособна достичь в нем никаких высоких целей. Организация его власти слишком сильна, мораль слишком тяжела... Кто же может поклоняться такому колоссу?»

Кто может поклоняться такому колоссу?

Применим этот вопрос к современным событиям. Допустим, что под колоссом мы подразумеваем не Рим, а Прусскую империю. Территория Афин или Спарты была крайне незначительна, существование их очень непродолжительно. Не все ли равно, если только цель, составляющая силу и красоту души, была достигнута? Фр. Ницше очарован этим видением Греции, с сотней борющихся между собою городов, раскинувших между морем и горами свои акрополи, храмы и статуи; вся страна была наполнена звуками пеанов, и население упорно стремилось к славе. «Как только проснется во мне чувство эллинизма, — пишет он, — тотчас же оно становится агрессивным и превращается в борьбу против существующей культуры».

* * *

Фр. Ницше страдает от ран, нанесенных жизнью его лирическим мечтаниям: друзья слушают его, но не следуют за ним. Профессор Франц Овербек, живущий с

ним в одном доме и ежедневно с ним видящийся, был утонченным собеседником, человеком ясного и твердого ума. Немец по происхождению, француз по воспитанию, он хорошо понимает задачи момента и вполне присоединяется к беспокойству и намерениям Ницше, но горячностью последнего он, конечно, не обладает. Якоб Буркхардт — человек большого интеллекта и сильного характера, но у него впереди нет надежды, а Ницше страстно верит в будущее. Правда, рядом с Ницше был Вагнер, но Вагнера никогда нельзя было удивить ни страстностью, ни надеждами на будущее. Кроме того, Вагнер напечатал буффонскую вещь, в духе Аристофана, о побежденных парижанах, написанную чрезвычайно грубо, которую Ницше прочитал с горьким осуждением. Овербек и Буркхардт были лишены всякого пыла; Вагнеру не хватало деликатности, и Ницше никому не мог доверить своих мыслей. В это время освобождается кафедра философии в Базельском университете, и Ницше тотчас же в восторге пишет Эрвину Роде и советует ему выставить свою кандидатуру; он не сомневается, что Роде получит кафедру и они, наконец, будут вместе. Это была прекрасная, но неосуществившаяся надежда. Роде выставил свою кандидатуру и не получил кафедры. Ницше упрекает себя в том, что понапрасну обнадежил его, и впадает в отчаяние, он чувствует себя, по его собственному выражению, «как маленький водоворот, увлеченный в мертвое море ночи и забвения».

Ницше в продолжение всей своей жизни не мог оправиться от впечатлений и последствий войны: к нему уже никогда не возвращались ни спокойный сон, ни уравновешенное и прочное здоровье. Его поддерживала только некоторая нервная сила, но в феврале и эта сила внезапно покинула его и прежнее глухое душевное расстройство овладело им в самой острой форме. На какой почве были все эти явления, мучившие его уже в течение 5 месяцев? Ницше страдал от сильной невралгии, бес-

сонницы, расстройства зрения, боли в глазах и желудке, разлития желчи. Врачи, плохо разобравшись в его болезнях, советовали ему предпринять какое-либо путешествие и настаивали хотя бы на некотором покое. Ницше выписал сестру из Наумбурга, поехал вместе с нею в Трибшен, сделать последний визит, а затем — в Лугано.

В это время еще не существовало железной дороги через Альпы: Сен-Готардский перевал преодолевали в дилижансе. Случай предоставил Ницше исключительного спутника, пожилого словоохотливого человека, с которым легко было сойтись, — это был Мадзини. Старый гуманист и молодой сторонник рабства превосходно сошлись между собою; и тот и другой обладали героическим характером. Мадзини процитировал ему одну фразу из Гёте: «Отбросить половинчатость, жить цельной, полной, красивой жизнью». У Фр. Ницше навсегда осталась в памяти эта энергичная максима, и он никогда не мог забыть ни передавшего ее человека, ни короткого и приятного переезда вблизи горных вершин, которые впоследствии он так полюбил.

В Лугано Ницше приехал почти выздоровевшим: ему для этого достаточно было красивого перевала, преодоленного им среди снеговых вершин и горной тишины. Его натура была еще по-прежнему юношески восприимчивой, а возвращение к жизни совершалось быстро и радостно; наивная веселость оживляла все его существо. Он прожил два крайне приятных для него месяца в Лугано. В отеле он познакомился с прусским офицером, родственником Мольтке, которому дал прочесть свои рукописи и с которым часто беседовал о судьбах новой Германской империи и об аристократической и воинственной миссии, которая ждет после недавней победы их родину. Этой весной среди съехавшихся на отдых в Лугано было много немцев, и все они с удовольствием собирались вокруг молодого философа и слушали его.

Это было в начале февраля; война уже кончилась, и люди находились в счастливом сознании одержанной победы. Пользуясь полной свободой, при отсутствии всяких забот, они впервые могли насладиться своим триумфом и проводили время в пении, танцах, — танцевали даже на рыночной площади; Ницше был готов радоваться вместе с ними, петь и танцевать. «Когда я вспоминаю об этом времени, — читаем мы в грустной заметке г-жи Фёрстер-Ницше, — то оно представляется мне в моих мечтах сплошным карнавалом».

Из Лугано Ницше пишет Эрвину Роде.

«Я часто испытывал тяжелое, подавленное настроение, но вдохновение неоднократно посещало меня, и я брался тогда за свою рукопись. С филологией я расстался очень вежливо. Мое решение отказаться от нее неизменно, мне теперь все равно: пусть меня хвалят или, наоборот, осуждают, пусть мне обещают самые высокие почести — я останусь при своем. С каждым днем я все больше ухожу в область философии и приобретаю веру в себя; больше того, если мне суждено сделаться когда-нибудь поэтом, то именно с этого времени я встал на этот путь. Я не знаю и не могу знать, по какому пути поведет меня моя судьба, и тем не менее, анализируя себя, я вижу, как мое внутреннее существо делается все гармоничнее, точно под влиянием посетившего его какого-то доброго гения. Намерения мои тщательно скрыты даже от меня самого, я чувствую полное равнодушие ко всем должностям, служебным почестям и переживаю сейчас удивительно ясное, прозрачное душевное состояние. Какое счастье видеть перед собой свой собственный мир, прекрасный и законченный по форме, как земной шар! Порою в моей душе расцветает какое-нибудь новое метафизическое откровение или новое понимание эстетики; одна мысль сменяет другую, и, например, увлеченный новым принципом воспитания, я прихожу к полному отрицанию наших гимназий и университетов. Каждый новый факт находит себе в моем сознании уже давно приготовленное ему место. Особенно сильно я сознаю, насколько вырос мой внутренний мир за последнее

время, в те минуты, когда я думаю, без холодной рассудочности и чрезмерного энтузиазма, об истории последних 10 месяцев, о событиях, повлекших за собою для меня целый ряд благородных жизненных решений. Чтобы передать мое умственное «бдение», — эпитеты «гордость», «безумие» будут слишком слабыми словами.

О, как мне хочется быть здоровым! Как только поставишь себе цель, превышающую пределы нашего земного существования, так тотчас же начинаешь радоваться каждой хорошо проведенной ночи, каждому согревшему тебя лучу солнца и даже, кажется, правильному пищеварению.»

10 апреля Ницше возвращается в Базель; он еще раз собирает и перечитывает свои заметки и вырабатывает окончательный план своей работы; он выбрасывает из нее уже цитированные нами вопросы о войне, рабстве, общине и ограничивает себя (как говорят, по желанию Вагнера) своей первоначальной темой — об античной трагедии как образце и предшественнице немецкой музыкальной драмы. Совет Вагнера, по словам г-жи Фёрстер-Ницше, не был вполне бескорыстным; ему хотелось, чтобы первый труд его ученика был посвящен прославлению самого его — Вагнера. Это вполне правдоподобно; справедливость требует, однако, заметить, что Ницше был увлечен и захвачен слишком большим количеством идей, что он менее всего думал о систематизации материала для своей книги; руководствуясь случайным интересом, он собирал целую серию этюдов об эстетике, истории и политике. Надо было сдерживать себя, а на это у Ницше не хватало решимости; тогда его поддержал Вагнер и был вполне прав. Может быть, именно Вагнеру мы и обязаны счастливым окончанием этой книги, единственной настоящей книги, которую Ницше довел до конца.

Что же мы находим в этой книге? Ницше анализирует происхождение и сущность эллинского лиризма; противопоставляет между собою две Греции: одну, опья-

ненную мифологией, дионисовыми песнями и полную иллюзий, т. е. Грецию Эсхила, — трагическую, завоевательницу, и другую, нечестивую, рассудочную, бескровную, Грецию александрийскую, Грецию Сократа, которая, умирая, развращает оставшиеся вокруг нее нетронутые народы, оскверняет чистую кровь первого человечества. Далее Ницше показывает нам, как точно так же сталкиваются между собою две Германии: Германия демократов и ученых с Германией солдат и поэтов; нужно сделать между ними свой выбор. Ницше делает этот шаг; обязанный спокойствием своей мысли и всеми своими радостями Вагнеру, он указывает на него своим соотечественникам. В то время, когда подписывался Франкфуртский мир, Ницше также «восстанавливает мир внутри себя» и кончает переписывание первых частей своей книги. Он обращает внимание на это совпадение, так как душевные конфликты и революция его мыслей кажутся ему не менее значительными, чем внешние столкновения и революции народов.

Но подписанием мира не закончились ужасы этого несчастного года; во Франции вспыхнула гражданская война, и эта новая катастрофа взволновала Европу не менее, чем события Фрёшвиля и Седана. 23 мая базельские газеты приносят известие о разрушении Парижа и о пожаре Лувра. Ницше с ужасом прочел это известие: погибли лучшие произведения искусства, цветы человеческого творчества, и руки несчастных людей осмелились совершить такое преступление. Подтвердились, таким образом, все опасения Ницше: ведь он писал, что без дисциплины, без иерархии невозможно существование культуры. Не все имеют право обладать красотой; громадное большинство должно быть обречено на унижение, работать на своих господ, уважать их жизнь. Такое распределение гарантирует обществу силу и, как прямое следствие этой силы, дает место красоте, изяществу и грации. Европа не решается вступить на этот

путь. Ницше мог бы теперь торжествовать, видя, как сбылись его предсказания; но он и не думал об этом. Он с ужасом размышлял, что, предвидя эти события, он тем самым брал на себя за них ответственность. Он внезапно вспомнил о Якобе Буркхардте, как велико должно было быть его горе! Ему захотелось увидеть его, говорить с ним, слушать его, разделить с ним его отчаяние. Он побежал к нему, но, несмотря на ранний час, уже не застал его дома. В отчаянии Ницше бродил по улицам, и, наконец, поздно возвратился домой. Буркхардт ждал его в рабочем кабинете. В одно и то же время оба они отправились друг к другу. Они долго пробыли в кабинете Ницше, и сестра, сидевшая в соседней комнате, слышала за дверью рыдания.

«Сознаемся самим себе, — пишет Ницше Герсдорфу, — что все мы, со всем нашим прошлым, ответственны за угрожающие нам в эти дни ужасы. Мы будем неправы, если со спокойным самодовольством будем взирать на результаты войны против культуры и обвинять во всем тех несчастных, которые начали ее. Когда я узнал о пожаре Парижа, то я в продолжение нескольких дней чувствовал себя уничтоженным и мучился в слезах и сомнениях; научная, философская и художественная жизнь показались мне абсурдом, если одного дня оказывается достаточно, чтобы разрушить самые прекрасные создания искусства, даже целые периоды искусства. Я глубоко оплакивал и скорбел о том, что метафизическая ценность искусства не могла явить себя этим бедным людям, но тем не менее у него есть еще и другой долг... Как бы ни было велико мое горе, я никогда не брошу камня в голову этих святотатцев, потому что, на мой взгляд, все мы несем вину за это преступление, над которым стоит много подумать».

В автобиографических заметках Ницше, написанных в 1878 году, мы читаем следующие слова: «Война: самым большим для меня горем был пожар Лувра».



Ницше снова вернулся к своим старым привычкам и стал почти каждую неделю бывать у Вагнера, но скоро заметил, что после прусской победы атмосфера в Трибшене изменилась. Дом учителя наполнился новыми людьми; приезжали его многочисленные друзья, и незнакомые люди появились в этих комнатах, которые Ницше так ревниво любил. В доме слышались бесконечные разговоры, велись оживленные споры; все эти люди были глубоко чужды Ницше; сам же Вагнер охотно говорил и возбужденно спорил с ними. Он считал, что настал благоприятный момент для того, чтобы убедить Германию в том, что необходимо построить нужный ему в Байройте театр, вернее храм.

Ницше слушал эти разговоры и принимал в них участие. Идеи Вагнера воспаляли его, но его склонная к одиночеству душа часто смущалась и возмущалась этим новым шумным обществом, с которым приходилось мириться. Вагнер не чувствовал этого; напротив, он, казалось, был упоен сознанием, что целая толпа людей окружает его; и, немного смущенный, как бы обманутый, Ницше тщетно искал в Вагнере своего прежнего героя. «Быть народным вождем, — писал он когда-то в своих студенческих тетрадах, — это значит заставить страсти служить идее». Вагнер приспособляется к такой задаче: во имя своего искусства и своей славы он примиряется со всеми человеческими страстями. Он становится шовинистом с шовинистами, идеалистом с идеалистами, галлофобом, если это нужно; для одних он воскрешает трагедию Эсхила, для других оживляет древнегерманские мифы; он охотно становится пессимистом, или, по желанию, христианином; но все же каждую минуту он не перестает быть искренним. Этот великий руководитель человеческих сердец и великий

поэт искусно подчинял своему влиянию общественное мнение своей родины.

Никто не мог устоять против его внушения; можно было только уступать ему и следовать за ним. До мельчайших подробностей у него был составлен план будущего театра, место постройки которого было выбрано незадолго перед тем. Он изучал практическую сторону дела и работал над вопросом об организации Ферейнов (обществ), в которых должны были группироваться его пропагандисты и подписчики. Он надеялся доставить своим верным поклонникам неожиданную, редкую радость. Однажды он сделал своим гостям сюрприз, исполнив в садах Трибшена только для них одних «Идиллию Зигфрида», прелестную интермедию, написанную в честь благополучного разрешения от бремени его жены — чудное эхо более интимного времени. Он продиктовал Ницше его роль в своем деле; так как Вагнер не хотел, чтобы трудносдерживаемый, но красноречивый голос Ницше пропадал даром для его предприятий. Ницше предложил свои услуги для того, чтобы поехать на север Германии в качестве миссионера к местному тяжелому на подъем населению. Предложение его не было принято. Вагнер, вероятно, боялся резкости его языка. «Нет, — сказал он, — кончайте и издавайте вашу книгу». Ницше с грустью покорился учителю, но с этого момента между ними стала расти стена отчуждения.

К тому же совет Вагнера был вовсе не так легко исполним. «Происхождение трагедии» не находило себе издателя, хотя Ницше добросовестно использовал все свои связи, и настроение целого лета было испорчено этим неуспехом; в конце концов, он решил напечатать некоторые главы своей работы в журнале. «Я выпускаю в свет мою маленькую книгу по кусочкам, — пишет он Роде в июле, — какое мучительное чувство разрубать на куски живое тело».

В начале октября Ницше находится в Лейпциге, где

встречается со своим старым учителем Ритчлем и со своими друзьями Роде и Герсдорфом, приехавшими туда для свидания с ним, и несколько дней проходят в сердечной товарищеской беседе. Судьба книги все еще пока остается неопределенной; все издатели научных и филологических книг отказываются напечатать ее. Их не увлекает это странное произведение, в котором эрудиция сливается с лиризмом, а проблемы древнейшей Греции с проблемами новейшей Германии. «Эта книга — кентавр», — говорит про нее Ницше; такое мифологическое определение мало удовлетворяет корысти книгопродавцев. Наконец, правда, не без сожаления, так как Ницше считает свою книгу чисто научным произведением, он обращается к издателю Рихарда Вагнера и после целого месяца напряженного ожидания получает от него благоприятный ответ. Ницше пишет Герсдорфу в облегченном и свободном тоне, который нам показывает, как много пришлось Ницше за последнее время пережить тоски и унижения.

Базель, 19 ноября, 1871 г.

«Прости меня, мой дорогой друг, если я немного запоздал с моею благодарностью, в каждом слове твоего последнего письма чувствовалось, что ты живешь целостною умственной жизнью, Мне кажется, что ты остался в душе солдатом и вносишь в искусство и филологию отпечаток своей военной натуры.

Это хорошо; мы в настоящее время не имеем никакого права жить, если мы не занимаем боевых позиций, не готовим пути грядущему «Веку», проблеск которого мы уже предугадываем в нашей собственной душе, — в лучшие моменты нашей жизни, когда лучшая часть нашей натуры невольно освобождается от духа *нашего* (курсив Ницше) времени. Тем не менее эти наши порывы и высокие переживания должны иметь где-нибудь корни в жизни; из этого я заключаю, что в такие минуты мы чувствуем на себе смутное дыхание будущих времен... Разве наша последняя встреча в Лейпциге не произвела на тебя именно такого

впечатления, что подобные моменты в жизни переселяют нас в другой мир, связывают нас с другим *saeculum*? Что бы там ни было, а помни, всегда, что надо: «Жить цельной, полной, красивой жизнью, ничего не боясь». Но для этого нужна твердая воля, которая дается не каждому смертному. Ведь сегодня, только сегодня, мне ответил, наконец, мой любезный издатель «Фритцш!..»

Фритцш предложил ему напечатать книгу в том же формате и тем же шрифтом, какими было напечатано последнее произведение Вагнера «Предназначение оперы».

Ницше пришел в восторг от этого предложения и написал пять заключительных глав, оттеняющих еще более вагнеровскую тенденцию книги.

Спешное редактирование и корректирование книги не помешали Ницше приняться и за другое дело. Он не сомневался, что труд его будет прочитан и понят публикой и будет иметь у нее успех. Ведь его учителя и товарищи всегда преклонялись перед силой его мысли.

Ему не приходит на ум, что широкая публика может остаться равнодушной. Ницше хочет с первого же раза глубоко затронуть читателей и уже строит новые планы о том, как извлечь из своего успеха все возможные выгоды. Он хочет говорить перед публикой, ведь слово более острое оружие, чем печать. Он вспомнил свои впечатления, когда он, будучи еще совсем молодым профессором, получил трудное дело преподавания самого тонкого языка, толкования самых трудных произведений перед случайными слушателями; он вспомнил свои, может быть, химерические проекты о семинарии филологов, монашеской обители ученых, о которой он постоянно мечтал.

Ницше собирается обрисовать перед аудиторией школы, гимназии, университеты как тяжелые аппараты педантизма, сдавливающие в своих тисках всю духовную жизнь Германии, и определить характер новых и насто-

ятельно необходимых учебных заведений, предназначенных не для служения эмансипации масс, а для культурного совершенствования избранных. В марте он писал Эрвину Роде: «Меня захватила новая идея, я выставляю новый принцип воспитания, целиком отвергающий наши современные гимназии и университеты». В декабре он объявляет в Базеле на январь 1872 года целый ряд лекций «О будущем наших культурных заведений».

В середине декабря Ницше вместе с Вагнером отправляется в Мангейм, где присутствует на двух фестивалях, посвященных произведениям Вагнера.

«Как жаль, что тебя не было с нами, — пишет он Эрвину Роде, — все мои прежние художественные переживания, все, что раньше давало мне искусство, ничто, в сравнении с тем, что я испытал теперь. У меня такое чувство, точно осуществился мой идеал! И это сделала музыка, одна музыка! Когда я говорю себе, что часть будущих поколений, или хотя бы несколько сотен избранных, будут так же, как и я, взволнованы этой музыкой, то я чувствую себя в праве пророчествовать полное обновление нашей культуры».

В Базель Ницше вернулся совершенно захваченный мангеймскими впечатлениями. Все мелочи его обыденной жизни внушали ему странное непреодолимое отвращение. «Все непередаваемое музыкой, — пишет он, — отталкивает меня и делается отвратительным... Я боюсь реальной действительности. По правде говоря, я не вижу больше ничего реального, а одну сплошную фантасмагорию». Воодушевленный этим настроением, Ницше лучше уясняет себе занимающую его проблему и яснее формулирует искомый им принцип. Что значит «преподавать», «воспитывать» людей? Это значит направлять их умы по такому пути, чтобы общий уровень развития возвысился, если не до понимания, то, во всяком случае, до

всеобщего уважения гениальных произведений.

Супруги Вагнер, как и в прошлые годы, пригласили Ницше провести Рождество в Трибшене. Ницше отказался, так как все время у него было занято подготовкой к лекциям. В знак своего глубокого уважения Ницше преподнес г-же Вагнер музыкальную фантазию на Рождественскую ночь, сочиненную им несколько недель тому назад. «С нетерпением ожидаю, что скажут об этой вещице в Трибшене, — пишет он Роде. — До сих пор я еще не слышал ни одного компетентного о себе мнения». Между тем понимающие музыку люди много раз неодобрительно отзывались об его музыкальных произведениях; но Ницше постоянно забывал об этом.

В последний день 1871 года появилась его книга «Трагедия, порождение духа музыки». Подзаголовок в современных изданиях «Эллинизм и пессимизм» появился в 1885 г. во втором издании. Первый экземпляр Ницше послал Рихарду Вагнеру и тотчас же получил от него лихорадочный, восторженный ответ:

«Дорогой друг! Я никогда еще не видал книги более прекрасной, чем ваша. В ней все великолепно! Сейчас я наскоро пишу вам, потому что глубоко взволнован чтением и ожидаю только того, чтобы вооружившись хладнокровием, прочитать ее методически. Я уже сказал Козиме, что после нее больше всего люблю вас и потом уже Ленбаха, написавшего с меня поразительный по сходству портрет.

Прощайте, приезжайте поскорее. Ваш Р. В.»

10 января Вагнер снова пишет ему;

«Вы издали ни с чем не сравнимую книгу; ее субъективный характер совершенно стирает всякое постороннее влияние; полная откровенность, с какою отразилась в вашей книге ваша глубокая индивидуальность, резко отличает ее от всех других. Вы не можете себе представить, какое

глубокое удовлетворение вы доставили мне и моей жене; наконец-то о нас заговорил посторонний голос, и заговорил в полном с нами согласии. Мы два раза прочли вашу книгу от первой до последней строчки, днем порознь, а вечером вместе и мы крайне сожалеем, что у нас нет второго обещанного вами экземпляра; из-за того единственного, который у нас есть, мы ссоримся все время. Мне непрестанно нужна ваша книга, она вдохновляет меня между завтраком и началом моей работы, так как после того, как я прочел вашу книгу, я приступил к последнему акту. Читаем ли мы ее порознь или вместе, мы все равно не можем удержаться от выражения нашего восторга. Я все еще не оправился от пережитого возбуждения. Вот в какое состояние вы нас привели!»

Козима Вагнер писала ему со своей стороны: «О, как прекрасна ваша книга! Как она прекрасна и как глубока, как она глубока и как она дерзновенна!»

16 января Ницше читает первую лекцию. Его радость и уверенность в себе беспредельны; он знает, что Якоб Буркхардт прочел и одобрил его книгу, он знает, что она привела в восторг Роде, Герсдорфа, Овербека... «Совершенно невероятные вещи пишут о моей книге, — сообщает он одному другу. — Я заключил дружеский союз с Вагнером; ты не можешь себе представить, как мы связаны друг с другом, до какой степени совпадают наши взгляды». Не медля ни минуты, Ницше принимается за новую работу: он хочет напечатать свои лекции. Это будет популярная книга, перевода для народа его «Трагедии». Но ему приходит на ум еще более решительное предприятие. Германия в это время готовилась к торжественному открытию Страсбургского университета: этот профессорский апофеоз на завоеванной солдатом земле глубоко возмущает его. Он хочет послать памфлет Бисмарку под видом интерpellации в рейхстаг. Он спросит его, какое право имеют педагоги праздновать свой триумф в Страсбурге? Наши солдаты победили французских солдат, в этом их слава. Но разве

французская культура унижена немецкой? Кто посмеет утверждать это?

Проходит несколько дней. Чем объясняется более грустный тон его писем? Почему он более не пишет о своей интерпелляции, или он о ней больше не думает? Мы знаем теперь, отчего переменялось настроение Ницше: кроме немногих понявших его книгу друзей, никто больше не читал, не покупал ее и ни один журнал, ни одно обозрение не удостоили ее критической заметки. Его лейпцигский профессор Ритчль также хранил молчание. Фр. Ницше пишет ему, что хочет узнать его мнение и получает в ответ суровую, полную осуждения критику. Роде предложил журналу «Центральный литературный листок» напечатать статью о книге Ницше, ему было отказано. «Это была последняя серьезная попытка защитить меня в каком-нибудь научном издании, и теперь я уже ничего не жду, кроме зlostных и глупых выхонок, — пишет он Герсдорфу. — Но я, как я уже с полным убеждением говорил тебе, все же рассчитываю, что моя книга мирно совершит свой путь через течение веков, так как многие вечные истины сказаны там мною впервые, и, рано или поздно, но они будут звучать все-му «человечеству».

Ницше был так мало подготовлен к своему неуспеху; он был неподдельно поражен им и пал духом. Болезнь горла заставила его прервать лекции, и он был даже рад этому физическому препятствию. В изложении своем он увлекся чрезвычайно высокими идеями, трудными для понимания даже ему самому. Он хотел показать, что необходимо учредить два рода школ: профессиональные для большинства и классические, по существу своему высшие, для ограниченного числа избранных, где эти избранные должны продолжать свои занятия до тридцати лет. Но как же отделить от остальных смертных этих избранных и как поставить метод их образования? Таким образом Ницше возвращается к

своей самой заветной и родной мечте об аристократическом идеале, всегда занимавшем все его мысли. Разрешением этих проблем он занимался очень часто. Но для того, чтобы развить такую тему перед широкой публикой, нужно было, с одной стороны, полное напряжение умственных сил, а с другой — вполне доверчивая аудитория. После неуспеха книги у Ницше не было никакой уверенности в себе. Нездоровье его скоро прошло, но он так и не возобновил своих лекций. Его понапрасну просили продолжать их, тщетно уговаривали напечатать. Ницше не соглашался. На этом особенно настаивал Вагнер; но Ницше не послушал и его. Заметки Ницше, относящиеся к этому печальному времени, носят недоконченный и беспорядочный характер. Они звучат как эхо, как отзвук потерянной мечты...

Аристократия духа должна завоевать полную свободу у государства, державшего в узде науку.

Позднее люди должны будут поставить скрижали новой культуры и разрушить тогда гимназии и университеты... ареопаг духовной справедливости.

«Будущая культура, ее идеи о социальных проблемах». Повелительный мир прекрасного и возвышенного ... единственное средство спасения против социализма...

И наконец три последних слова: коротких, вопрошающих, полных меланхолии, воплощающих в себе все его сомнения, порывы и, может быть, все его творчество *«Ist Veredlung möglich?»* Можно ли надеяться когда-нибудь облагородить человечество? Ницше мужественно отказывается от своих надежд и умолкает. Он потерял родину; он убедился в том, что Пруссия не будет непобедимой носительницей лирической расы; Германская империя не будет «повелительным миром прекрасного и возвышенного». 30 апреля открывается новый Страсбургский университет. «Я отсюда слышу звуки патриотического ликования», — пишет он Эрвину

Роде. В январе он отказался от предлагаемого ему места, ради которого ему пришлось бы покинуть Базель, а в апреле он уже собирается уезжать из Базеля и хочет провести в Италии два-три года. «Появилась, наконец, первая рецензия на мою книгу, и она мне очень нравится. И где именно? В итальянском журнале «La Rivista Eugorea»! Как это приятно и даже символично!»

Второй причиной грусти Ницше был переезд Вагнера из Трибшена в Байройт. Г-жа Вагнер известила его об этом письмом: «Да, Байройт!.. Прощай, милый Трибшен! Там зародилась мысль о «Происхождении трагедии» и сколько там пережито такого, что, может быть, больше уже не повторится».

Три года тому назад, тоже весной, Ницше отважился сделать первый визит в Трибшен; его снова влечет туда, но встречает его на этот раз уже полуопустевший дом. Покрытая чехлами мебель стоят кое-где, точно обломки былых времен. Все мелкие вещи, безделушки исчезли. С окон сняты шторы, и в них врывается резкий свет. Вагнер с женой укладывают последние оставшиеся вещи и бросают в корзины еще не уложенные книги. Ницше радостно приветствуют и требуют, чтобы и он принял участие в сборах. Он с жаром принимается за дело, собственноручно укладывает письма, драгоценные рукописи, книги и партитуры. Внезапно сердце его сжимается при мысли; значит, действительно, все кончено? Трибшен больше не существует. Прошли три года жизни и каких три года! Точно один день пролетели они и унесли с собою неожиданные радости, самые сладостные, волнующие желания. Но надо отречься от прошлого и без сожаления о нем следовать за учителем. Надо забыть о Трибшене и думать о Байройте; одна только мысль об этом городе магически действует на Ницше, околдовывает и волнует его. Часы, проведенные в Трибшене были так прекрасны; часы отдыха и размышлений, часы работы и молчания; часы обще-

ния, с гениальными людьми, мужем и женой, милая детвора; бесконечные радужные разговоры о красоте — все это неразрывно связано с Трибшеном. Что принесет с собою Байройт? Туда будут стекаться толпы народа. Но что принесет с собою толпа? Ницше не мог укладывать больше вещи. Большой рояль стоял посередине зала; он открыл его, взял несколько аккордов и стал импровизировать. Привлеченные его игрой, Рихард и Козима Вагнер бросили свою работу. Душераздирающая, незабываемая рапсодия огласила пустой зал — это было последнее прости.

В ноябре 1888 года, уже одержимый безумием, Ницше пытался написать историю своей жизни. «Когда я говорю об утешениях, которые были в моей жизни, я хочу одним словом выразить мою благодарность тому, что было, и теперь, уже очень издалека, вспомнить о моей самой глубокой радостной любви, о моей дружбе с Вагнером. Я отдаю справедливость моим последующим отношениям к людям, но я не могу вычеркнуть из моей памяти дней, проведенных в Трибшене, дней доверия друг к другу, дней радости, высоких минут вдохновения и *глубоких* взглядов... Я не знаю, чем был Вагнер для других людей, но на нашем небе не было ни одного облака»...

N

IV

**Фридрих Ницше
и Рихард Вагнер.
Байройт**





Странная судьба постигла Байройт. Этот маленький немецкий городок долгое время был совершенно неизвестен, пока в 18-м веке он вдруг не прославился на всю Европу, правда несколько забавным, но блестящим образом; одна интеллигентная дама, маркиграфиня, сестра Фридриха и друг Вольтера, вообще поклонница французского изящества, поселилась в этом городке, занялась его украшением, оживила его пустынную местность постройкою нового замка и щедро украсила его фасады фресками в стиле «рококо». Но маркиграфиня умерла и о существовании Байройта снова забыли. Прошло целое столетие, прежде чем его снова постигла странная искусственная судьба; снова на его долю выпала слава: маленький разукрашенный стараниями маркиграфини городок становится Иерусалимом нового искусства и нового культа. По воле гениального поэта сгладились все странности и противоречия Байройта.

История его должна считаться одним из произведений творчества Вагнера; ему хотелось построить театр в каком-нибудь тихом, уединенном городке. Но Вагнер не будет искать слушателей, они сами придут к нему. Всем другим городам он предпочитает Байройт. В этом месте могли столкнуться две Германии: одна, воплощающая в себе прошлое, жалкая, преклоняющаяся перед французскими модами, другая — вдохновленная самим Вагнером, свободная и обновляющаяся. Построй-

ка театра началась немедленно по его прибытии. Вагнер решил, что первый камень его театра будет заложен 22 мая 1872 года, в день его рождения.

«Значит, мы снова с тобою увидимся, — пишет Ницше Эрвину Роде, — и с каждым разом наши встречи становятся все грандиознее, все замечательнее перед лицом истории. Не правда ли?» Оба друга присутствовали на байройтской церемонии; один для этого приехал из Базеля, другой из Гамбурга. В маленький городок съехалось, в общем, около двух тысяч народа; погода была ужасная. Но проливной дождь, покрытое грозными тучами небо сделали церемонию только еще более величественной. Искусство Вагнера настолько значительно и серьезно, что не нуждается в улыбке небес. Все верноподданные Вагнера, стоя на страшном ветру, смотрели на обряд закладки первого камня. В отверстие выдолбленного камня Вагнер положил собственноручно написанные им стихи, а затем бросил первую лопатку гипса. Вечером он предложил своим друзьям прослушать симфонию с хорами, в которой он местами несколько усилил оркестровку: дирижерской палочкой управлял он сам. Представители молодой Германии, собравшись в театре покойной маркграфини, благоговейно слушали эту музыку, где 19-й век высказал свое «Credo», а когда прозвучали заключительные слова хора — «Обнимитесь, миллионы», то, по словам очевидца, казалось, что это прекрасное желание уже исполнилось.

«Друг мой, — писал Ницше, — если бы ты знал, какие дни пережили мы! Никто и никогда не сотрет из нашей памяти этих великих священных воспоминаний. Вдохновленные ими, мы пойдем по пути нашей жизни и употребим ее на то, чтобы бороться за них. Прежде всего мы должны принять все меры к тому, чтобы нашими поступками руководили серьезные чувства и сильная воля, и доказать

этим, что мы достойны тех исключительных событий, участниками которых мы себя считаем».

Ницше готов был бороться во имя Вагнера, так как он любил Вагнера и стремился бороться. «К оружию, к оружию! — пишет он Роде. — Мне нужна война, *ich brauche den Krieg*». Но он уже несколько раз испытывал себя и, к большому своему огорчению, начинал сам сознавать, что природа его плохо подчинялась неизбежным требованиям дипломатии и осторожности в борьбе с общественным мнением. На каждом шагу какое-нибудь слово или положение задевали за живое его радикальный идеализм.

Он снова ощутил присутствие, той инстинктивной неловкости, которую уже раз он почувствовал в Трибшене: Вагнер беспокоил его; он с трудом узнавал чистого, величественного героя, которого так любил; перед ним стоял совсем другой человек; энергичный, грубый, мстительный, завистливый работник. У Ницше было намерение поехать в Италию с одним родственником Мендельсона; чтобы не рассердить Вагнера, ненавидевшего не только семью, но даже имя Мендельсона, Ницше отказывается от своего плана. «Почему Вагнер так недоверчив? — пишет он в своем дневнике, — ведь это, в свою очередь, тоже возбуждает недоверчивость». Поскольку Вагнер был властолюбив, постольку же он был и недоверчив. С ним редко можно было теперь говорить в свободное время так прямодушно и открыто, как в Трибшене; он говорил отрывисто, точно приказывал. Ницше, по-прежнему, был готов поехать миссионером в Северную Германию, собирался там проповедовать идеи Вагнера, писать о них, основывать «Ферейне» (общества) и «ткнуть носом немецких ученых в такие вещи, о которых не имеют понятия их подслеповатые глаза». Вагнер отказывался от этого предложения; ему хотелось, чтобы Ницше издал свои лекции «О

будущем наших культурных заведений». Ницше противился этому желанию, усматривал в нем оттенок эгоизма со стороны Вагнера.

«Господин Ницше хочет всегда поступать по-своему», — воскликнул однажды рассерженный Вагнер. Ницше был очень огорчен этой вспышкой и вдвойне обижен за себя и за своего учителя. «Я же болен, у меня спешная работа, неужели это не дает мне права на некоторое уважение? — думал он. — Разве я состою у кого-нибудь на службе? Зачем у Вагнера такие тиранические тенденции?» Далее мы читаем в его заметках: «Вагнер не обладает способностью делать окружающих его людей свободными и великими; Вагнер недоверчив, подозрителен и высокомерен».

В это время вышел в свет памфлет под названием «Филология будущего» — «Ответ Фридриху Ницше». Автором этого памфлета был У. Виламовитц, товарищ Ницше по Пфорта. «Дорогой друг, — пишет он Герсдорфу, сообщившему ему об этом памфлете, — не заботься обо мне больше, я ко всему готов. Конечно, я никогда не начну полемики; жалко, что это именно Виламовитц. Знаешь ли ты, что прошлою осенью он был у меня с дружеским визитом. Зачем нужно было, чтобы Виламовитц был автором этого памфлета?» Вагнер, задетый самим заглавием *Филология будущего*, пародировавшим его знаменитую формулу — *музыка будущего*, написал на эту тему возражение и воспользовался случаем, чтобы напомнить Ницше об его книге.

«Что должны мы думать о наших культурных заведениях? — пишет он в заключение. — Это ваше дело сказать, чем должна быть немецкая культура, для того, чтобы направить возродившуюся нацию к выполнению своих самых благородных целей». И на этот раз Ницше остается непреклонным в своем решении. Его мало удовлетворяли его лекции, он был недоволен их внутренней

формой, не представлял себе ясно их идейных выводов. «Я не хочу ничего печатать, — пишет он, — так как у меня нет чистой, как у серафима, совести». Он старается каким-нибудь другим способом выразить свою веру в Вагнера.

«Я был бы бесконечно счастлив, — пишет он Роде, — если бы мог написать что-нибудь для нашего общего дела, но я не знаю, что писать. Все, что я начинаю писать, кажется мне таким обидным, вызывающим, способным, по природе своей, скорее испортить наше дело, чем помочь ему. Зачем случилось так, что моя бедная, наивная, полная энтузиазма книга встретили такой плохой прием? Удивительные люди! Но что же нам всем теперь делать? Знак восклицательный и знак вопросительный!»

Ницше принимается писать «*Reden eines Hoffenden*» («Речи надеющегося»), но скоро бросает эту работу.

* * *

Фридрих Ницше снова обратился к прекрасным и плодотворным греческим авторам. Перед очень небольшой аудиторией, так как дурная слава «Происхождения трагедии» отдалила его от молодых филологов, он комментирует «*Choéphores*» Эсхила и несколько текстов из доплатоновской философии, из глубины 25 столетий его осенил чудесный свет, рассеявший в его душе все тени и сомнения. Ницше с неудовольствием слушал, как его друзья, вагнерианцы, охотно употребляли такие громкие слова, как: «Обнимитесь, миллионы», которые под руководством Вагнера распевал хор в Байройте. Пелито они хорошо, но люди так и не падали друг другу в объятия, и Ницше невольно стало казаться, что за всем этим кроется тщеславие и какая-то ложь. Кичливые и дурные древние греки редко обнимали друг друга, в их гимнах ничего не говорилось об объятиях, их душу раз-

дирует завистливое желание первенствования, их гимны дышат страстью. Ницше любит их наивную энергию и их точный, чеканный язык. Как бы освеженный у античного источника, он пишет небольшой опыт о «Homer's Wettkampf» («Героический поединок у Гомера»). Мы видим, как с первых же строк он заметно отдалается от вагнеровского мистицизма.

«Когда говорят о *человечестве*, — пишет он, — то обыкновенно представляют себе ряд чувств, с помощью которых человек отличается и *отдалается* от природы (**курсив Ницше**). Но такого отделения на самом деле не существует; свойства, называемые «растительными», и свойства, носящие название «человеческих», в действительности развиваются одновременно и тесно сплетаются между собой. В самых благородных проявлениях своей души человек носит на себе зловещую печать природы.

Эти грозные, кажущиеся нам нечеловеческими тенденции, может быть, на самом деле служат той плодотворной почвой, на которой вырастает все человечество с его страстями, его поступками и творениями.

Поэтому греки, наиболее человеческий народ, остались навсегда жестокими и склонными к разрушению...»

Эта работа заняла у Ницше всего несколько дней, и вскоре он принялся за другую большую работу.

Он изучает тексты Фалеса, Гераклита, Эмпедокла и Пифагора. В своем изучении он старался приблизиться к этим философам — учителям жизни (поистине достойным этого ими самими выдуманного названия), пренебрегающим спорами и книгами, одновременно гражданам и мыслителям, не таким беспочвенным, как следующие за ними Сократ, с его иронией, и Платон, с его мечтательными последователями; перед ним стоял образ философов, к которым каждый мог прийти со своими взглядами, со своею точкой зрения и со своею оценкой человеческих поступков.

В продолжение самого короткого времени Ницше написал на эту тему целую тетрадь.

Ницше по-прежнему следил за успехами своего знаменитого друга. В июле в Мюнхене ставили «Тристана»; Ницше поехал и встретил Вагнера, окруженного поклонниками; среди них были Герсдорф и m-lle Мейзенбух, знакомая ему еще по майским торжествам в Байройте. Несмотря на свои пятьдесят лет m-lle Мейзенбух очаровывала всех своею мягкостью и грацией своей хрупкой, нервной фигуры. Ницше провел несколько приятных дней в обществе своего старого друга и его новой приятельницы. Все трое, расставаясь, искренне пожалели, что время прошло так быстро, и обещали друг другу встретиться опять в самом непродолжительном времени. Герсдорф и Ницше обещали приехать в августе, снова слушать «Тристана», но в последний момент что-то помешало Герсдорфу, а Ницше не решился ехать один. «Одному совершенно невозможно встретиться лицом к лицу с таким великим, высоким искусством. Я решился поэтому остаться в Базеле», — пишет Ницше m-lle Мейзенбух. Изучение Парменида утешило его, впрочем, после добровольного отказа от возможности слушать «Тристана».

M-lle Мейзенбух сообщала Ницше о всех больших и мелких новостях в предприятиях Вагнера. Учитель кончил «Гибель богов», последнюю часть своей тетралогии и, таким образом, наконец, завершил свое великое произведение. M-lle Мейзенбух узнала об этой новости из записки, написанной ей Козимой Вагнер. «Хвала Господу!» — писала супруга Вагнера. «Хвала Господу!» — повторяет m-lle Мейзенбух и прибавляет (ее короткая приписка прекрасно характеризует тон, царивший у Вагнера в то время): «Поклонники нового духа нуждаются в новых тайнах для того, чтобы торжественно освятить свое инстинктивное познание. Вагнер творит эту тайну

в своих трагических произведениях, и мир постигнет его красоту только тогда, когда мы воздвигнем новый достойный его Храм, предназначенный для нового дионисийского мифа».

М-ле Мейзенбух поверяет Ницше свою тайну и рассказывает ему о том, какие шаги она предприняла для того, чтобы привлечь Маргариту Савойскую, королеву Италии, к участию в вагнеровском деле. М-ле Мейзенбух хочет просить королеву принять президентство в узком кружке высокородных покровительниц искусства; несколько дам из лучшей аристократии, приятельницы Листа и, по его инициативе, приобщившиеся к вагнеровскому культу, составляли этот возвышенный «Ферейн» (кружок). На всех этих начинаниях лежал неприятный отпечаток снобизма и религиозности. Но м-ле Мейзенбух была превосходная женщина, с самыми безупречными намерениями, и кристальная чистота ее души как бы очищала все, к чему она прикасалась. Ницше не решался критиковать письмо такого друга.

Вскоре Ницше почувствовал утомление от чрезмерно напряженной работы; он потерял сон и должен был прервать свои занятия. Он вспомнил, что путешествия часто облегчали его, и поехал в конце лета в Италию. Он не спускался южнее Бергамо; эта страна, которую он впоследствии так полюбил, не понравилась ему.

«Здесь царит начало Аполлона, — говорила ему жившая во Флоренции м-ле Мейзенбух, — так хорошо с головой окунуться в него». Ницше не трогало ничто аполлоновское; он почувствовал только страстность, чрезмерную мягкость и согласованность линий. Его немецкий вкус не нашел себе удовлетворения, и он уезжает в горы, где чувствует себя «смелее и величественнее». Там, в гостинице бедной деревушки Сплюген, он провел несколько счастливых дней. «Здесь, на самой границе Швейцарии и Италии, — пишет он в августе 1872 года Герсдорфу, — я живу в уеди-

нении и чувствую себя вполне довольным выбранным местопребыванием. Представь себе прекрасные уединенные прогулки по лучшим из существующих в мире дорогам, где я часами бродил погруженный в свои мысли и не упал при этом ни разу ни в одну из горных пропастей. И каждый раз, стоит мне только оглянуться, я всегда нахожу что-нибудь новое и величественное. Людей здесь можно встретить только во время смены дилижансов, я закусываю вместе с ними, и в этом заключается все наше общение. Как платоновские тени перед входом в пещеру, проходят они мимо меня»*.

До этого времени Ницше не особенно любил высокие горы; он предпочитал им лесистые долины Юры, напоминавшие ему своим видом его родину, холмы Заалы и Богемии. В Сплугене он познает новую радость — радость одиночества и размышлений среди воздуха горных вершин. Это настроение мелькнуло как молния; спустившись в долину, он забыл о нем, но 6 лет спустя, чувствуя себя уже навсегда одиноким, Ницше, найдя себе убежище в бедных деревушках, пережил те же лирические чувства, что и в октябре 1872 года.

Скоро ему пришлось расстаться со своим уединением и не без удовольствия вернуться в Базель, к своим профессорским занятиям. В Базеле у него завязались дружеские отношения, выработался целый ряд привычек. Он полюбил самый город, сделавшийся его посто-

*Примечание переводчика. Хорошо известен поэтический образ Платона, где он сравнивает отражение в человеческом сознании мира явлений с миром идей и приводит пример узника, от рождения прикованного в пещере. Перед входом в пещеру горит огонь. По дороге мимо входа в пещеру ходят люди, пронося на плечах разные вещи. Узнику видны только отражения этих предметов, делаемые огнем на стене, только движущиеся тени, далеко не похожие на действительность. Если с узника снять оковы и заставить его выйти из пещеры, то он увидит предметы в настоящем виде, при солнечном свете, но не поверит, что это действительность, а не отраженные в пещере тени.

янным местожительством, и примирился с его жителями.

«Мои соседи за столам и по дому, мои единомышленники, Овербек и Ромундт, составляют для меня самое лучшее общество в мире. После беседы с ними замирают мои вопли, и я перестаю скрежетать зубами. Овербек самый серьезный и разносторонний учений, в то же время самый приятный в общении человек. Он обладает способностью радикально мыслить, условие, вне которого я не могу ни с кем сойтись...» — писал Ницше к Роде.

По возвращении в Базель Ницше пришлось пережить самые тяжелые впечатления. Все ученики покинули его; ему нетрудно было понять причину этого бегства: немецкие филологи объявили его «человеком, умершим для науки», Ницше попал в положение осужденного, и лекции его подверглись интердикту.

«Святая Fehme* хорошо исполнила свой долг, — пишет он Роде. — Будем поступать так, как если бы ничего не случилось. Но мне жаль, что наш маленький университет страдает из-за меня; за последний семестр мы потеряли 20 слушателей; я с трудом мог начать курс о риторике греков и римлян; у меня всего два слушателя; один из них германист, другой — юрист».

Наконец, Ницше получил хоть некоторое утешение. Роде написал в защиту его книги статью, но ни один журнал не хотел ее напечатать. Раздраженный этими постоянными отказами, Роде переделал статью и отпечатал ее в виде письма, адресованного Рихарду Вагнеру. Ницше горячо благодарил его.

«Никто не смел напечатать даже мое имя, — пишет он Роде, — как будто я совершил какое-нибудь преступление... а теперь появилась твоя смелая книга, так горячо свидетельствующая о нашей братской борьбе. Все мои друзья

*Примечание переводчика. «Fehme» — тайное судилище, учрежденное Карлом Великим.

вне себя от радости. Они не перестают хвалить тебя за отдельные места и за общее содержание; все находят твою полемику достойной по силе Лессинга. Мне же особенно нравится то, что в твоей статье слышится что-то глубокое и грозное, точно шум водопада. Будем же мужественны, мой дорогой друг! Я все еще верю в прогресс, в наш прогресс, я все еще верю, что силы наши будут все время возрастать и законные желания наши крепнуть; верю в наше стремление к благородным, вечно далеким целям. Да, мы достигнем их и, став победителями, поставим себе еще более далекий идеал и двинемся вперед с новым приливом мужества и решимости. Не все ли нам равно, если свидетелями нашего отправления в поход будут только очень немногочисленные зрители? Не все ли нам равно, если зрителями будут именно те, которые имеют право быть судьями в предпринятой нами борьбе? За одного только зрителя — Вагнера я жертвую всеми лаврами нашего века. Желание заслужить его одобрение воодушевляет меня больше и сильнее всего на свете, угодить ему *трудно*, и он без стеснения сознается в том, что ему нравится и не нравится, и он является для меня беспристрастной совестью, которая карает, но и воздает должное».

В начале декабря Ницше удалось провести несколько часов с Вагнером в такой интимной дружеской обстановке, которая живо напомнила ему прошлые дни в Трибшене. Вагнеру стоило, проезжая через Страсбург, только сделать Ницше знак, чтобы тот уже очутился около него. Встреча их не была омрачена ни одним облачком, что было, очевидно, довольно редкой в то время случайностью, если впоследствии Козима Вагнер, упоминая в одном из своих писем об этой встрече, выразила надежду, что несколько подобных часов могут рассеять и предупредить всякие недоразумения.

* * *

Ницше много работал в конце 1872 года. Его труд о философах трагической Греции быстро подвигался впе-

ред, но окончание его на некоторое время было отложено. Изучение древней мудрости прояснило его ум, и он воспользовался почерпнутой в ней силой для того, чтобы заново пересмотреть проблемы своего века. Собственно говоря, термин «проблемы» здесь не вполне уместен, так как Ницше признает только одну проблему. Он спрашивает себя, каким путем можно создать такую культуру, т. е. такую совокупность традиций, правил и верований, чтобы человек, подчиняясь ей, мог облагородить свой внутренний мир? Современное общество ставит своей целью достижение известного комфорта; как заменить его другим обществом, где бы стремились не угождать людям, а воспитывать их?

Сознаемся себе в нашем убожестве; мы на самом деле лишены всякой культуры; нашими поступками и мыслями не только не руководит авторитет какого-нибудь стиля, но, кажется, мы даже потеряли всякую мысль о подобном авторитете. Мы изумительно усовершенствовали дисциплину знаний и, кажется, забыли о существовании других дисциплин. Нам удалось описать явления жизни, обнять в отвлеченных понятиях весь мир, и мы едва замечаем, что, описывая и абстрагируя таким образом, мы теряем реальное представление мира и жизни. Наука оказывает на нас «варваризирующее действие», пишет Ницше и подробно останавливается на этой мысли.

«Существо всякого знания стало либо чем-то придаточным, либо совсем отсутствует, изучение языков ведется без изучения стиля и не касается совершенно риторики; изучают Индию, помимо ее философии; даже не подозревают, насколько классическая древность всей своей сущностью связана с практическими усилиями; в естественных науках никто не почерпает такого прозрачного благодатного действия, как Гёте; история постигается без всякого энтузиазма. Короче говоря, все отрасли науки не имеют настоящего

практического применения, т. е. изучаются совершенно иначе, чем это можно требовать от действительно культурных людей. Знанием добывают теперь кусок хлеба.»

Надо воскресить чувство красоты, добродетели, сильных, благородных страстей. Как за такое дело может приняться философ? Увы! Опыт древности учит нас горькому выводу. Философ — существо жалкое, только наполовину логичное, полухудожественное; поэт же — апостол, логически строящий свои мечты и заповеди. Апостолов и поэтов люди охотно слушают, философы же не трогают их своими анализами и дедукциями. Проследим целый ряд гениев и философов трагической Греции, удалось ли им осуществить что-нибудь? Для их народа жизни их пропали даром. Одному Эмпедоклу удавалось затронуть толпу; он был настолько же философ, насколько и маг; он сочинял мифы и поэмы, был красноречив и прекрасен, и заражали и действовали на толпу не мысли его, а легенды. Пифагор был основателем секты, на большее философ не может и рассчитывать. В результате ему удастся собрать маленькую кучку своих правоверных друзей, которые оставляют для человечества след не более того, как оставляет пробегающий ветер на волнах океана... «Ни один из великих философов не увлек за собой народ! — восклицает Ницше. — Они потерпели неудачу, но кто же, наконец, будет иметь успех? На одной философии нельзя основать народной культуры».

Какое же будущее ждало эти исключительные души? Неужели их, порою необъятная, сила гибнет даром? Неужели философ навсегда останется для человечества парадоксальным и бесполезным существом? Эти вопросы беспокоят Ницше, — ведь решается вопрос о ценности его собственной жизни. Он хорошо знал, что никогда не будет музыкантом; он не надеется больше сде-

латься поэтом, он мало способен к построению общих выводов, не может оживить драму, создать новую живую душу. Однажды вечером он с грустью признается в этом Овербеку и глубоко трогает своего друга этим признанием. «Ведь в конце концов, — говорит Ницше про себя, — я довольно невежественный философ, любитель философии, лирик, которому далеко до художника». И Ницше спрашивает затем самого себя: если для того, чтобы сражаться, у меня в руках нет другого оружия, кроме моих философских мыслей, то какую же я представляю из себя реальную ценность?

И тотчас же отвечает себе: я могу помогать. Сократ не создавал истин, которые по невежеству внедрялись бы в умы его слушателей, он претендовал только на звание акушера. В этом и должна заключаться задача философа; как творец — он бессилен, но как критик — может принести громадную пользу. Он должен проанализировать, как окружающие его силы действуют на науку, на религию и на искусство, он должен указывать направление, определять ценность вещей и ставить границы. В этом будет состоять и моя жизненная задача. Я изучу души моих современников и буду в праве сказать им: ни наука, ни религия не могут спасти вас, обратитесь к искусству, могучей силе будущего, и к единственному истинному артисту — Рихарду Вагнеру». «Философ будущего? — восклицает Ницше. — Он должен быть верховным судьей эстетической культуры, цензором всех заблуждений!» На рождественские каникулы Ницше поехал в Наумбург. Там он получил коротенькую записку от Вагнера, который просил его, возвращаясь в Базель, остановиться в Байройте. Но Ницше отказался от этого приглашения; у него была спешная работа, к тому же он не совсем хорошо чувствовал себя физически; и, должно быть, тайный инстинкт подсказывал ему, что уединение лучше подходит для размышлений над

теми проблемами, которые он должен решить непременно один. Кроме того, он знал, что Вагнер не обидится на его отказ, так как в течение нескольких недель он имел много случаев доказать Вагнеру свою привязанность. Ницше написал статью (единственную за все время своей писательской деятельности), служившую ответом одному психиатру, который старался доказать, что Вагнер просто сумасшедший. Чтобы пропагандировать свою статью, Ницше должен был прибегнуть к единственному возможному для него в то время косвенному и анонимному средству — к денежной субсидии. В самом Базеле он пытается основать вагнеровский «Ферейн» (кружок). После всего этого он был крайне изумлен, когда узнал, что Вагнер был обижен его отказом. Уже в прошлом году за подобный отказ Ницше получил от Вагнера легкий выговор. «Это Буркхардт удерживает вас в Базеле», — пишет Ницше Козима Вагнер. Ницше написал большое письмо и объяснил, в чем дело, но тяжелый осадок все-таки остался на душе.

«Все кончилось миром, — пишет Ницше одному из своих друзей, — но я не могу забыть о случившемся. Вагнер знает, что я болен, погружен в работу, что мне нужна некоторая свобода... Впредь я буду осторожнее, чем раньше, независимо от того, хочу я этого или нет. Одному только Богу известно, сколько раз я уже обижал его. И каждый раз я снова поражался этим, и никогда мне не удастся отдать себе ясный отчет в том, насколько серьезна наша ссора...»

Душевное уныние все же не отразилось на мыслях Ницше. Мы можем проследить его мысли, все оттенки его настроения благодаря заметкам Ницше, напечатанным в десятом томе полного собрания его сочинений. Никогда еще мысль его не работала так деятельно и плодотворно. «Я — авантюрист духа, — пишет он позднее, — я блуждаю за своею мыслью и иду за маня-

щей меня идеей». Особенно смелым полетом, смелым как никогда больше, отличалась его мысль в начале 1876 года.

Он закончил прекрасный и сдержанный этюд под названием: «Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne» («О правде и лжи во неморальном отношении»). Ницше всегда любил громкие звучные слова; он не смущается в данном случае словом «ложь» и впервые приступает к «переоценке ценностей»). Он противопоставляет истине — ложь, и предпочитает вторую. Он превозносит воображаемый мир, присоединяемый поэтами к миру реальному. «Не бойся ошибаться и мечтать», — говорил Шиллер, и Ницше повторяет этот совет. Счастливые, смелые греки опьяняли себя божественными историями, героическими мифами, и это опьянение вело их к великим целям. Честный афинянин, убежденный, что Паллада находится в его городе, живет в постоянных мечтаниях. Если бы он был проникательнее, был ли бы он от этого сильнее, страстнее и мужественнее? Истина хороша только по мере приносимой ею пользы, и иллюзия предпочтительна, если она полезнее. Зачем обожествлять истинное? Это тенденция модернистов. «Да сгинет жизнь, да будет истина», — говорят они охотно. К чему ведет этот фатализм? Здоровое человечество говорит обратное: «Да сгинет истина, да будет жизнь».

Ницше пишет эти абсолютные формулы, но нельзя сказать, что он на них остановился. Он пишет, не переставая, и таким путем подвигается вперед в своих поисках. Не надо забывать, что все эти, такие непреклонные на первый взгляд, мысли были только первыми шагами на пути к новым, еще только рождающимся и, может быть, совершенно противоположным идеям. Ницше носил в своей душе два постоянно сталкивающихся инстинкта — ученого и художника: одного — привязан-

ного к истине, другого — жаждущего творческого созидания. Нерешительность овладевает им в те моменты, когда одним из них надо пожертвовать. Инстинкт истины постоянно протестует, не хочет расставаться со своими формулами, возвращается к ним, пытается делать новые выводы и определения, и сам указывает себе на все трудности и пробелы. Умственный процесс его для нас ясен; постараемся привести в порядок интересующие нас места:

Философ трагического познания — он связывает беспорядочный инстинкт знания, но не путем новой метафизики; он не устанавливает новых верований. С трагическим волнением он замечает, что метафизическое основание обрушивается вокруг него, и знает: бессвязный лепет науки никогда не сможет удовлетворить его. Он строит новую жизнь и возвращает искусству его права.

Философ отчаявшегося познания отдает себя во власть слепой науки; его девиз: знание во что бы то ни стало. Пусть метафизика является только антропоморфическим призраком, для трагического философа этим заканчивается картина бытия. Он нескептик (*курсив Ницше*). Здесь надо создать идею, так как скептицизм не может быть целью. Простираясь до самых крайних своих пределов, инстинкт познания оборачивается против самого себя для того, чтобы превратиться в критику познавательной способности. Оказывается, что познание служит высшей форме жизни. Необходимо даже желать иллюзий, так как в этом-то и заключается трагизм.

Кто же этот философ отчаявшегося познания, которому Ницше посвящает всего две строчки и в них определяет его сущность? Разве для того, чтобы дать ему такое прекрасное имя, не надо было уже раньше любить его? «Здесь надо создать идею», — пишет Ницше. Какую именно? В разных отрывках Ницше мы можем найти, как он упивается созерцанием ужасной, обнаженной действительности, один вид ко-

торой, по словам индусской легенды, уже приносит смерть.

«Как смеют, — пишет Ницше — говорить о судьбе земли? Во времени и в бесконечном пространстве нет никаких целей: то, что есть, останется навеки, как бы ни сменялись внешние формы. Все, что относится к миру метафизическому, — то невидимо. Отказавшись от метафизики, человек должен отчаянно защищаться: как ужасна задача художника в этой борьбе! Вот ужасные последствия дарвинизма, с которыми я, между прочим, согласен. Мы уважаем известные качества, считая их вечными, — моральными, художественными, религиозными и т.д. Принимать разум, произведение нашего мозга, за нечто сверхъестественное! Какое безумие обожествлять его! Для меня звучат ложью слова о существовании бессознательной для человечества цели; оно не представляет собою такого целого, как муравейник. Может быть, и можно говорить о неосознанных целях муравейника, но тогда надо говорить уже о всех муравейниках на земле. Долг человека состоит не в том, чтобы укрыться под покровом метафизики, а в том, чтобы активно пожертвовать собою для н а р о ж д а ю щ е й - с я к у л ь т у р ы. Логическим следствием этого взгляда является мое суровое отношение к туманному идеализму».

Это был момент, когда Ницше почти достигает максимальной высоты своего философского мышления, но покупает ее ценою своего психического и физического переутомления: у него возобновились мигрени, боли в глазах и желудке. Его глаза не выносят самого слабого света, и он должен прекратить чтение. Но мысль его работает не переставая: он снова возвращается к философам трагической Греции; он прислушивается к их голосам, доносящимся к нам из глубины веков, не потерявшим силу, несмотря на власть времени. Ему слышится стройный хор вечных ответов на вопросы бытия.

Ф а л е с . Все происходит от одного начала.

А н а к с и м а н д р . Исчезновение отдельных вещей в

мировой материи совершается по требованию карающей правды.

Гераклит. Вечное движение совершается в определенных, всегда повторяющихся формах.

Парменид. Всякое возникновение, бытие и исчезновение — только обманчивая видимость. Существует только единое.

Анаксагор. Ничто не рождается и не гибнет; ничто не происходит и не уничтожается; всякое качественно неразложимое свойство неизменно и вечно.

Пифагорейцы. Числом измеряется всякая сила, всякая величина.

Эмпедокл. Все силы — магического* свойства.

Значение магического заклатья, по-видимому, признается в равной степени и там и здесь».

Демокрит. Все происходящее объясняется механикой атомов.

Сократ. Нет ничего достоверного, кроме мысли.

Эти разноречивые голоса, этот размах мысли, испытующей природу, волнуют Ницше. «Порочность идей и философских систем представляются мне более трагическим явлением, чем пороки реальной жизни», — говорил Гельдерлин. Эти слова можно отнести и к Ницше. Он с восхищением и завистью относится к примитивным античным философам, впервые раскрывшим природу и давшим первые ответы на вопросы бытия. Он отгоняет от себя очаровывающее его искусство и стоит перед лицом жизни, как Эдип стоял перед сфинксом, и именно под этим заглавием — «Эдип» — пишет отрывок, проникнутый мистическим настроением.

*Примечание переводчика. См.: С. Трубецкой: «История древней философии. С. 124. Философия Эмпедокла: «Верховный закон, управляющий судьбами душ, и верховный закон физический, управляющий судьбою мира, — роковое слово, роковая могущественная клятва».

Э д и п . «Я называюсь последним философом, потому что я последний человек. Я говорю наедине с самим собою, и мой голос звучит, как голос умирающего. Позволь мне, милый голос, звук которого приносит мне последние воспоминания о человеческом счастье, позволь мне поговорить с тобою еще одно мгновение; ты скрасишь мое одиночество, ты дашь мне иллюзию близких людей и любви, так как мое сердце не верит, что любовь умерла; оно не выносит ужаса одиночества и заставляет меня говорить, как если бы нас на самом деле было двое. Тебя ли я слышу, мой голос? Ты ропщешь и проклинаешь? А между тем твое проклятие должно заставить содрогнуться все внутренности мира! Увы, несмотря ни на что, мир непоколебим; он стоит во всем своем великолепии и он холоден, как никогда: безжалостные звезды глядят на меня, мир так же глух и слеп к моим мольбам, как и прежде, и ничто не умирает в нем, кроме человека. Ты еще говоришь со мною, мой милый голос? Я, последний человек, умираю не совсем одиноким в этом мире; последняя жалоба, твоя жалоба умирает вместе со мной. О, горе, горе мне!.. Пожалейте меня? Последнего несчастного человека, Эдипа!»

Получается такое впечатление, что, достигнув крайнего умственного напряжения, Ницше внезапно почувствовал необходимость в отдыхе. Его потянуло к друзьям, к интимной беседе, развлечениям. Наступили пасхальные каникулы 1873 года; у него оказалось 15 свободных дней, и он поехал в Байройт, где его в это время не ждали.

«Сегодня вечером я уезжаю, — пишет он m-lle Мейзенбух, — угадайте, куда я еду! Вы уже отгадали? Я так бесконечно счастлив, я увижу там лучшего моего друга — Роде. Завтра в половине пятого я буду уже в Даммали (так назывался дом, где временно жил Вагнер до постройки его собственного дома — Ванфрид), и я буду совершенно счастлив. Мы много будем говорить о вас, о Герсдорфе. Вы говорите, что он переписал мои лекции? Как это трогательно! Я никогда этого не забуду! Мне даже, право, совестно,

что у меня так много добрых друзей. Я надеюсь набраться в Байройте бодрости и веселья, и утвердиться во всем хорошем. Я видел сегодня во сне, что заново и тщательнейшим образом переплела моя ступень к Парнасу. Эта смесь понятия переплета с символизмом и понятна, но очень безвкусна. Но ведь это правда! Нужно время от времени отдавать себя в новый переплет, посещая более сильных и цельных, чем мы, людей, иначе мы можем потерять сначала одну страницу, потом другую и так до полного разорения. А что наша жизнь должна быть ступенью к Парнасу — это тоже правда, и ее никогда не надо забывать. Цель моя в будущем, которой я достигну, если только буду много работать над собой и если судьба пошлет мне немного счастья и много свободного времени, — цель эта заключается в том, чтобы быть более сдержанным писателем и с большею умеренностью во взглядах отнестись к своему литературному ремеслу. Время от времени меня охватывает чисто детское отвлечение к печатной бумаге, мне в такие минуты кажется, что она грязная, и я ясно могу себе представить такое время, когда буду мало читать и еще меньше писать, без конца думать и непрестанно действовать. Так как все сейчас находится в ожидании этого человека действия, который, поборов в себе и в нас тысячеголовую гидру рутины, заживет новой жизнью и даст нам пример, достойный подражания».

Ницше исполнил свое намерение и поехал в Байройт.

* * *

В Байройте Ницше встретило неожиданное известие: обнаружился недостаток в деньгах; из 1 200 000 франков, которые были необходимы для постройки театра, удалось достать с большим трудом 800 000 франков. Предприятие было этим в корне скомпрометировано, быть может, даже потеряно. Все пали духом, и только Вагнер не терял спокойной уверенности. С тех пор, как он достиг зрелого возраста, он твердо решил иметь свой театр. Он знал, что упорная воля преодолевает все слу-

чайности, и несколько критических месяцев не пугали его после 40-летнего ожидания. Ему предлагали деньги банкиры Берлина, Мюнхена, Вены, Лондона и Чикаго, но Вагнер отвечал неизменным отказом на все эти предложения, так как театр должен был принадлежать только ему одному и находиться там же, где и он. «Дело вовсе не в том, чтобы предприятие кончилось успешно, а в том, чтобы разбудить скрытые силы немецкой души». Только эта ясность духа еще и поддерживала окружающих; паника охватила Байройт, и, казалось, потухла всякая надежда. Ницше осмотрелся, выслушал всех, все обдумал и уехал в Нюрнберг. «Отчаяние мое не знало границ, все в жизни казалось мне преступлением...» — говорил он. Он столкнулся с реальной жизнью после того, как 10 месяцев прожил в полном уединении, и люди показались ему еще более низкими и жалкими, чем когда он о них думал. Он еще больше страдал от того, что был недоволен самим собою. Его недавние мысли приходили ему на память: «Я называюсь последним философом, потому что я последний человек...» И он спрашивал самого себя: действительно ли он «последний философ», «последний человек», не польстил ли он себе, наделив себя такой красивой и жестокой ролью? Не был ли он таким же низким, неблагодарным и подлым, как другие, когда в решительный момент покинул борьбу, прельстившись уединением, эгоистичными мечтами? Не забыл ли он своего учителя? Угрызения совести и самообвинение только увеличили его отчаяние. «Я не должен был думать о себе, — осыпает он себя упреками, — один Вагнер только имеет право быть героем, он велик в своем несчастье, так же, как когда-то в Трибшене. Надо отдать себя на служение ему безраздельно. Отныне я должен обречь себя помогать ему». Ницше намеревался опубликовать несколько глав из своей книги: «О философах трагической Греции». Теперь он отказывает себе в этой радости и, не без боли в

сердце, бросает свою почти оконченную рукопись в ящик. Ему неудержимо хотелось активно проявить себя, неистово кричать, «извергать лаву», поносить без всякого стеснения Германию за то, что она в своей грубой глупости уступает только напору такой же грубой силы. «Я вернулся из Байройта в том же состоянии упорной меланхолии, — пишет он Роде, — и спасение для меня только в святом чувстве гнева». Ницше не ожидал для себя никакой радости в предпринятом им деле. Нужно сознаться, что нападать — это значит снизить, опуститься по ступеням вниз, а он предпочел бы не соприкасаться с низкими людьми. Но можно ли терпеть, когда сдавили в тисках такого человека, как Рихард Вагнер, если людская глупость преследует его? Разве можно вынести, чтобы немцы так же убили в нем радость, как они это сделали с Гёте, разбили ему сердце, как Шиллеру? Завтра, может быть, народятся новые гении, но с сегодняшнего дня мы обязаны во имя их будущего начать борьбу с жизнью и обеспечить им свободу и простор творчества. Мы не можем ни на одну минуту забыть о том, что нас осаждает толпа грубых людей. Это — горькая неизбежная участь лучших и более одаренных людей, и в особенности лучших немецких героев, которых произвела на свет и не ценит нация, чуждая пониманию красоты. Ницше запомнил слова Гёте о Лессинге: «Пожалейте этого необыкновенного человека, пожалейте его за то, что он жил в такое жалкое время, что всю жизнь ему же непрестанно пришлось вести полемику». Он применил эти слова к самому себе, но полемика показалась ему таким долгом, каким в свое время была она и для Лессинга. Ницше стал искать себе противника. Официальная философия имела в то время своим представителем и тяжеловесным понтификом Давида Штрауса. Оставив область критических изысканий, где талант его не подлежал никакому сомнению, Штраус на старости лет занялся отвлеченным мышле-

нием и развивал свое «Credo», неумело имитируя Вольтера или Абу*.

«Я просто ставлю себе цель, — пишет он в «Старой и новой вере», — показать, как мы живем и как в продолжение долгих лет мы управляемся со своей жизнью. Наряду с нашей профессией — так как все мы принадлежим к той или иной профессии, — мы далеко не все являемся учеными и артистами, а очень часто только солдатами, чиновниками, ремесленниками и собственниками; как я уже говорил, и повторяю теперь, нас далеко не мало, нас в общем несколько тысяч и вовсе не худых людей в стране; наряду с нашей профессией, сказал я, мы стараемся, по мере наших сил, проникнуться самыми высокими интересами человечества; наше сердце воспламенено его новыми судьбами, настолько же неожиданными, насколько и прекрасными, самим роком уготованными нашей исстрадавшейся родине. Чтобы лучше понять сущность этих вещей, мы изучаем историю, — отрасль знания, в которой существует так много популярных и увлекательных сочинений, облегчающих доступ к науке всякому начинающему. Затем мы пытаемся расширить наше знание естественных наук путем общедоступных руководств. Наконец, в произведениях наших великих поэтов, в музыкальных сочинениях наших знаменитых композиторов мы находим великолепные образцы для нашего ума, для нашего чувства, воображения и сердца. Лучшее этого проникновения красотой ничего не может быть! Так мы живем и идем по пути к счастью».

Да, филистеры счастливы! Еще бы нет, думает Ницше, настала эра их власти; конечно, это вовсе не новый тип людей, потому что уже в Аттике были свои представители «banausia» (по-гречески это значит: ремеслен-

*Примечание переводчика. Абу (Эдмонд Франсуа-Валентин): 1828—1885 гг.; французский писатель. Посвятил себя сначала изучению археологии; в 1851 г. выпущена его «La Grèce contemporaine». Играл видную роль при Наполеоне III в качестве популяризатора его идей; с большим сарказмом отзывался о немцах и о немецкой политике.

ный; в переносном смысле — низкий, неблагородный). Но прежние филистеры жили в унижении, их присутствие только терпели, с ними не говорили, и сами они молчали. Затем наступили лучшие времена: к голосу филистера стали прислушиваться, он показался забавным, его смешные стороны начали нравиться. Всего этого было достаточно для того, чтобы филистер стал фатом и начал гордиться своею «честностью» (*prudhommerie*). Теперь он торжествует, ничто более не сдерживает его, он делается фанатиком и даже основывает свою религию — ту новую веру, пророком которой является Штраус. Ницше с безусловным одобрением отнесся к классификации периодов, предложенной в этом году Гюставом Флобером: *язычество, христианство, «мещанство»*. Теперь филистер диктует свои вкусы; во время войны он читает свою газету, интересуется телеграммами и упивается патриотическою радостью. Великие люди выстрадали для нас свои гениальные творения: — филистер знаком с этими произведениями, ценит их, и благополучие его от этого только возрастает; но ценит он их с большим разбором: пасторальная симфония ему чрезвычайно нравится, а чрезмерный шум 9-й симфонии с хором он категорически осуждает. Давид Штраус очень выразительно сказал по этому поводу: «Не надо отягощать светлого ума».

Ницше большего и не ищет: он нашел человека, которого должен уничтожить. В самом начале мая он собрал весь материал, и книга была готова. Но тут внезапно его здоровье пошатнулось: начались головные боли, глаза перестали выносить яркий свет и не позволяли работать; в несколько дней он превратился в беспомощного человека, почти слепого. Овербек и Ромундт с большой охотой и трогательною заботливостью помогают ему. Но и у того и у другого была на руках своя работа, и время их было крайне ограничено собственными профессиональными обязанностями. На помощь

приходит третий преданный друг, барон Герсдорф; он был совершенно свободным человеком и в данный момент путешествовал по Италии. Он был товарищем Ницше по колледжу в Пфорта; с тех пор друзья виделись редко, но это обстоятельство нисколько не повлияло на их дружбу. По первому зову Герсдорф приехал в Базель.

Герсдорф происходил из хорошего рода; старшие братья его умерли; один — в 1866 г., на войне с Австрией, другой — в 1871 г., во время франко-прусской кампании. Младшему Герсдорфу пришлось пожертвовать своими вкусами, отказаться от философии и изучать агрономию для того, чтобы управлять родовым имением в Северной Германии. Единственный из всех друзей Ницше, Герсдорф не сделался рабом книг и бумаг. «Это был прекрасный тип, благородный и выдержанный джентльмен, хотя и очень простой в обращении, но в глубине души самый лучший человек, какого только можно себе представить; с первого взгляда он производил впечатление человека, на которого можно вполне положиться», — писал о Герсдорфе Овербек. Пауль Ре, товарищ Ромундта, тоже посещал и развлекал больного Ницше, который в таком дружеском кругу легче переносит свои страдания; лежа целыми днями в темноте, он диктовал; верный Герсдорф писал, и, таким образом, в конце июня рукопись была готова и отослана издателю.

Когда работа была окончена, Ницше сразу почувствовал себя лучше; он страстно стосковался по свежему воздуху, и ему захотелось уединения. Приехавшая из Наумбурга сестра увезла его в Граубюнденские горы, там головные боли смягчились и зрение его немного укрепилось. Ницше отдыхал в течение нескольких недель, поправляя черновые наброски, и наслаждался радостью выздоровления; но старый гнев и старое вдохновение жили в его душе по-прежнему.

Прогуливаясь однажды с сестрою в окрестностях Flimms'a, он обратил внимание на небольшой стоявший в отдалении замок: «Какое прекрасное уединенное место для нашего языческого монастыря». Замок продавался. «Осмотрим его», — сказала молодая девушка. Они вошли. Все показалось им очаровательным: сад, терраса с прекрасным открывающимся с нее видом, громадная зала с камином, украшенным скульптурой, небольшое количество комнат. Но куда же их больше? Эта комната — для Рихарда Вагнера, эта — для Козимы, эта, третья, предназначается для приезжих друзей: для m-lle Мейзенбух, например, или для Якова Буркхардта. Герсдорф, Дейссен, Роде, Овербек и Ромундт должны постоянно жить здесь. «Здесь, — мечтал Ницше, — мы устроим крытую галерею (clôître), нечто вроде монастырской, таким образом, во всякое время мы можем гулять и разговаривать. Потому что мы будем много говорить... читать же будем мало, а писать еще меньше...» Ницше видел уже осуществление своей заветной мечты — братский союз учеников и учителей. Сестра его также очень воодушевилась: «Вам нужна будет женщина, чтобы следить за порядком, эту роль я беру на себя». Она справилась о цене и написала хозяину замка, но дело это не устроилось. «Я показалась садовнику слишком молодой, — рассказывала она впоследствии, — и он не поверил, что мы говорили серьезно». Как отнестись ко всему этому? Была ли это только болтовня молоденькой девушки, увлекшая на минуту и самого Ницше, или, наоборот, это было совершенно серьезное намерение? Возможно, что и так. Ум Ницше легко поддавался химерам и плохо различал в жизни приемлемое от невозможного. Возвратившись в Базель, Ницше узнал, что его памфлет вызвал шумные толки. «Я читаю и перечитываю вас, — писал ему Вагнер, — и клянусь вам всеми богами, вы единственный человек, действительно знающий мои желания...» — «Ваш памфлет

сверкнул, как молния, — писал Ганс фон Бюлов. — Un Voltaire moderne doit écrire: éscr... l'inf... Интернациональная эстетика, для нас гораздо более ненавистный противник, чем все красные и черные бандиты». Нашлись и другие судьи, люди большею частью уже пожилые, которые тоже одобрили молодого полемиста: Эвальд фон Гёттинген, Бруно Бауэр, Карл Гильдебрандт; это последний немецкий гуманист, как сказал про него Ницше (*dieses letzten humanen Deutschen*), высказался в его пользу. «Эта маленькая книжка, может быть, означает поворот немецкого ума в сторону серьезной мысли и интеллектуальной страсти», — писал о Ницше этот почтенный критик. Но дружеских голосов было все же немного. «Немецкая империя вырывает с корнем немецкий дух», — писал Ницше. Он задел этим гордость народа-победителя; взамен он получил много оскорблений и упрек в подлости и измене. Но он только радуется этому. «По совету Стендаля, я выхожу в свет, начав с вызова на дуэль». Каким бы поклонником Стендаля ни считал себя Ницше (по крайней мере он льстил себя этой надеждой), чувство жалости не покидало его. Давид Штраус умер через несколько недель после появления в свет памфлета, и Ницше приходит в отчаяние при мысли, что это он своим памфлетом убил старика. Напрасно сестра и друзья его старались разубедить его в этом; Ницше не переставал упрекать себя и мучиться укорами совести. Конечно, это может послужить только к чести Ницше.

Первый натиск воодушевил его, и он мечтал о новом, более грандиозном, выступлении. С поразительной быстротой он обдумал и приготовил целую серию брошюр под общим заглавием «Несвоевременные размышления»... Давид Штраус был его первой темой. Вторая брошюра должна была носить название «О пользе и вреде истории для жизни». Предполагалось

еще 20 брошюр. Он мечтал, что разделяющие его мысли товарищи будут работать вместе с ним.

Франц Овербек в это время выпустил в свет небольшую книжку под заглавием «Христианство нашей современной теологии». Он нападал на немецких докторов, слишком модернизированных мыслителей, в сочинениях которых христианство теряло всю свою силу, и непреклонное суровое учение первых христиан предавалось забвению. Ницше велел переплести вместе «Христианство» Овербека и своего «Давида Штрауса, как исповедника и писателя» и на обложке написал шестистишие:

«Два близнеца
Весело выходят в свет из одного и того же дома
Для того, чтобы растерзать мировых драконов.
Творение двух отцов! О, чудо!
Мать двух близнецов — зовется дружбой!»

Ницше рассчитывал написать целую серию подобных томов, одушевленных одной идеей и редактируемых несколькими друзьями — единомышленниками. «С сотней поднявшихся против современных идей и решительных до героизма людей, вся наша шумливая и запоздалая культура будет обращена в вечное молчание. Сотня людей в свое время вынесла на своих плечах цивилизацию Ренессанса». Ницше вдвойне обманулся: друзья не оказали ему никакой помощи, и сам он не написал двадцати брошюр. До нас дошли только их заглавия и несколько черновых набросков: «о государстве», «об общине», «о социальном кризисе», «о военной культуре», «о религии». Что хотел нам сказать Ницше? Не будем особенно огорчаться, мы вероятно, услышали бы мало определенного и ясного из области его желаний и жалоб.

Ницше занимался одновременно и другой работой, о чем в таинственных выражениях извещает Герсдор-

фа. «Тебе достаточно знать, что ужасная непредвиденная опасность грозит Байройту, и мне поручено подвести контрмину». На самом деле, Рихард Вагнер попросил написать высокий призыв к немцам, и Ницше приступил к его сочинению со всей торжественностью, глубиной и серьезностью, на какие он только был способен. У Эрвина Роде он просил помощи и совета: «Могли бы я рассчитывать, что ты в самом скором времени пришьешь мне лист, написанный в наполеоновском стиле?» Роде, как человек предусмотрительный, отказался: «Надо будет быть вежливым, тогда как эта каналья не стоит ничего, кроме брани?» Но Ницше не стеснялся вежливостью. В конце октября президенты «Кружка Вагнера», собравшиеся в Байройте, вызвали туда Ницше, который и прочел им свой манифест.

Призыв* к немецкому народу

«Мы хотим, чтобы нас все слышали, ибо слова наши звучат как предупреждение, а тот, кто предупреждает, кто бы он ни был и что бы он ни говорил, всегда имеет право на то, чтобы быть выслушанным... Мы возвысили наш голос, потому что вам угрожает опасность и потому, что, видя вас немymi, безразличными и бесчувственными, мы боимся за вас. Мы говорим с вами от чистого сердца, и только потому защищаем и преследуем свои интересы, что они вполне совпадают с вашими — спасение и честь немецкого духа и немецкого имени...»

Продолжение манифеста следовало в угрожающем и несколько напыщенном духе, и чтение его было выслушано в стесненном молчании. Когда Ницше кончил, то в его пользу не раздалось ни одного одобрительного слова, его не встретил ни один дружелюбный взгляд. Наконец, несколько голосов заговорило одновременно: «Это слишком серьезно... недостаточно политично... надо многое, многое переделать!..» Некоторые даже

* По-немецки «Mahnruf».

выразились так: «Это какая-то монашеская проповедь!» Ницше не захотел спорить и взял проект своего «Призыва» обратно. Один только Вагнер энергично ободрял его. «Подождем немного, — говорил он ему, — совсем немного, и все вернутся к вашему «Призыву», и все согласятся с ним».

Ницше недолго пробыл в Байройте. Кризис, начавшийся еще на Пасхе, принял совсем печальный оборот. После нескольких месяцев насмешек над вагнеровским предприятием широкая публика начала просто забывать о нем. Пропагандисты наталкивались на полнейший индифферентизм, и с каждым днем становилось все труднее собирать деньги. Пришлось отказаться от всякой мысли о коммерческом займе или лотерее. К спеху написанный призыв, заменивший тот, который написал Ницше, распространялся по всей Германии; напечатано было 10 000 экземпляров, а разошлось только крайне незначительное количество. Обратились с письмом к директорам ста немецких театров, прося их пожертвовать сбор одного вечера в пользу байройтского предприятия. Трое ответили отказом, а остальные совсем не ответили.

* * *

Ницше, вернувшись в Базель, кончает с помощью Герсдорфа второе «Несвоевременное размышление» — «О пользе и вреде истории для жизни». Он пишет теперь очень мало писем и почти ничего не отмечает в дневнике, не строит никаких новых планов и не делает научных изысканий. Надежда его юности — присутствовать при триумфе Рихарда Вагнера и быть его деятельным участником — рухнула; его помощь была отвергнута, его стиль нашли слишком серьезным и торжественным, и он в недоумении спрашивал себя: неужели вагнеровское искусство не есть воплощение высочайшей

серьезности и торжественности? Ницше оскорблен в своем самолюбии, унижен, разбит в своих лучших мечтах. Конец 1873 года он прожил, не выходя из своей базельской комнаты. На Новый год Ницше поехал в Наумбург, и там, в тесном семейном кругу, он чувствовал, что силы его восстанавливаются. Он всегда любил этот праздничный отдых, когда так хорошо можно сосредоточиться в самом себе; в ранней юности он не пропускал ни одного сочельника без того, чтобы не написать какого-нибудь воспоминания или своих возгласов на будущее. 31 декабря 1873 года он пишет Эрвину Роде, и тон его письма напоминает нам его прежние настроения:

«Письма еретического эстета» Карла Гильдебрандта доставили мне безумное удовольствие и страшно меня ободрили. Прочти и восхитись: ведь это один из наших, один из тех людей, что надеются. Пусть в этом Новом году процветает наше общество и мы по-прежнему будем добрыми товарищами. Ах, милый друг, нам нет выбора, надо быть либо в стане надеющихся, либо среди отчаявшихся. Раз навсегда я остался сторонником надежды. Останемся же верными, помогающими друг другу друзьями и в наступающем 1874 году, и до конца наших дней!

Твой Фридрих Н.»

Наумбург, канун 1874 года.

С первых же дней января 1874 года Ницше принимается за работу. После неприятного недоразумения в Байройте (конечно, все дальнейшее объясняется оскорбленным самолюбием отвергнутого автора) душу Ницше мучают беспокойство и сомнения, и он хочет сам для себя выяснить свое душевное состояние. В двух строчках, служащих как бы вступлением к его последующим мыслям, он хочет приобщить вагнеровское искусство к истории: «Все великое опасно, особенно, если оно ново». Получается впечатление, что изолиро-

ванное явление оправдывает себя в самом себе. Высказав такое положение, Ницше подходит к определениям: «Что за человек Вагнер? Что означает его искусство?»

Душевная катастрофа Ницше разразилась с феерической силой. Эсхил, современный Пиндар, все эти образы померкли, пышные метафизические и религиозные декорации были сметены с лица земли, и искусство Вагнера явилось таким, каким оно было в действительности: великолепным, но больным цветком пятнадцативековой человеческой культуры.

«Спросим себя, по существу, — пишет Ницше в заметках, не дошедших до его друзей, — в чем заключается ценность того времени, которое считает искусство Вагнера своим искусством. Время это глубоко и коренным образом анархично, оно задыхается в погоне за своим благополучием, нечестиво, завистливо, бесформенно, беспочвенно, легко поддается отчаянию, лишено наивности, рассудочно до мозга костей, чуждо благородства, склонно к насилию и подлости. Искусство наскоро, кое-как соединяет в себе все, что еще привлекает его взоры в наших современных немецких душах: человеческие характеры, всевозможные знания, все это оно собирает в одну кучу. Поистине чудовищно пытаться утвердиться и завоевать чьи-нибудь симпатии в такое антихудожественное время. Это все равно, что давать яд против яда!»

Ницше в отчаянии убеждается, что обманулся, приняв скомороха за полубога и комедианта за великана. Он любил со всею наивностью и пылкостью молодости, и был жестоко обманут; в его гневе сквозила зависть, но его ненависть граничила с любовью. Все, чем он так гордился, — свое сердце, свои мысли, — все отдал он этому человеку, и тот насмеялся над этими священными дарами.

Помимо личного горя у Ницше были и другие, более глубокие и унижительные огорчения. Он чувствовал себя униженным, потому что изменил истине, он

хотел жить только для нее, а теперь он заметил, что в продолжение четырех лет он жил только для Вагнера. Он смел повторять слова Вольтера: «Надо изречь истину и пожертвовать собою ради нее», а теперь он сознал, что пренебрегал истиною, что он, может быть, даже избегал ее для того, чтобы утешиться красотами искусства. «Если ты хочешь отдыха — веруй, если ты жаждешь истины — ищи», — писал он несколько лет тому назад своей юной сестре, а сам не исполнил этого совета. Он дал соблазнить себя ложным образом и лживой гармонией, он поверил красивым словам, несколько лет он питался одною ложью.

На его совести лежит еще большая вина: он не боролся против своего падения. «Мир отвратителен, — писал он в «Происхождении трагедии», — он жесток, как дисгармонирующий аккорд, душа человека такая же дисгармония, как и весь мир, сама в себе несущая страдание; душа могла бы оторваться от жизни, если бы не привязала себя иллюзией, мифом, убаюкивающими ее и создающими ей убежище красоты. И в самом деле, как далеко можно зайти, если не положить конец отступничеству, и если мы сами будем себе выдумывать утешения. Мы снисходим к своим слабостям, и нет низости, которой мы не нашли бы оправдания. Мы поддаемся иллюзиям, но каким, благородным или низким? И сознаем ли мы, что мы обмануты, если мы сами ищем обмана?» О прошлом Ницше мучительно и стыдно вспоминать, а при мысли о будущем у него опускаются руки.

Книга «О пользе и вреде истории» появилась в печати в феврале; это был памфлет, направленный против научной истории, изобретения и гордости нашего времени; это была критика недавно приобретенной людьми склонности заниматься воскрешением чувств давно прошедших времен, рискуя при этом пожертвовать целостью и прямою собственными инстинктами. Краткая выдержка дает нам понятие о направлении этой книги.

«Человек будущего будет эксцентричен, энергичен, пылок, неутомим, художник в душе, враг книжной мудрости, из своего идеального государства будущего я хотел бы изгнать, — как Платон изгнал поэтов, — так называемых «культурных людей»; в этом бывыразился мой терроризм.»

Ницше нападал таким образом на 10 000 «господ профессоров», для которых история — это кусок хлеба, и которые руководят общественным мнением. Возмездием и ответом с их стороны была молчаливая ненависть. Никто не проронил ни одного слова о книге Ницше. Друзья Ницше старались распространять его книгу среди читающей публики. Овербек обратился к своему коллеге по научным занятиям, Трейчке, прусскому историографу и политическому писателю: «Я уверен, что ты найдешь в мыслях Ницше самую глубокую, самую серьезную и беззаветную преданность германскому величию», — писал он. Трейчке отказался одобрить книгу, но Овербек снова пишет ему: «Я хочу и буду говорить тебе о Ницше, о моем больном друге...» Трейчке ответил ему в довольно сердитом тоне, и переписка приняла неприятный характер. «Ваш Базель, — пишет он, — это какой-то «будуар», откуда позволяют себе оскорблять немецкую культуру». — «Если бы ты видел нас всех троим, — Ницше, Ромундта и меня, — отвечает Овербек, — то ты сам убедился бы в том, какие мы хорошие приятели; наше расхождение с тобой во взглядах представляется мне печальным символом... Так часто случается — и в этом отрицательная черта нашей немецкой истории, — что политические деятели и культурные люди не понимают друг друга». — «Какое громадное несчастье для тебя, что ты встретил этого Ницше, — пишет ему снова Трейчке, — этого помешанного, навязывающего нам свои «несвоевременные размышления», в то время как он сам пропитан до мозга костей самым ужасным из всех пороков — манией величия». Овербек, Роде и Герсдорф о грустью должны были констатиро-

вать полный неуспех восхитившей их книги. «Новая книга — это новый удар грома над нашей культурой, но действие его не больше, чем от разрывающегося в погребке фейерверка. Но настанет день, когда признают эту силу и ясность, с которой Ницше указал на самую большую язву нашего времени, и общественное мнение преклонится перед ним. В нем столько силы!...» — пишет Роде. А вот отзыв Овербека: «Чувство одиночества, переживаемое нашим дорогим другом, мучительно возрастает с каждым днем. Непрерывно подрубать ту ветку, на которой сам сидишь, это, рано или поздно, приведет к печальным результатам». — «Лучшее, что мог бы сделать наш друг, — говорит Герсдорф, — это последовать примеру пифагорейцев: ничего не писать и не читать в продолжение пяти лет. Когда я стану совершенно свободным, что, я думаю, может случиться через 2—3 года, я вернусь к своему имению, и тогда у него будет верный приют». Участие друзей в судьбе Ницше и беспокойство их за него, конечно, очень трогательны, но они не подозревали ни подлинной силы его отчаяния, ни его истинной причины. Они сочувствуют его одиночеству, но не понимают, насколько оно глубоко, и не знают, что он одинок даже около них. Разве может его огорчать неуспех его книги, когда со времени ее окончания в мыслях его произошла целая революция? «Я с трудом могу поверить, что я написал эту книгу», — пишет он Роде; Ницше понял свою ошибку, осознал свою вину, и в этом-то и заключается разгадка той тоски, того отчаяния, в которых он никому не смеет признаться.

«Сейчас, — заявляет он Герсдорфу, — в моей голове бродит много дерзких и смелых замыслов. Я сам не знаю, в какой мере я могу сообщить о них моим самым близким друзьям, но, во всяком случае, писать о них я совершенно не могу». Но однажды вечером он увлекся и высказался. Он был наедине с Овербеком; разговор

коснулся «Лознгрин», и Ницше, в припадке внезапно-го гнева, разразился критикой этого фальшивого роман-тического произведения. Овербек, пораженный, слушал его; Ницше замолк и с тех пор надел на себя маску прч-творства, хотя сам мучился стыдом и чувством отвра-щения к самому себе.

«Милый мой, верный друг, — пишет он Герсдорфу в апреле 1874 года, — если бы ты только мог менее уважать меня! Я почти уверен, что ты расстался бы тогда со всеми иллюзиями, которые хранятся у тебя в душе на мой счет, и я желал бы первый открыть тебе глаза и объяснить, что я совершенно не стою твоих похвал. Если бы только знал, как я падал духом, какая тоска давит меня. Я не знаю, буду ли я когда-нибудь способен снова писать. Отныне я буду искать только немного свободы, настоящей жизнен-ной атмосферы, я вооружаюсь и поднимаю бунт против тех бесчисленных рабских цепей, которые сдавили меня... До-стигну ли я когда-нибудь этого? Сомнение охватывает меня все сильнее. Цель слишком далека, и если я и достигну ее когда-нибудь, то истрачу в долгих усилиях и непрестанной борьбе лучшую часть самого себя. Я буду тогда свободен, но завяну, как живущий один только день цветок умирает с заходом солнца. Я трепещу перед этой картиной. Какое не-счастье так хорошо сознавать, с чем придется бороться!»

Письмо помечено первым апреля, а четвертого ап-реля он пишет m-lle Мейзенбух письмо, полное грусти, но уже менее отчаянное.

«Милая m-lle Мейзенбух. Какое большое удовольствие вы мне доставили и как вы меня тронули. В первый раз в жизни мне прислали цветы, но я знаю теперь, что бесчис-ленные живые, хотя и немые краски цветов все же так хо-рошо умеют с нами говорить. Эти первые весенние цветы цветут у меня в комнате, и я уже более недели наслажда-юсь ими. В нашей полной печали серой жизни так необхо-димы цветы; они шепчут нам о тайнах природы, они напо-минают нам, что всегда можно, всегда должно найти в ка-

ком-нибудь уголке мира радость жизни, немного надежды, света, живых красок. Как часто теряешь веру в эту возможность! А какое громадное счастье, когда борцы взаимно ободряют друг друга и, посылая в качестве символов цветы или книги, напоминают о том, что их единая вера еще жива. Здоровье мое (простите, что я упоминаю об этом) начиная с января месяца в удовлетворительном состоянии; приходится только постоянно думать о своем зрении. Но вы сами хорошо знаете, что иногда даже радуешься физическим страданиям, потому что благодаря им забываешь о другой, внутренней боли. Хочется убедить себя в том, что для больной души так же существуют лекарства, как и для тела. Вот моя философия болезни; не правда ли, она дает надежду всякой душе. А разве сохранить в себе надежду не значит быть художником? Пожелайте мне силы для того, чтобы написать 11 оставшихся мне «Несвоевременных размышлений»; когда кончу их, то почувствую, что высказал все, что нас давит и угнетает, и, может быть, после такой, общей исповеди мы почувствуем хоть некоторое облегчение. Примите, дорогая m-lle Мейзенбух, мои самые лучшие сердечные дружеские пожелания.»

Наконец, Ницше снова принимается за работу. Инстинктивно возвращается он к тому философу, который помог ему в первые годы его творчества: третье «Несвоевременное размышление» он хочет посвятить Шопенгауэру; десять лет тому назад он прозябал в Лейпциге, и Шопенгауэр спас его; своеобразная радость жизни, его лиризм, эта ирония, с которой он высказывает самые жестокие мысли, — все это возвратило тогда Ницше силу жить. «Если Шопенгауэр только смущает тебя и тяжелым камнем ложится на твою душу, — писал Ницше в то время одному из своих друзей, — если чтение его не дает тебе силы подняться и достигнуть, — несмотря на самые жгучие страдания нашей внешней жизни, — такого мучительно-радостного состояния духа, какое охватывает нас, когда мы слушаем прекрасную музыку, если, благодаря ему, ты не испытываешь такого

умственного экстаза, когда тебе покажется, что с тебя спадают все земные оболочки, — тогда, значит, я ничего не понимаю в этой философии». Эти юношеские настроения вновь посетили его; он снова переживает все наиболее плодотворные кризисы своей жизни, которые были в то же время и самыми болезненными, и, отдаваясь во власть философской дисциплине своего прежнего учителя, Ницше снова обретает силу духа. «Мне остается еще пропеть 11 песенок», — пишет он Роде, извещая его о своих ближайших работах. И Шопенгауэр оказался действительно и песенкой, и гимном в честь одиночества и смелого вызова свету этого философа. Душа Ницше звучала как чистая музыка. Отдыхая от умственных занятий, он воспевал гимн дружбе. «Я пою его для вас всех», — писал он Роде.

Сестра приехала навестить его. Они оба уехали из Базеля, поселились в деревушке неподалеку от Рейнского водопада. К Ницше вернулась веселость его прежних детских лет, — может быть, отчасти он хотел позабавить немного молодую девушку, с такою нежностью относящуюся к нему, — «aliis lactus, sibi sapiens», — согласно правилу, которое мы читаем в его заметках того времени; — но, помимо того, и сам он был действительно счастлив, несмотря на все переживаемые страдания, счастлив, чувствуя себя самим собою, счастлив тем, что жил свободно, чистой жизнью. «Моя сестра сейчас со мною, — пишет он Герсдорфу, — каждый день мы строим самые великолепные планы нашей будущей жизни, где будут царить идиллия, труд и простота... Все идет прекрасно. Слабость, упадок духа, меланхолия — все это осталось далеко в прошлом».

Ницше много гуляет о сестрой, много болтает с ней, смеется, мечтает и читает. Что же он читает? Конечно — Шопенгауэра; затем Монтеня, в маленьком изящ-

ном издании, навевающим на него печальные воспоминания прошлого: m-me Козима Вагнер подарила ему эту книгу еще в Трибшене; это была благодарность за привезенные девочкам куклы. «Жизнь на земле стала более богатой от того, что писал такой человек. С тех пор как я соприкоснулся с его мощным и свободным интеллектом, я люблю повторять его собственные слова о Плутархе: «Едва только я взгляну на него, как у меня вырастает новая нога или крыло». Заодно с ним был бы я, если бы дело шло о том, чтобы поуютнее устроиться на земле». Около этих двух людей иронии — Шопенгауэра и Монтеня, из которых один открыто заявляет о своем отчаянии, а другой скрывает его, — Ницше учится жить. Но в то же время он с величайшим наслаждением читает другого, более нежного, более родственного его собственным мыслям автора — доверчивого Эмерсона, молодого пророка молодой страны, в каждой фразе которого сквозит радостное, чистое одушевление, освещающее восемнадцатую весну человека и — увы! — проходящее вместе с нею. Ницше читал Эмерсона в Пфорта; в 1874 году он перечитывает его и советует читать его всем своим друзьям.

«Мир еще молод, — пишет Эмерсон в конце своих «Представительных людей». — Великие люди прошлого страстно призывают нас к себе, мы сами должны также писать Библии, чтобы снова соединить небеса и землю. Тайна Гения заключается в том, что он не терпит вокруг себя никакой фикции; он реализует все, что мы знаем, неустанно требует доброй веры, соответствия с действительностью и идеалом во всех утонченных проявлениях современной жизни, в искусствах, в науках, в книгах, в самих людях; прежде же всего, и это самое главное, он учит почитать истину, проводя ее в своей жизни...»

Ницше нуждается в подобных ободряющих словах и потому полюбил Эмерсона.



В начале июня Ницше закончил «Шопенгауэр, как воспитатель». Умственно он чувствовал себя совершенно здоровым, но на смену пришли другие страдания. М-те Фёрстер — Ницше рассказывает, что однажды, когда ее брат высказал свое отвращение к романам с их однообразной любовной интригой, — кто-то спросил его, какое же другое чувство могло бы захватить его? «Дружба, — живо ответил Ницше. — Она разрешает тот же кризис, что и любовь, но только в гораздо более чистой атмосфере. Сначала взаимное влечение, основанное на общих убеждениях; за ним следуют взаимное восхищение и прославление; потом с одной стороны возникает недоверие, а с другой сомнение в превосходстве своего друга и его идей; можно быть уверенным, что разрыв неизбежен и что он доставит собою немало страданий. Все человеческие страдания присущи дружбе, в ней есть даже и такие, которым нет названия». Все это было знакомо Ницше начиная с июня 1871 года. Он любил и никогда не переставал любить Вагнера; его интеллектуальное заблуждение было поправимо. Вагнер не был ни философом, ни духовным воспитателем Европы, он не был даже сверхъестественным художником, источником чистейшей красоты и счастья; но Ницше по-прежнему любил его, как любят женщину, за ту радость, которую она с собою приносит. Всякая мысль о разрыве с Вагнером была нестерпима для Ницше, и он никому не поверял своих мыслей.

Положение становилось крайне неловким и фальшивым; в январе, в самый острый момент своего кризиса, Ницше пришлось послать поздравительное письмо Вагнеру по самому необыкновенному поводу: несчастный, безумный баварский король неожиданно спас байройтское дело тем, что обещал прислать нужные деньги. В это же время Ницше послал своему учителю

свою брошюру «О вреде и пользе изучения истории»; о Вагнере в этой брошюре не упоминалось ни разу. Это произвело в Байройте немного шокирующее впечатление, и г-жа Козима Вагнер решила деликатным образом призвать Ницше к порядку.

«Только то, что вы были приобщены к страданию гения, дало вам возможность оценить нашу культуру с общей точки зрения, — пишет она ему, — и только в ней черпаете вы чудесную силу творчества, и я уверена, что она переживает все наши керосиновые и газовые звезды. Может быть, вам не удалось бы так хорошо распознать одним взглядом всю пестроту видимости, если бы вы так глубоко не соприкоснулись с нашей жизнью. Из того же источника почерпнули вы иронию и юмор, и то, что корнем своим они имеют общие страдания, дает им совсем иную силу, чем если бы они были простою игрою ума».

«Увы, — говорит Ницше своей сестре, — посмотри, с каким уважением ко мне относятся в Байройте». — 22 мая, в день рождения Вагнера, Ницше написал ему поздравительное письмо. Вагнер тотчас же ответил ему, прося приехать к ним, где его ждет «его комната». Ницше под каким-то предлогом отказался. Через несколько дней после этого он опять написал Вагнеру (но, к сожалению, письма Ницше к Вагнеру или потеряны, или уничтожены) и получил следующий ответ:

«Дорогой друг, отчего вы не хотите приехать к нам? Не замыкайтесь в своем одиночестве, иначе я буду бессилен что-либо дать вам. Ваша комната готова. Все обстоит хорошо после вашего последнего письма. В другой раз напишу вам больше. Всем сердцем ваш

Р. В.

Ванфрид, 9 июня 1874 года.

Возможно, что Вагнер любил Ницше постольку, поскольку он только был способен любить. Окруженный слишком покорными учениками и поклонниками, Ваг-

нер особенно ценил пылкий темперамент Ницше, его потребность отдаваться целиком, его свободолюбивый характер. Часто Ницше сердил Вагнера и выводил его из терпения, но так же быстро Вагнер прощал ему. Хотя Вагнер и не понимал вполне, но все же угадывал, какие трагические кризисы переживал Ницше в своих жизненных исканиях, и тогда с неподдельной добротой писал ему. Но Ницше страдал от этого отношения только сильнее, он только яснее чувствовал всю ценность того, с чем должен был расстаться. У него не хватало духа видеть Вагнера, и он во второй раз отклонил его приглашение. В Байройте его отказ вызвал бурю возмущения, отголоски которой долетали и до него самого.

«Я узнал, что обо мне там снова беспокоятся, — пишет он одному другу, — они находят, что у меня неуживчивый характер и настроение чесоточной собаки. Это правда, но я ничего не могу с собою поделать. Некоторых людей я предпочитаю видеть издалека, но не вблизи».

Неизменно преданный Герсдорф, верный как учителю, так и ученику, просил, убеждал, торопил Ницше приехать в Байройт, но Ницше не только не послушался его, но даже рассердился.

«Откуда пришла в голову тебе странная мысль, мой дорогой друг, непременно, вопреки моему желанию, заставить меня провести этим летом несколько дней в Байройте? Мы ведь оба знаем, что Вагнер по природе своей склонен к недоверию, и я не думаю, что было бы благоразумно раздувать в нем это чувство, подумай и о том, что у меня есть обязанности по отношению к самому себе и что исполнять их очень трудно с таким слабым здоровьем, как мое. Говоря серьезно, я очень недоволен, когда меня к чему-либо принуждают...»

Но настроение это было минутным; у Ницше не было сил порвать с Вагнером совершенно, и он всем своим существом хотел сохранить его дружбу, и если и отка-

зался от поездки в Байройт, то после многочисленных извинений; он просил отсрочки, выставил предлогом спешную работу и ничем не связал себя в будущем. Получив в конце июля новое приглашение и устав, наконец, от постоянных отказов, Ницше решил поехать в Байройт, но странная мысль пришла ему в голову. В чем, собственно, дело: хочет ли он доказать свою независимость или намеревается заняться *исправлением* Вагнера? Может быть, в душе его зародилась неслыханная мечта: повлиять на своего учителя, вернуть ему прежнюю чистоту, поднять его до высоты самым им внушенного самопожертвования. Ницше захватил с собою свою любимую партитуру Брамса, которой Вагнер несколько комично завидовал, уложил ее в чемодан; приехав в Байройт, в первый же вечер положил на рояль, на самом видном месте; кстати, ноты были в ярко-красном переплете, так что сразу бросались в глаза. Вагнер заметил эту проделку и, должно быть, понял тайную мысль Ницше, но тактично ничего не сказал ему об этом. На другой день Ницше повторил свой маневр, и тогда великий человек рассердился: он кричал, бушевал, бранился до пены у рта и вышел, хлопнув дверь. Столкнувшись с сестрой Ницше, которая приехала одновременно с братом, он, уже немного посмеиваясь над самим собою, весело рассказал ей обо всем происшедшем.

«Ваш брат опять разложил на рояле эту красную партитуру, и первое, что я каждый раз вижу, входя в комнату, это она! Наконец, я взбесился, как бык при виде красного плаща тоreadора. Я прекрасно понимаю намерение Ницше: он хотел мне доказать, что и этот человек мог писать прекрасную музыку. И тогда я вспылел, да именно немного вспылел!»

И Вагнер громко расхохотался. «Фридрих, что ты сделал, — спросила m-lle Ницше, совершенно растеряв-

шись, когда после долгих поисков нашла своего брата. — Что случилось?»

— Ах, Лизбет! Вагнер обнаружил сегодня все, кроме величия!

Смех успокоил Вагнера, и в тот же вечер он помирился с «ужасным ребенком». Но, пожимая миролюбиво руку своему учителю, Ницше не создавал себе никаких иллюзий; пропасть между ними стала еще глубже, близость разлуки еще более угрожающей.

В таком состоянии Ницше уехал из Байройта. Здоровье его, сносное в августе, значительно ухудшилось в сентябре, но, несмотря на это, он усердно принялся за отделку «Шопенгауэра, как воспитателя», которого он думал отпечатать в октябре.

«С помощью этой книги, — писал он m-lle Мейзенбух, — вы узнаете обо всех моих испытаниях за истекший год; испытания эти в действительности еще более серьезны и жестоки, чем можно себе представить из чтения моей книги. In summa, время все-таки идет, жизнь моя хотя и лишена солнечных лучей, но я все же подвигаюсь вперед, а разве это не большое счастье — сознавать, что исполняешь свой долг. В данный момент я хочу уяснить себе систему антагонистических сил, на которых покоится над «современный мир». К счастью, у меня нет никаких ни политических, ни социальных претензий, никакая опасность не грозит мне, ничто не располагает меня к себе, ничто не обязывает меня к каким-либо сделкам и выражениям почтительности. Короче говоря, у меня чистое поле для действий, и в один прекрасный день я испытаю на самом себе, в какой степени наши современники, которые так гордятся свободой мысли, окажутся на высоте, когда лицом к лицу столкнутся со смелой, свободной мыслью... С каким пылом примусь я за дело, вырвав из своего сердца все, что есть в нем отрицательного, непокорного. И я смею надеяться, что приблизительно через 5 лет эта прекрасная цель будет близка к достижению».

Но на фоне этой надежды уже виднелись темные

пятна. При всей своей жажде овладеть общественным мнением и желании деятельно проявить себя Ницше должен был обречь себя на 5 лет ожидания, бесцельной работы и критики. «Мне уже 30 лет, — пишет он в своих заметках, — жизнь становится тяжелым бременем. Я не вижу никакого повода быть веселым, а между тем казалось бы, что всегда должен быть повод быть веселым».

Возвратившись в Базель, Ницше возобновляет чтение своих лекций. Эта официальная обязанность всегда тяготила его, а при его настоящем душевном состоянии показалась почти невыносимой; ему было поручено преподавание греческого языка студентам первого семестра. Ницше дорого ценил свое время и знал, что каждый час, отданный университету, только увеличивал и без того томительную длинную пятилетнюю отсрочку. Каждый потерянный в университете час мучил его укорами совести за измену писательскому делу.

«У меня впереди работы хватит на 50 лет, — пишет он осенью своей матери, — и прекрасной увлекательной работы, а я вместо этого ношу на себе ярмо и едва успеваю оглянуться на то, что делается вокруг меня. Увы! Зима подошла так скоро, так скоро и принесла с собою суровые холода. Я боюсь, что на Рождество будет очень холодно. Не стесню ли я вас, если приеду к вам? Меня так радует мысль, что я могу снова побыть среди вас и целые десять дней не думать об этой проклятой университетской работе. Приготовьте мне к Рождеству маленький уголок, где бы я мог дожить оставшуюся мне жизнь и писать хорошие книги. Горе мне!»

В такие минуты уныния и упадка духа Ницше неизменно вспоминал о своем прежнем отношении к Вагнеру, о том почти безоблачном состоянии духа, которое он пережил во время их дружбы. Слава Вагнера, одно время поколебавшаяся было, теперь возрастала с каждым днем; все преклонялись перед его успехом, а Ниц-

ше, так много потрудившийся для Вагнера в годы борьбы, теперь, в час торжества и триумфа, должен был отстраниться. Мысль о том, что красота вагнеровского искусства зовет его к себе, что перед ним всегда его «пятнадцать зачарованных миров», что сам Вагнер был так близко от него и по-прежнему открывал ему себя, Вагнер, все такой же гениальный, неистощимый, смеющийся, нежный, величественный, ласкающий и, как Бог, оживляющий все кругом себя, сознание, что сам он, Ницше, пережил уже столько красоты и что путем небольшой сделки со своею совестью он может купить себе доступ к дальнейшему наслаждению, но что он уже никогда, никогда не сделает этого и закроет тем самым себе путь к вагнеровской красоте, — все это было для Ницше источником непрерывных страданий. Наконец, уступая необходимости открыть свою душу и излить свои мучения, он пишет своему единственному утешителю — Вагнеру. Как и все остальные его письма к Вагнеру, и это письмо тоже потеряно или уничтожено, но по тону приводимого нами ответа Вагнера можно представить себе, насколько оно было красноречиво.

«Дорогой друг, — пишет Вагнер, — ваше последнее письмо снова заставило меня беспокоиться о вас. Жена будет вам писать сегодня же и более подробно, чем я. У меня сейчас есть четверть часа свободного времени, и я хочу посвятить его тому, чтобы, — к вашему большому, вероятно, огорчению, — поставить вас au courant того, что здесь о вас говорят. Мне, между прочим, кажется, что у меня никогда еще не бывало такого интеллигентного общества, какое услаждает вас по вечерам в Базеле; тем не менее, признаюсь, что если вы все такой же ипохондрик, как были, то в этом мало хорошего. По-видимому, вам, современной молодежи, не хватает женского общества. Я прекрасно знаю, какое здесь встречается затруднение: как говорит мой товарищ Sulzer, «где возьмешь женщину, если не украдешь ее?» Хотя, почему бы и не воровать, если это нужно? Всем этим я хочу сказать, что вам надо либо жениться, либо написать

оперу; и то и другое будет одинаково хорошо или дурно для вас. Однако женитьбу я все же считаю за лучший выход. Пока я хочу предложить вам один паллиатив, хотя и знаю, что вы всегда заранее устанавливаете себе режим и очень трудно, вернее невозможно, что-либо посоветовать вам. Например, вот вам один совет: мы устраиваем сейчас наш дом таким образом, что для вас всегда найдется там уютный уголок, какого я никогда не имел в самые затруднительные минуты моей жизни; вы должны были бы приехать к нам на летние каникулы; но вы, как бы предугадывая наше приглашение, еще в начале зимы известили нас, что намереваетесь провести лето, уединившись где-нибудь в высоких горах Швейцарии. Не нужно ли это понимать как заранее обдуманную заботливую самозащиту против возможного предложения с нашей стороны? Ведь чем-нибудь мы можем вам пригодиться? Зачем вы пренебрегаете тем, что предлагают вам от чистого сердца? Герсдорф и все ваши базельские друзья найдут здесь много для себя приятного. Я сделаю смотр всем исполнителям «Нибелунгов», декоратор будет писать декорации, машинист — работать над машинами; да и сами мы все будем там вместе душой и телом. Но я знаю ваши странности, мой милый Ницше, и потому не буду больше говорить об этом, так как все равно это ни к чему не приведет. Ах, Боже мой! Да женитесь вы на какой-нибудь богатой невесте! И зачем это нужно было судьбе сделать Герсдорфа мужчиной! Женитесь, а потом путешествуйте, обогащайтесь великолепными впечатлениями, которых вы так жаждете... а затем... вы напишете оперу, которую, по всей вероятности, чертовски трудно будет исполнять. И зачем это Сатана сделал вас педагогом!.. Чтобы кончить письмо, скажу вам, что в будущем году, летом, начнутся полные репетиции (может быть, без сопровождения оркестра) в Байройте. В 1876 году будут первые представления; раньше сделать их никак невозможно. Я купаюсь каждый день; хочу похудеть во что бы то ни стало. И вы тоже купайтесь; ведь вы же тоже питаетесь мясом.

Всем сердцам Ваш преданный R. W.»

Вагнер предчувствовал, что письмо окажется беспо-

лезным, но не предполагал, что оно принесет вместо пользы вред. Ницше страдает от того, что вызвал с его стороны такой прилив нежности, на который он не может откликнуться. Он написал Вагнеру в минуту слабости и теперь ему стыдно за свой поступок. Но все-таки известие о приближающихся в Байройте репетициях взволновало его. Поедет он на них или не поедет? Если не поедет, то под каким предлогом? Долго ли он будет скрывать свои настоящие мысли или настало время во всем признаться? В это время Ницше начал писать четвертое «Несвоевременное размышление», — «Мы филологи». Он бросает работу, оправдываясь усталостью и утомительными университетскими занятиями. Говоря таким образом, Ницше или ошибался сам, или обманывал нас. С наступлением Рождества он на 10 дней уехал в Наумбург, к матери; там, вполне на свободе, он собирался работать, но вместо того, чтобы писать, он занялся музыкой и переложил для четырех рук свой гимн дружбе. В сочельник он перечитывает свои юношеские произведения; ему было интересно заглянуть в свое прошлое. «Я всегда удивлялся, — пишет он m-lle Мейзенбух, — как отражаются в музыке врожденные свойства нашего характера. Музыкальное творчество ребенка уже настолько ясно и определенно передает и складывающийся характер человека, что в зрелые годы можно подписаться под этим обеими руками».

Это неистовое увлечение музыкой у Ницше есть не что иное, как признак дурного расположения духа, слабости воли и страха перед своими собственными мыслями. Два письма, одно от Герсдорфа, другое от Козимы Вагнер, нарушили покой его уединенных воспоминаний. И тот и другая говорили ему о Байройте. Это напоминание привело его в отчаяние. «Вчера, в первый день нового года, — пишет он m-lle Мейзенбух, — я с трепетом думаю о своем будущем. Как страшно и опасно жить, с какой завистью думаю я о тех, кто честно и

достойно кончает свои счета с жизнью. Но я решил жить и дожить до старости, у меня есть цель — моя работа. Но, конечно, не удовлетворение жизнью поможет мне прожить до старости. Вы меня, конечно, понимаете».

В течение января и февраля 1875 года Ницше ничего не пишет; он ощущает полный упадок энергии. «Очень редко, минут 10 за две недели я пишу «Гимн одиночеству». Я явлю его человечеству во всей его ужасающей красоте». В марте в Базель приехал Герсдорф. Воодушевленный и приободренный его приездом, Ницше продиктовал ему несколько страниц своей книги и, казалось, вышел немного из своего удрученного состояния; но судьба послала ему новое испытание.

Он был душевно привязан к двум своим товарищам, Овербеку и Ромундту, и привык к совместной жизни с ними; они трое составляли то «интеллигентное общество», о котором с таким уважением говорил Вагнер. Вдруг в феврале 1875 года Ромундт заявляет Овербеку и Ницше, что он должен покинуть их, потому что решил принять пострижение. Ницше был крайние поражен и возмущен этим известием; несколько месяцев жил он с этим человеком, считал его своим другом и никогда ему не приходило на ум, что у него может быть тайное, столь внезапно проявившееся призвание. Значит, Ромундт не был с ним вполне откровенным; он стал рабом религии и изменил заветам идеальной экзальтированной дружбы Ницше.

Отступничество Ромундта напомнило Ницше о другой измене и дало ему нить к пониманию последней новости, циркулировавшей среди вагнерианцев: Вагнер собирается написать христианскую мистерию — «Парсифаль». Ничто так не отталкивало Ницше, как возврат к христианству; подобное отступление перед запросами жизни казалось ему ничем не оправдываемой слабостью и трусостью воли. Несколько лет тому назад Вагнер среди своих интимных друзей развивал различные

планы, и Ницше всей душой разделял мысли своего учителя; Вагнер говорил о Лютере, о Фридрихе Великом; он хотел воспеть германского национального героя и, вдохновленный успехом, продолжать своих «Мейстерзингеров». Почему отказался он от этих планов, почему предпочел Парсифаля Лютеру? Почему суровой и певучей жизни германского Ренессанса он предпочел религиозность Грааля*?

Ницше понял теперь и оценил опасность пессимизма, приучающего к постоянным жалобам, ослабляющего душу и предрасполагающего к мистическим утешениям. Он упрекал себя в том, что внушил Ромундту слишком суровое для него учение и тем самым вызвал его отступничество.

«Ах, наша добродетельная, чистая протестантская атмосфера! — писал он Роде. — Я никогда так сильно не чувствовал влияния лютеровского ума. А несчастный Ромундт

* Кельтская легенда о святом Граале и Парсифале представляет из себя самое значительное мифологическое сказание средневековья. В ней ярко горит высокий рыцарский идеал. По словам трубадуров и средневековых рассказчиков, на дальнем Востоке, по мнению некоторых, на границе Индии, находилась высокая гора, называемая Монсальват. На ее вершине стояла белая твердыня из сверкающего мрамора, которая, одинокая и недостижимая, возвышалась над кедрами и кипарисами окружающих лесов. Внутри она представляла из себя великолепный храм, с опаловыми колоннами, с готическими сводами, украшенными ониксом, с асбестовыми перекладами и гранитными ступенями. Благовоние алоев наполняло его высокие и блестящие своды, из глубины которых неслись неземные голоса незримых хоров. В этом великолепном храме жил орден рыцарей, посвятивших себя на стражу священной чаши Грааля, источника великих чудес. Это была чаша, в которой Христос освятил хлеб и вино во время своей последней встречи с апостолами. Иосиф Аримафейский затем в нее же собрал его кровь. Таким образом, чудная чаша святого Грааля служила как бы залогом, оставленным Богочеловеком на земле («Рихард Вагнер и его музыкальная драма», Эдуард Шюре, с. 99—100).

поворачивается спиной к целому ряду освобождающих человечество гениев. Я иногда думаю, что он не в своем уме и что его надо лечить холодными обтираниями и душем, до такой степени мне кажется диким и непонятным, чтобы религиозный призрак мог вырасти около меня и захватить в свои руки человека, который 8 лет был моим товарищем. В довершение всего этого именно на мне лежит ответственность за постыдное пострижение в монахи. Бог мне свидетель, но сейчас не эгоистические мысли говорят во мне. Но я думаю, что сам я тоже олицетворяю в себе нечто священное, и мне было бы невообразимо стыдно, если бы я хоть чем-нибудь заслужил упрек в сношениях с католицизмом, который я ненавижу до глубины души».

Ницше хотел вернуть к жизни, переубедить своего друга, но всякий спор был бесполезен. Ромундт ничего не отвечал и твердо стоял на своем. В назначенный срок он уехал, и вот как Ницше описывает Герсдорфу его отъезд:

«Было невыносимо тяжело; Ромундт знал и без конца повторял, что отныне все счастье, все лучшее время своей жизни он уже прожил; обливаясь слезами, он просил у нас прощения и не мог скрыть своего горя. В самый последний момент меня охватил настоящий ужас; кондуктора захлопывали дверцы вагонов и Ромундт, все еще желая нам что-то сказать, хотел открыть окно, но оно не отворялось, он бился изо всех сил, и, пока он безуспешно старался, чтобы мы его услышали, поезд тронулся, и мы могли объясняться только знаками. Меня крайне поразил невольный символизм этой сцены (Овербек, как он мне потом сказал, переживал то же самое); нервы мои не выдержали такого потрясения; на следующий день я слег в постель и тридцать часов подряд мучился сильнейшей головной болью и приступами тошноты».

Болезнь эта была началом очень долгого кризиса. Ницше принужден был уехать из Базеля в гористую, покрытую лесом местность и там в одиночестве отды-

хоть. «Я очень много хожу один, и мысли мои в одиночестве проясняются». Что же это были за мысли? Предугадать их нетрудно. «Пришли мне слово утешения, — пишет он Роде, — и, может быть, твоя дружба поможет мне пережить постигший меня удар. Судьба нанесла удар моему чувству дружбы, и это убивает меня. Более, чем когда-либо, я ненавижу эту лицемерную и неискреннюю манеру иметь много друзей; в будущем я буду уже более осмотрительным».

Сестра Ницше, проведшая весь март в Байройте у Вагнера, ужаснулась при виде своего брата. Казалось, что тень Ромундта преследовала его повсюду. «Жить все время под одной крышей, быть такими друзьями и прийти к такой развязке! Это ужасно!» — повторял он непрерывно. На самом деле в эти минуты он думал о другом друге, которого он должен был неминуемо потерять, — о своем учителе, Рихарде Вагнеру. «Какой опасности подвергался я, — говорил он сам себе, — когда восхищался, упивался, обманывая себя иллюзиями, к тому же все иллюзии связаны между собою неразрывной цепью, и вагнеризм граничит с христианством». Он без устали слушал рассказы сестры, живо описывавшей ему чудеса Байройта, всеобщее возбуждение и радость. Однажды, гуляя с ним в городском саду, она в десятый раз рассказывала ему то же самое, как вдруг она заметила, что брат слушает ее с каким-то странным волнением. Она стала расспрашивать его, забросала вопросами, и он, разразившись длинной красноречивой жалобой, открыл ей ту тайну, которую хранил целый год от всех. Вдруг он сразу замолчал, заметив, что кто-то посторонний следит за ними. Он быстро увлек сестру в сторону, боясь, что слова его будут услышаны и переданы в Байройт. Через несколько дней он узнал имя этого слишком любопытного путешественника — это был Иван Тургенев.

Приближался июль 1875 года, время, назначенное для репетиции тетралогии, и друзья Ницше были всецело поглощены приготовлением к ним; только о них писали они ему в своих письмах, только о них говорили и думали. Ницше по-прежнему продолжал скрывать свое настоящее отношение к Вагнеру и не решался поставить себе прямого, становившегося уже безотлагательным, вопроса: «Ехать или не ехать в Байройт на репетиции?» Нервное возбуждение его росло с каждым днем, и он совершенно измучился; появились опять головные боли, бессонница, рвота, судороги в желудке, и, таким образом, нездоровье могло служить ему предлогом не ехать в Байройт. «Так как ты поедешь в Байройт, — пишет он Герсдорфу, — то предупреди Вагнера, что я не приеду; он будет, конечно, очень сердиться, но я сам раздосадован этим не менее его». В первых числах июля, когда Базельский университет закрылся на лето, а все его друзья спешили в Байройт, Ницше удалился на маленькую терапевтическую станцию, — Штейнабад, местечко, затерявшееся в долине Шварцвальда.

У Ницше было временами достаточно силы воли, чтобы стать выше всех своих горестей и радостей; он умел наслаждаться зрелищем своих страданий и прислушивался к ним, как к перемешивающимся звукам симфонии; в такие минуты он не ощущал никакой нравственной боли, а с каким-то мистическим наслаждением созерцал весь трагизм своего существования. Такое же настроение он переживал и во время своего двухнедельного пребывания в Штейнабаде; но на этот раз он не получил никакого облегчения, болезнь его не поддавалась лечению, и врачи намекали ему, что в основе всех его болезней лежит одна и та же неуловимая, таинственная причина. Ницше хорошо знал, как болезнь сломила в 36 лет отца, и с полуслова понял, что хотел сказать доктор и что ему угрожало; но он не переживал

реально впечатления этой угрозы, а созерцал ее со стороны и с полным мужеством смотрел в лицо своему будущему.

Штейнабад лежал очень близко от Байройта, и искушение поехать туда овладело Ницше, но он не мог выйти из состояния нерешительности, и это окончательно подорвало его силы. В конце июля нервное напряжение разрешилось жестоким кризисом, уложившим его на два дня в постель. Первого августа он писал Роде: «Сегодня, дорогой друг, если я не ошибаюсь, все вы собираетесь в Байройт и только меня не будет с вами. Напрасно я упорно мечтал о том, что соберусь с силами, внезапно появлюсь среди вас и буду наслаждаться вашим обществом; все напрасно: лечение мое удалось только наполовину, и я с уверенностью могу сказать, что не приеду...» Острый припадок болезни миновал; Ницше мог встать и даже гулять в лесу. Он взял с собою в Штейнабад экземпляр «Дон-Кихота» и прочел эту «самую горькую» книгу, полную насмешки над всеми благородными порывами. Но Ницше не терял мужества; он без особенно сильной горечи вспоминал о своем полном радости прошлом, думал о своем большом труде об эллинизме, о том, что будет продолжать прерванные «Несвоевременные размышления», в особенности же мечтал о «прекрасной книге», которую напишет, когда будет уверен в себе. «Ради этого произведения, — думал он, — я должен пожертвовать всем. За последние годы я слишком много писал и часто ошибался; теперь я буду молчать и употреблю все время на подготовительную работу, если бы на это понадобилось даже семь, восемь лет. Долго ли я еще проживу? Через 8 лет мне уже будет 40, а мой отец умер в 36. Все равно я должен рискнуть и не уступать перед опасностью умереть раньше, так как для меня настало время молчания. Я много поносил моих современников, а между тем я сам при-

надлежу к их числу; я страдаю вместе и одинаково с ними ради чрезмерности и беспорядочности моих желаний. Если мне суждено быть учителем этого поколения, то сначала я должен побороть самого себя и подавить в себе всякое сомнение; для того, чтобы победить свои инстинкты, я должен знать их и уметь их судить, я должен приучить себя к самоанализу. Я критиковал науку и восхвалял вдохновение, но я не анализировал, не исследовал источников этого вдохновения — над какою же, значит, пропастью я ходил! Меня извиняет моя молодость; я нуждался в опьянении; теперь молодость моя уже прошла, Роде, Герсдорф, Овербек в Байройте; я им завидую и вместе с тем жалею их, так как они уже вышли из того возраста, когда витают в мечтах, и не должны бы находиться там. Чем именно я сейчас займусь? Я буду изучать естественные науки, математику, физику, химию, историю и политическую экономию. Я соберу громадный материал для изучения человека, буду читать старинные исторические книги, романы, воспоминания и переписки... Работа предстоит трудная, но я буду не один, со мною постоянно будут Платон, Гёте, Шопенгауэр; благодаря моим любимым гениям, я не почувствую ни всей тяжести труда, ни остроты одиночества».

Почти ежедневно приходившие из Байройта письма рассеивали мысли Ницше; но он читал о впечатлениях других людей без всякого чувства горечи. На нескольких страницах его дневника, написанных только для него одного, мы читаем воспоминания о тех радостях, которые дал ему Вагнер. «В течение трех четвертей моего дня я мысленно нахожусь с вами, — пишет он своим друзьям, — как тень, мысль моя блуждает около Байройта. Не бойтесь возбуждать во мне зависть и рассказывайте мне, друзья мои, все ваши новости. Во время моих одиноких прогулок я вспоминаю те музыкальные

строки, которые знаю наизусть, а потом бранюсь и проклинаю. Поклонитесь от меня Вагнеру и передайте ему мой глубокий привет. Прощайте, мои дорогие любимые друзья. Вы знаете, что я всех вас люблю от всего сердца».

Немного окрепнув от свежего воздуха и лечения, вернулся Ницше в Базель. Сестра приехала с ним и пожелала остаться около него. Ницше продолжал вести созерцательный обрез жизни; подобно тому, как среди своих рукописей, книг и музыки, он был почти счастлив в Штейнабаде.

«Я мечтаю о союзе совершенных людей (он подчеркивает эти слова), не знающих пощады и желающих, чтобы их называли «разрушителями»; ко всему существующему они подходят с острием своей критики и посвящают себя исключительно служению истине. Мы не оставим невыясненным ничего двусмысленного и лживого. Мы не хотим строить преждевременно, мы не знаем даже, окажется ли в нашей силе дело созидания, может быть, даже лучше не приступать ни к чему. Жизнь знает трусливых, безропотных пессимистов; такими мы быть не желаем.»

Он принимается за продолжительные научные изыскания по составленному им плану. Сначала он прочел книгу Дюринга «Ценность жизни». Дюринг был позитивистом и в качестве такового вел борьбу против последователей Шопенгауэра и Вагнера. «Идеализм есть ложное обольщение, — говорит он, — всякая жизнь, стремящаяся стать вне реальности, предается химерам». Ницше ничем не реагировал на эти предпосылки. «Здоровая жизнь сама придает себе ценность», — говорит Дюринг. «Аскетизм — явление болезненное и есть простое заблуждение». — «Нет, — отвечает Ницше, — аскетизм — это инстинктивное влечение, испытанное самыми благородными, самыми сильными представителями человечества; аскетизм — это исторический факт,

с которым надо считаться при определении ценности жизни. И если аскет — жертва страшной ошибки, то возможность подобного заблуждения должна быть отнесена к темным силам человеческого существования». «Трагизм жизни, — читаем мы у Дюринга, — вовсе не является чем-то непреодолимым. Верховная власть эгоизма есть только мнимая видимость; на самом деле душе человека свойственны альтруистические инстинкты...» — «Как, — восклицает Ницше, — эгоизм — только мнимая видимость! Дюринг впадает здесь просто-напросто в детство. *Хочу верить, но не могу.* Дай Бог, чтобы это была правда! Слова его лишены всякого смысла; если только он серьезно верит в то, что говорит, то он готов к восприятию всех социалистических проблем». Ницше противопоставляет Дюрингу трагическую философию, заимствованную им у Гераклита и Шопенгауэра: никакое бегство от жизни нетерпимо, всякое бегство свидетельствует только о трусости и самообмане, и Дюринг в данном случае вполне прав, но он искажает суть дела, представляя нам картину нашей жизни в смягченных красках. Это глупость или ложь, так на самом деле жизнь тяжела...

Ницше в эти дни был весел или по крайней мере представлялся таким. По вечерам, чтобы не утомлять глаза, он не работал, а сестра читала ему вслух романы Вальтера Скотта. Он любил его простой повествовательный тон, «его плавное, ясное искусство», любил за наивные героические и сложные приключения: «Вот веселились люди! Вот у них были желудки!» — восклицает он, выслушивая описания нескончаемых пиршеств, и сестра чрезвычайно удивлялась, как непосредственно от такого легкого настроения Ницше переходил к композиции своего «гимна одиночеству».

Удивление ее было вполне понятно, потому что веселость Ницше была искусственной, тоска же постоян-

на и глубока, но он скрывал ее от нее и, без всякого сомнения, от самого себя. Он занялся изучением книги Б. Стюарта о сохранении энергии, но бросил ее, прочтя всего несколько страниц; ему была невыносима работа без утешения искусством, без вдохновения и радости. Потом ему показалось, что его интересует индийская мудрость, и он принялся за английский перевод «Сутта Нипата»; радикальный нигилизм этой книги пришелся ему по душе: «Когда я болен и лежу в постели, то всецело поддаюсь убеждению, что жизнь не имеет никакой ценности и что все наши цели по существу своему призрачны...» Подобные припадки повторялись у Ницше довольно часто; через каждые две недели возобновлялись мигрени, судороги в желудке, боли в глазах.

«Как носорог, блуждаю я туда и сюда». Ницше запомнил и с грустным юмором применял к себе последнюю фразу одной из глав «Сутта Нипаты». Несколько лучших его друзей были в это время уже помолвлены; Ницше охотно предается размышлениям о браке и о женщинах; в подобных случаях человек очень редко бывает искренним, и мы знаем, что и Ницше не был искренним. «У меня больше друзей, чем я этого заслуживаю, — писал он в октябре 1874 года m-lle Мейзенбух, — то, что я желаю сейчас, я говорю это вам по секрету, так это прежде всего хорошую жену; тогда я получу от жизни все, что желал бы от нее, а остальное уже мое дело». Ницше приветствовал женихов Герсдорфа, Роде и Овербека и радовался вместе с ними их счастьем, но все время сознавал разность своей судьбы с ними. «Будь счастлив, — пишет он Герсдорфу, — ты уже не будешь блуждать одиноко по свету, как носорог».

* * *

Наступал 1876 год; постановка тетралогии была назначена на лето. Ницше знал, что к тому времени нере-

шительность его должна кончиться. «Я совершенно измучился в то время от тоскливого неумолимого предчувствия, что после моего разочарования мое недоверие к себе возрастет сильнее, чем раньше, что я еще глубже буду презирать себя, что я буду обречен на еще более жестокое одиночество», — рассказывал Ницше позднее. Мысль о приближающихся рождественских праздниках и Новом годе, бывших для него всегда источником тихой радости, еще только увеличила его меланхолию. Ницше опять должен был лечь в постель в декабре и встал только в марте и то не вполне оправившийся.

«Я пишу с трудом, и потому буду краток, — читаем мы в его письме к Герсдорфу 18 января 1876 года. — Я никогда еще не переживал такого грустного, такого тяжелого Рождества, никогда не переживал такого страшного предчувствия. Я теперь более не сомневаюсь, что болезнь моя имеет чисто мозговое происхождение; глаза и желудок страдают от другой, посторонней причины. Мой отец умер 36 лет от воспаления мозга. Весьма возможно, что у меня процесс пойдет еще быстрее. Я терпелив, но будущее мое полно всяких возможностей. Питаюсь я почти исключительно молоком, и это мне помогает; я хорошо сплю. Наилучшее, что у меня теперь есть, — это сон и молоко».

С приближением весны Ницше начинает тянуть уехать из Базеля. Герсдорф предложил ему себя в компаньоны, и друзья поселились вместе на берегу Женевского озера в Шильоне. Ницше прожил там пятнадцать дней и все время находился в очень дурном настроении; нервы его не выносили малейшего изменения температуры, малейшей сырости и присутствия электричества в воздухе; в особенности же он страдал от *фена*, мягкого мартовского ветра, от дуновения которого начинают таять снега. Мягкая сырость действовала на него самым угнетающим образом; нервы его не выдержали,

и он признался Герсдорфу в своей душераздирающей тоске и сомнениях. Герсдорф должен был возвращаться в Германию, и ему пришлось уехать от своего друга в большой тревоге за его здоровье.

Оставшись один, Ницше почувствовал себя лучше, может быть, оттого, что улучшилась погода, может быть, тоска менее тяготила его, когда около него не было всегда готового его выслушать, всегда полного сочувствия Герсдорфа. Случай оказал ему решительную помощь и послал ему час освобождения.

M-lle Мейзенбух издала свои «Воспоминания идеалистки», два тома которых он взял с собой, уезжая в Швейцарию. Ницше очень уважал m-lle Мейзенбух и с каждым годом любил все сильнее эту всегда страждущую, но сильную духом, добродушную и мягкую женщину. Он, конечно, не поклонялся ей так, как Козима Вагнер. В умственном отношении m-lle Мейзенбух не представляла собою ничего выдающегося, но у нее было великое сердце, и Ницше беспредельно почитал эту женщину, как бы воплощающую в себе истинный гениальный женский тип. Ничего особенного, конечно, от ее книги он не ожидал, но содержание ее сразу захватило его, и он нашел в ней одно из самых лучших духовных свидетельств 19-го века; m-lle Мейзенбух прошла весь идейный путь этого столетия; она вращалась в самых разнообразных слоях общества, знала всех выдающихся людей, переживала вместе с ними все надежды своего времени. Она родилась еще во времена старой Германии, во времена самостоятельного существования мелких германских государств; ее отец был министром в одном из них; в детстве она видела друзей Гёте и Гумбольдта; в молодости ее захватила проповедь гуманизма, но, порвав с христианством, она отошла и от него. Наступает 1848 год с его глубоким возбуждением умов, рядом попыток социалистического переворота во имя

более благородной и братской жизни; социализм, в свою очередь, увлекает ее, и она становится его деятельным борцом. Родные проклинали ее за это, и она ушла из дому, не прося ни у кого ни помощи, ни совета. Деятельная идеалистка, жаждущая непосредственного дела, она присоединяется к гамбургским коммунистам, вместе с ними учреждает нечто вроде фаланстеры, рационалистическую школу, где все учителя живут вместе; школа, управляемая ею, процветает, но под угрозой полицейских преследований она должна бежать; судьба кидает ее в Лондон, в мрачное убежище изгнанников всех стран, в Лондон, эту могилу для всех побежденных. Чтобы существовать, m-lle Мейзенбух должна давать уроки; она знакомится с Мадзини, Луи Бланом, Герценом и делается другом и утешительницей этих несчастных людей. Наступает Вторая империя, на фоне ее Наполеон III, Бисмарк и «молчание народов»; затем m-lle Мейзенбух попадает в Париж и соприкасается с блестящей культурой «столицы мира». Вскоре Мейзенбух встречается с Вагнером; она уже давно восхищалась его музыкой и преклонялась перед его личностью; она подпадает под его влияние и, отказавшись от культа человечества, переносит весь пламень своей души на культ искусства. Но ее активная добрая душа ни на одну минуту не уходит от жизни; после смерти Герцена у него осталось двое детей; m-lle Мейзенбух усыновляет их и окружает самой теплой материнской заботой. Ницше видел этих двух девочек и не раз восхищался нежным отношением к ним своего друга, ее свободным и искренним самопожертвованием; но он и не подозревал даже, что вся жизнь этой женщины была сплошным отречением от самой себя.

Чтение «Воспоминаний идеалистки» как бы воскрешает Ницше; m-lle Мейзенбух примиряет его о жизнью; к нему возвращается спокойствие духа и даже физичес-

кое здоровье. «Здоровье мое тесно связано с моим настроением, — пишет он Герсдорфу, — я здоров, когда в душе у меня теплится надежда». Ницше уезжает из шильонского пансиона и останавливается по дороге на несколько дней в Женеве, где встречается с одним из своих друзей, музыкантом Зенгером, здесь он познакомился с несколькими беглыми французскими коммунарами, с которыми с удовольствием беседует. Ницше с уважением относится к этим фанатикам, людям цельной души, ясного взгляда на жизнь, всегда готовым пожертвовать собой. Он даже увлекся немного двумя «очаровательными русскими девицами», затем вернулся в Базель и первым делом написал m-lle Мейзенбух.

Базель. Страстная пятница 14 апреля 1876 года.

«Дорогая m-lle Мейзенбух, приблизительно 4 дня тому назад, в одиночестве на берегу Женевского озера, я целое воскресенье от восхода солнца до лунного света провел мысленно около вас. Я прочел вашу книгу от начала до конца со вниманием, возраставшим с каждой страницей, и все думал о том, что я никогда не переживал еще такого прекрасного, такого «благословенного» воскресенья. Вы ниспослали на меня обаяние любви и чистоты, и сама природа казалась мне в этот день отблеском вашей нравственной красоты. Я увидел, насколько выше, неизмеримо выше, ваш душевный мир по сравнению с моим; но ваше превосходство не унижало меня, а придавало мне только бодрость. Вы как бы проникли во все мои мысли, и, сравнивая мою жизнь с вашей, я понял, чего мне в ней не хватало. Я благодарю вас за гораздо большее, чем за простую хорошую книгу. Я был болен, я сомневался в моих силах и моих целях; я думал, что должен отказаться от всего; меня пугал призрак долгой, пустой, бесцельной жизни, когда человек только ощущает весь гнет своего существования и не годен уже ни на что. Я чувствую себя теперь более здоровым и более свободным, и без всяких душевных мучений я уясняю себе свой жизненный долг. Сколько раз я желал видеть вас около себя, — хотелось у вас, морально выше-

го существа, найти ответ на вопросы, который вы одни могли дать мне. И вот ваша книга отвечает мне именно на такие, глубоко назревшие у меня вопросы. Мне кажется, что я никогда не мог бы быть довольным своими поступками, если бы я знал, что вы их не одобряете. Но, может быть, ваша книга будет для меня еще более суровым судьей, чем вы сами. Что должен делать человек, если, сравнивая свою жизнь с вашей, он не хочет, чтобы его упрекали в недостатке мужества? Я часто задавал себе этот вопрос и отвечал на него: он должен поступать только так, как поступаете вы, и ничего больше. Конечно, у него не хватит для этого сил, потому что у него нет вашего самопожертвования и инстинкта постоянной, готовой отдать себя целиком любви. Благодаря вам я открыл один из самых возвышенных моральных мотивов (*einer der höchsten Motive*). Это материнская любовь, без физической связи между матерью и ребенком. Это одно из самых прекрасных проявлений с а г и т а s . Уделите мне немного этой любви, дорогой друг мой, m-lle Мейзенбух, и считайте меня за человека, которому необходимо, о, как необходимо, иметь такую мать, как вы. Много накопится у вас, о чем поговорить в Байройте. Во мне воскресла надежда, что я могу поехать туда, тогда как за последние месяцы я даже и думать об этом не смею. Как бы мне хотелось быть сейчас с а м ы м з д о р о в ы м из нас двоих и оказать вам хоть какую-нибудь услугу. Зачем не могу я жить подле вас? Прощайте, остаюсь поистине ваш верный

Фридрих Ницше.»

M-lle Мейзенбух немедленно ответила ему: «Если бы моя книга обещала мне только такую радость, как ваше письмо, я была бы счастлива, что написала ее. Если я могу помочь вам, то я, конечно, это сделаю. Будущей зимой вы должны уехать из Базеля; вам нужен более мягкий климат, больше солнца и тепла; так же, как и вы, я мучаюсь тем, что мы не вместе. Я приютила у себя этой зимой вашего молодого базельского ученика, Альфреда Бреннера; он все еще болен; приве-

зите его с собою, я сумею дать вам обоим спасительное убежище. Обещайте мне, что вы придете...» Ницше поспешно ответил: «Сегодня отвечаю вам только одним словом: спасибо, я приеду». Уверенный в том, что у него есть пристанище, Ницше стал бодрее и крепче духом.

«Ко мне вернулась спокойная совесть, — пишет он через несколько дней после своего возвращения. — Я знаю, что до сих пор я делал все, что было в моих силах, для моего освобождения и что, поступая таким образом, я преследовал не мои только одни личные цели. Я снова хочу вступить на этот путь и меня ничто уже не остановит больше, ни скорбные предчувствия, ни воспоминания... Вот в чем заключается мое открытие: я понял, что единственное, что люди уважают и перед чем преклоняются, — это вполне благородный поступок. Никогда никакой сделки со своею совестью! Только оставаясь верным своему слову, можно достигнуть успеха. Я уже по опыту знаю, что умею влиять на людей и что если я ослабею или впаду в скептицизм, то одновременно со мною пострадает и много других людей, потому что они развиваются вместе со мною».

* * *

Подобная самонадеянность была необходима Ницше ввиду нового угрожающего ему кризиса. Ученики Вагнера устроили своему учителю банкет, но Ницше, не желавший там показываться, отказался участвовать в нем. Он написал Вагнеру страстное письмо, тайный смысл которого Вагнер, может быть, и уловил:

«Семь лет тому назад я вас в первый раз посетил в Трибшене, и каждый год, когда в мае месяце мы празднуем день вашего рождения, я праздную день моего духовного рождения, потому что с того самого дня вы непрестанно живете внутри меня, как если бы вы были каплей новой крови, вошедшей в мои жилы. Эта кровная моя связь с

вами не дает мне ни минуты покоя, она все время побуждает меня идти вперед, то поощряет, то унижает и укоряет меня, и я, может быть, даже ожесточился бы против вас за вечную душевную тревогу, если бы не знал, что только под вашим влиянием я могу идти по пути совершенства и духовного освобождения».

Вагнер немедленно ответил ему несколько напыщенными строками. Он рассказал ему о великолепных произнесенных в честь его тостах и о том, что он сам отвечал на них и сколько в его словах было каламбуров, милой чепухи и непроницаемых намеков, не поддающихся переводу.

Ницше это письмо крайне взволновало; в момент его получения он прекрасно владел собой и был уверен в своем будущем. Все события последних лет показались ему просто навсегда законченным интересным приключением. Теперь он смотрел снисходительно на свои миновавшие увлечения, припоминал все радости, которыми он был обязан Вагнеру, пожелал выразить ему всю свою благодарность. Прошлым летом, когда в Штейнабаде мысли его были настроены приблизительно таким же образом, он написал в своем дневнике несколько страниц; теперь он разыскал их и, несмотря на нервную усталость в глазах, пытался почерпнуть в них основное содержание для целой книги. Это была странная попытка: он пишет полную энтузиазма книгу, так сказать, гимн Вагнеру, в ту минуту, когда его покинули все иллюзии. Но чуткий читатель найдет на каждой странице этой книги скрытую, замаскированную мысль автора. Ницше пишет хвалу поэту, не упоминая о нем как о философе; нетрудно понять, что он отрицает также воспитательное значение его произведений:

«Для нас Байройт — это освящение храма во время битвы, — пишет он. — Тайнственный голос трагедии звучит для нас не как расслабляющее и обессиливающее нас оча-

рование, она налагает на нас печать покоя. Высшая красота открывается нам не в самый момент битвы, но мы сливаемся с нею в момент спокойствия, предшествующий битве и прерывающий ее; в эти мимолетные мгновения, когда, оживляя в своей памяти прошлое, мы как бы заглядываем в тайну будущего, мы проникаемся глубиной всех символов, и ощущение какой-то легкой усталости, освежающие и ободряющие грезы нисходят на нас. Завтра нас ждет борьба, священные тени исчезают, и мы снова бесконечно отдаляемся от искусства; но как осадок утренней росы, в душе человека остается утешительное сознание о пережитом истинном слиянии с искусством».

Мы находим здесь полную противоположность тем мыслям, которые Ницше высказывал в «Происхождении трагедии». Искусство трактуется теперь не как смысл жизни, а как подготовка к жизни и необходимый от нее отдых. Особенно знаменательны в этой маленькой книжке Ницше последние ее строчки: «Вагнер — это не пророк будущего, как это можно было бы думать, но истолкователь и певец прошлого...» Ницше не мог удержаться и не высказать своего нового мировоззрения, но надеялся, что его новые мысли, новое понимание Вагнера останутся непонятыми, и надежды его оправдались. Тотчас же по выходе в свет брошюры Вагнер написал ему:

«Друг мой, какую чудесную книгу вы написали. Когда вы успели так хорошо узнать меня? Приезжайте скорее и оставайтесь о нами все время, начиная от репетиций до начала представлений.

Ваш Р. В. 17 июля».

* * *

Репетиции начались в середине июля, и Ницше, не желая пропустить ни одной из них, отправился в Бай-

ройт, невзирая на ненадежное состояние своего здоровья, полный нетерпения, чем крайне удивил свою сестру. На третий день отъезда она получила от него письмо: «Я почти жалею, что приехал сюда; до сих пор все имеет чрезвычайно жалкий вид. В понедельник я был на репетиции и до такой степени остался недоволен, что ушел оттуда, не дождавшись конца». Что же на самом деле происходило в Байройте? М-лле Ницше с живым беспокойством ожидала известий от брата; второе его письмо немного успокоило ее. «Дорогая моя сестра, — писал Ницше, — теперь дело идет лучше...» Но последняя фраза письма звучит чрезвычайно странно: «Мне психически необходимо жить совершенно одному и отказываться от всяких приглашений, даже от самого Вагнера. Он находит, что я редко у них бываю». Вскоре же пришло от него и последнее письмо: «Я только и думаю об отъезде: совершенно бессмысленно оставаться здесь дальше. С ужасом думаю я о ежедневных тягучих музыкальных вечерах, и все-таки не уезжаю. Я не могу больше оставаться здесь; я уеду даже раньше первого представления, сам не знаю куда, но уеду непременно; здесь мне все невыносимо».

Что же случилось? Может быть, его утомляло многочисленное общество, от которого он отстал: целых 2 года он жил как отшельник, «в мире загадок и проблем». Он отвык от людей, и один вид их доставлял ему страдание. Титан Вагнер держал в плену этих людей и защищал их от проклятых «проблем и загадок», и людей, казалось, удовлетворяла мысль, что они были только тенью чужого величия. Они ни о чем не размышляли, но восторженно повторяли преподанные им формулы. Собралась целая группа гегельянцев, и Вагнер представлял для них как бы вторичное воплощение их учителя. Последователи Шопенгауэра были в полном составе: им сказали, что Вагнер переложил на му-

зыку философскую систему Шопенгауэра; было в Байройте несколько молодых людей, истинных немцев, называвших себя «идеалистами». «Мое искусство, — заявил им Вагнер, — знаменует собой победу германского идеализма над галльским сенсуализмом». Гегельянцы, последователи Шопенгауэра, идеалисты — все сливались в общем чувстве триумфальной гордости. Они праздновали успех. Иметь успех?! Ницше молчаливо слушал эти странные слова. Кто из людей, какой народ имели когда-нибудь успех? Этого не может про себя сказать даже Греция, упавшая с такой высоты античной культуры. Разве все усилия не оказались бесплодными? И, оставляя в стороне театр, Ницше стал наблюдать за самим Вагнером: в душе у него, у этого источника радостей, было ли настолько величия, чтобы и на вершине своей победы не забыть о муках и тоске творчества? Нет, Вагнер был счастлив, потому что видел перед собой удачу, и самоудовлетворение такого человека еще больше оскорбляло и убивало радость, чем торжество грубой толпы.

Но счастье, как бы низко оно ни было, ведь все-таки счастье. Ликование и опьянение охватили маленький Байройт. Ницше сам когда-то испытывал такое опьянение; теперь же он мучился угрызениями совести и с какой-то завистью думал о прошлом. Он прослушал одну репетицию; его тронули самый вид священного театра, волнение толпы, сознание присутствия в темной зале самого Вагнера, чудесная музыка. Как он еще был чувствителен к вагнеровскому обаянию! Он поспешно встал и вышел; именно этим моментом объясняется фраза его письма: «Вчера вечером я был на репетиции, мне не понравилось, и я ушел».

Новый повод увеличил его смущение; он получил самые точные разъяснения о значении будущего произведения, «Парсифаля». Вагнер собирался объявить себя

христианином. Итак, за последние 18 месяцев Ницше видел два обращения; Ромундт был жертвой случая и собственной слабости; но Ницше знал, что в лице Вагнера все имеет большее значение и является как бы знамением века. Неохристианство еще не народилось в то время. Ницше предчувствовал его первые ростки в «Парсифале». Он предугадал, какая опасность грозит современному, так мало уверенному в себе, человеку перед соблазнами христианства, где так сильна твердость веры, которая призывает к себе и обещает и действительно дает душе верующего мир и спокойствие. Если человек не удвоит своих усилий для того, чтобы найти в самом себе новую «возможность жить», — то фатально впадет в христианство, такое же малодушное, как и его воля. Ницше пришлось увидеть теперь людей, благополучие которых он всегда инстинктивно презирал, людей на самом краю полного падения, которых рука обманывающего и завлекающего их учителя вела к этой пропасти. Никто не знал, куда приведет эта властная рука, никто из них не был еще христианином, но все они уже находились накануне обращения. Как далек был тот майский день 1872 года, когда Вагнер в этом же самом Байройте дирижировал одой в честь Шиллера и Бетховена, в честь свободы и радости.

Ницше был самым пронзительным из всех; его приводило в отчаяние это зрелище всеобщего упадка критического сознания, точно так же, как во времена средневековья мистики предавались отчаянию, видя падение мира, отрекшегося от страдальца Христа, кровавый образ которого с укором стоял перед ним. Ницше хотел вывести людей из этого состояния оцепенения, предостеречь их своим душевным воплем. «Я должен сделать это, — говорил он себе, — так как я единственный, кто отдает себе отчет в том, что здесь происходит...» Но кто бы его послушал? И он замолкнул, ушел в себя,

скрыл от всех свои тяжелые переживания и решил, не обнаруживая слабости духа и не превращаясь в дезертира, наблюдать трагические торжества. Но он не выдержал и должен был бежать. *«Слишком бессмысленно оставаться здесь. Я с ужасом жду ежедневного тягучего музыкального вечера и все-таки не уезжаю. Но больше оставаться здесь я не могу, я должен бежать, куда бы то ни было, бежать во что бы то ни стало. Все здесь для меня сплошная пытка...»*

В нескольких лье от Байройта уже начинаются горы, отделяющие Богемию от Франконии. Деревенька Клингенбрунн, куда бежал Ницше, расположена среди густого леса, покрывающего эту местность. На этот раз припадок Ницше был короче и менее болезнен, чем он предполагал. И самая опасность, и противоядие против вагнеровского искусства представлялись ему теперь в более ясном свете: «Религиозность, если только она не поддерживается ясной мыслью, вызывает у меня отвращение». Он вернулся к своим мыслям в Штейнабаде и укрепился в том решении, к которому тяготел уже тогда: сделать из своего прошлого «чистый лист», защитить себя от метафизических соблазнов, лишиться себя искусства, вообще ограничить свои потребности и, следуя примеру Декарта, прежде всего во всем сомневаться; затем, если удастся найти опять что-нибудь достоверное, то «новое величие» построить уже на неподвижном основании.

Долго бродил Ницше по молчаливым лесам, и суровое спокойствие природы многому научило его. «Если мы не найдем в своей душе таких же ясных и определенных горизонтов, какими обладают горы и леса, то наша внутренняя жизнь потеряет всякую ясность — писал он. — Она будет такою же рассеянной и ненасытной, как жизнь городского жителя, который и сам не знает счастья, и не может дать его никому другому». И

надтреснутая душа Ницше испускает внезапный крик: «Я возвращу людям ясность духа, вне которого нет места культуре; я дам им также и простоту. *Ясность, простота, величие*».

Овладев собою, Ницше немедленно возвращается в Байройт, чтобы довести свой опыт над собою до конца. Он нашел обитателей Байройта в еще более возбужденном состоянии, чем их оставил. Старый император Вильгельм по дороге на большие маневры пробыл у Вагнера из чувства вежливости два вечера; из всех окрестностей, из Баварии и Франконии, сбежались горожане и крестьяне, желавшие приветствовать своего императора; в переполненном городишке не хватало даже съестных припасов.

Вновь начались представления; Ницше добросовестно прослушал все, молчаливо прислушивался к похвалам поклонников Вагнера и как бы мысленно измерял отделявшую их от него уже давно глубокую пропасть. Он продолжал посещать своих друзей: m-lle Мейзенбух, мисс Циммерн, Габриэля Моно, Эдуарда Шюре, Альфреда Бреннера, и все они невольно замечали в нем какую-то недоговоренность и некоторую странность. Часто во время антрактов и по вечерам Ницше любил оставаться наедине с г-жой О., очень милой и интересной женщиной, полурусской, полупарижанкой; ему нравилась женская манера тонкого и не всегда логически последовательного разговора, и своей новой собеседнице он прощал даже то, что она была вагнеристка.

Шюре, с которым Ницше встретился на байройтских торжествах, рисует нам интересный его портрет. «Разговаривая с ним, — пишет он, — я был поражен острою его ума и оригинальностью его наружности; широкий лоб, короткие, стриженные под гребенку, волосы, славянские выдающиеся скулы. По густым нависшим усам и смелым чертам лица его можно было принять за

кавалерийского офицера, если бы в его обращении с людьми не было чего-то одновременно и застенчивого, и надменного. Его музыкальный голос и медленная речь сразу говорили об артистичности его натуры; осторожная и задумчивая походка выдавали в нем философа. Но как обманулся бы тот, кто поверил бы видимому спокойствию его внешности. В пристальном взгляде постоянно сквозила скорбная работа его мысли; это были одновременно глаза фанатика, наблюдателя и духовидца. Двойственность его натуры сообщала присутствующим какую-то заразительную тревогу тем более, что всегда казалось, что глаза его устремлены неизменно в одну точку. В минуты излияний глаза его озарялись выражением мягкой мечтательности, но уже в следующее мгновение в них светился обычный враждебный огонек. Все время генеральных репетиций и в течение первых трех представлений тетралогии Ницше казался всем окружающим грустным и подавленным...»

Каждый день приносил с собой новый триумф Вагнеру, и Ницше с каждым днем все глубже впадал в отчаяние. «Золото Рейна», «Валькирия» — эти старые произведения Вагнера вызывали в Ницше воспоминания о его юношеском восторженном отношении к Вагнеру, на знакомство, с которым он не смел и надеяться в тот период своей жизни. «Зигфрид» напомнил ему Трибшен; Вагнер кончал партитуру «Зигфрида» в то время, как Ницше стал уже его интимным другом. Зигфрид нравился Ницше больше всех других вагнеровских героев. В этом бесстрашном молодом искателе приключений Ницше находил самого себя. «Мы рыцари духа, — пишет он в своих заметках, — мы понимаем пение птиц и идем за ними...» Конечно, слушая «Зигфрида», он был почти счастлив, это была единственная вагнеровская драма, которую он мог слушать без угрызений совести. Затем шла «Гибель богов»; в этой драме Зигфрид сме-

шался с людской толпой и сделался жертвой обмана; однажды вечером, когда он наивно рассказывал им историю своей жизни, предатель вонзил копье ему в спину. Исполины уничтожены, карлики побеждены, и герои бессильны; наступает гибель богов, и золото возвращается в глубину Рейна, воды которого выходят из берегов, и люди в предсмертном ужасе смотрят на всеобщее разрушение.

Это был конец. Занавес медленно опустился, последний звук симфонии растаял в ночной тишине; зрители вскочили со своих мест, и гром аплодисментов и вызовов раздался по адресу Вагнера. Снова поднялся занавес, и на сцене появился Вагнер в черном сюртуке, полотноных панталонах, вытянувшись во весь свой маленький рост. Движением руки он восстановил тишину.

«Мы показывали вам то, что хотели, и то, что мы в состоянии сделать, если все воли будут направлены к одной цели; если со своей стороны вы поддержите нас, — то у вас будет настоящее искусство». После этих слов он ушел и потом снова несколько раз выходил на вызовы. Ницше смотрел при свете рамп на своего учителя, и один во всем зале не аплодировал.

«Вот, — думал он, — мой союзник... Гомер, оплодотворивший Платона».

Занавес опустился в последний раз, и Ницше, затерянный в толпе, как щепка, понесся по ее течению.



V

Кризис и выздоровление





Ницше вернулся после байройтских торжеств в Базель. Больные и слабые глаза мешали ему работать, и он должен был взять себе в помощь двух друзей; одного из них, молодого студента по имени Кёзелиц, он прозвал Петер Гаст, — прозвище это так и осталось за ним, — другой был Пауль Ре, умный и бойкий еврей, с которым он познакомился 2 года тому назад. Благодаря их преданной помощи, Ницше мог перечесть свои заметки, написанные в Клингенбрунне; он надеялся найти в них материал для второго «Несвоевременного размышления». Пауль Ре печатал в это время свои «Психологические наблюдения», разработанные им по английским и французским источникам, Стюарту Миллю и Ларошфуко. Ницше прослушал эту книгу и отнесся к ней одобрительно, его восхитил осторожный ход мыслей автора; слушать Ре было для него как бы отдыхом после напыщенной байройтской атмосферы. Он решил примкнуть к школе Ре и его учителей. Но ни на одну минуту Ницше не мог забыть о той пустоте, которая образовалась в его душе после разрыва с Вагнером.

«В данный момент, — пишет он в сентябре 1876 года, — у меня много свободного времени для того, чтобы отдаться воспоминанию далекого и недавнего прошлого, так как мой окулист надолго засадил меня в темную комнату. Осень после такого лета для меня и, конечно, не для меня одного, представляет, более чем когда-либо, именно с е н ь . Сделав решительный шаг, я впал в еще более мрачную мелан-

холию, и я не знаю, что мне делать для того, чтобы выйти из такого состояния, бежать ли в Италию или уйти с головой в работу, или сделать и то и другое.»

Ницше получил просимый отпуск, а вместе с тем и то единственное счастье, которое он имел в жизни, — уверенность, что в продолжение нескольких месяцев он будет совершенно свободен от своих постылых университетских обязанностей.

В конце октября он покидает Швейцарию в сопровождении Альфреда Бреннера и Пауля Ре; они спустились до Генуи, а затем на пароходе поехали в Неаполь, где их ожидала m-lle Мейзенбух.

«Я нашла Ницше, — пишет она, — немного разочарованным; ему были чрезвычайно неприятны самый переезд и высадка в Неаполе, среди кричащей назойливой толпы. Вечером, впрочем, я пригласила всех троих сделать прогулку в экипаже в Позилиппо. Вечер был так красив, как он только может быть в Неаполе; небо, земля и море — все дышало чудными, неописуемыми красотами, и вся душа была полна их очаровательной музыкой, звукам которой чужда всякая дисгармония. Я наблюдала за игрой лица Ницше, видела, как сначала оно осветилось радостью, почти детским изумлением, как потом глубокое волнение охватило его, и он разразился восторженными похвалами; я приветствовала этот восторг перед природой как доброе предзнаменование».

M-lle Мейзенбух наняла виллу — бывший пансион, — построенную на крутом спуске к морю, до самого берега покрытом оливковыми и лимонными деревьями, кипарисами и виноградниками. «В нижнем этаже, — пишет она, — были комнаты с балконами для моих гостей; во втором — комнаты для меня и для моей горничной и большая гостиная для общего пользования».

Она поместила своих гостей в этой специально для

них нанятой одинокой вилле, но им не сразу пришлось наслаждаться своим покоем и уединением — рядом с ними поселился слишком знаменитый для этого сосед. Вагнер со всем своим штатом приехал отдыхать в Сорренто после байройтских трудов и триумфа.

Беспокойная нервная работа ничем не отразилась на его здоровье, дни он проводил в прогулках по окрестностям, вечера в дружеских беседах. М-лле Мейзенбух и ее друзья составляли как бы его придворную свиту.

Ожидал ли Ницше встретиться здесь со своим учителем? Мы не знаем этого. Он не мог, конечно, совершенно отстраниться от общих прогулок и вечеров, но все время держал себя в некотором отдалении. Пока Вагнер говорил о своих будущих планах и о ближайших своих произведениях, о религиозных идеях, которые он собирался проводить в них, Ницше охотно уходил вдвоем с Паулем Ре, и два новых приятеля целыми часами беседовали о Шамфоре и о Стендале. Рихард Вагнер неодобрительно смотрел на новую дружбу Ницше; он вообще не любил евреев, и Ре ему определенно не нравился. «Остерегайтесь этого человека, — говорил он Ницше, — он темногого стоит»; но Ницше, несмотря на предостережение учителя, ничем не переменял своего отношения к Ре. По-прежнему он мало говорил, и если вмешивался в разговор, то обнаруживал какое-то неестественное одушевление, искусственную веселость. М-лле Мейзенбух не раз изумлялась этому.

«У меня никак не могло явиться подозрение, что чувства Ницше переменялись, — пишет она, — и я всею душою отдавалась счастью быть около Вагнера; для меня это было как бы продолжением байройтских дней. Я испытывала такую радость, чувствуя себя окруженной этой интимной обстановкой, что однажды, когда мы сидели за столом, я процитировала мою любимую мысль Гёте: «Счаст-

лив тот, кто без ненависти к окружающим удаляется от мира, прижимает к груди своего друга и вместе с ним переживает то, о чем не знают и не подозревают люди, то, что только ночью проникает в лабиринт сердца». Супруга Вагнера, которая не знала этого изречения, пришла от него в восторг и просила меня повторить его. Увы! Я и не подозревала тогда, что демоны, которые тоже блуждают ночью по лабиринтам нашего сердца, с затаенной враждебностью следят за сокровенной тайной родства и сближения высоких человеческих умов, уже сеяли тогда семена раздора и разрыва.»

В конце ноября Рихард Вагнер уехал из Сорренто, и жизнь m-lle Мейзенбух и ее друзей вошла в свою нормальную колею. Они распределили свой день по часам: до полудня каждый из них работал в своей комнате; затем часть дня посвящалась разговорам и прогулкам; при наступлении сумерек каждый опять уходил работать к себе в комнату; затем следовал обед, вечер проходил за общим чтением. Единственный здоровый из всех человек, Пауль Ре читал вслух; у Ницше и m-lle Мейзенбух были очень слабые глаза, у Бреннера больные легкие. Что же он читал? Еще не изданный курс Якоба Буркхардта об эллинской культуре (один базельский студент одолжил ему свои записки), немного из Мишле, Геродота, Фукидида. Время от времени кто-нибудь из слушателей прерывал чтение каким-нибудь замечанием, вопросом, заключительное же слово в этих мимолетных спорах всегда принадлежало Ницше.

«Сколько мягкости, сколько добродушия было тогда в характере Ницше! — восклицает m-lle Мейзенбух в своем личном рассказе об этом времени. — Как хорошо уравновешивалась разрушительная тенденция его ума добротою и мягкостью его натуры! Никто лучше его не умел смеяться и веселиться от чистого сердца и прерывать милыми шутками серьезность нашего маленького кружка. Вспомни-

нается, как мы сидели все вместе по вечерам. Ницше, удобно поместившись в кресле в тени абажура; наш любезный лектор Ре — за столом около лампы; молодой Бреннер около печки, против меня, помогает мне чистить апельсины. Я часто со смехом говорила им: право же, мы все составляем идеальную семью: мы четверо очень мало знаем друг друга, не связаны никакими узами родства, у нас нет никаких общих воспоминаний, и теперь мы живем совместно и совершенно независимо друг от друга и в полном душевном согласии. Скоро мы все начали строить планы о том, чтобы повторить, но уже в более широком масштабе, этот счастливый опыт».

Почему, в самом деле, ежегодно не собираться в этом итальянском уголке, почему не приглашать сюда своих друзей и не основать, таким образом, род духовного убежища, вне всякой школы и церкви? После 1848 года m-lle Мейзенбух учредила в Гамбурге род социалистического фаланстера, и воспоминание об этом заняло одну из самых лучших глав ее книги и было одним из самых высоких воспоминаний ее жизни. Ницше еще до сего времени не покинул своей исконной мечты о языческом монастыре, и, таким образом, мечты старой m-lle Мейзенбух совпадали с мечтами ее молодого приятеля. Пауль Ре и Альфред Бреннер вовсе не отказывали в своей помощи этому делу, и четверо друзей самым серьезным образом обсуждали детали своего плана.

«Мы даже стали искать подходящее помещение, потому что жить мы намеревались среди очаровательной природы Сорренто, а не среди душной городской атмосферы. Недалеко от берега мы нашли несколько гротов, углубленных человеческим трудом, точно несколько каменных, выбитых в скалах зал, в которых возвышались даже трибуны, как казалось, нарочно приготовленные здесь для ораторов и лекторов. Здесь в жаркие летние дни мы будем поучать. Свой план школы мы строили больше по греческому, чем по современному образцу, и самое учение должно было быть скорее взаимообучением по примеру перипатетиков...»

«Моя идея о школе воспитателей, — пишет Ницше своей сестре, — или, если хочешь, о современном монастыре, идеальной колонии, свободном университете, все время носится в воздухе. Что ждет эту идею в будущем, никто этого не знает. В своем воображении мы уже назначили тебя экономом, администратором нашего общежития на сорок человек».

С наступлением весны Бреннер и Ре уехали из Сорренто; m-lle Мейзенбух и Ницше, оставшись вдвоем, по очереди читали друг другу вслух, но быстро уставали, так как у обоих было очень слабое зрение; большею частью они просто разговаривали; Ницше всегда с одинаковым интересом слушал рассказы своего друга. Она говорила ему о безумном 48-м годе, и Ницше любил эти воспоминания, а особенно ему нравилось, когда она говорила ему о Мадзини.

Ницше не забыл, как свел его случай в дилижансе с этим итальянским героем в апреле 1871 года при переезде через Альпы.

«Не надо останавливаться на полпути, а брать решительно целиком все полное и прекрасное...» Мадзини сообщил ему это гётевское изречение, и оно ассоциировалось у Ницше с памятью о нем. M-lle Мейзенбух познакомилась с Мадзини в Лондоне; она восхищалась его природным умением властвовать, его способностью беспрекословно подчиняться другим, его готовностью всегда служить своему делу, независимо от того, придется ли служить Кавуру или Гарибальди. Мадзини пережил тяжелые минуты унижения; он был забыт в час победы, и только по отношению к нему одному остался в силе приговор об изгнании; кончить свою жизнь ему непременно хотелось в его любимой Лигурии, и он приехал туда умирать под чужим именем, скрывая свою национальность. Доктор, лечивший его, удивлялся, как

англичанин может так чисто и хорошо говорить по-итальянски. «Поверьте мне, — сказал ему умирающий Мадзини, — никто и никогда не любил Италию так сильно, как я». Ницше с восхищением слушал все эти подробности.

«Человек, которого я больше всего на свете уважаю — это Мадзини», — говорил он m-lle Мейзенбух.

Могла ли она подозревать, что ее молодой, полный энтузиазма друг со своей нежной душой, внутри самого себя объявит войну именно этим своим природным качествам, находя, что они мешают ему ясно смотреть на суть вещей? Думала ли она, что Ницше, последователь Шопенгауэра, друг Вагнера, выберет себе теперь новых учителей в лице Ларошфуко, Шамфора, Стендаля? Могла ли она знать, что ее друг, мечтавший с нею о «светском монастыре», теперь, во время своих долгих прогулок, готовил себя на мятежное и одинокое выступление против жизни. Ницше так формулировал правила своей будущей жизни:

«Ты не должен ни любить, ни ненавидеть народа.

Ты не должен заниматься политикой.

Ты не должен быть ни богатым, ни нищим.

Ты должен избегать пути знаменитых и сильных.

Ты должен взять себе жену из другого народа.

Своим друзьям ты должен поручить воспитание твоих детей.

Ты не должен исполнять никаких церковных обрядов».

Наконец m-lle Мейзенбух узнала о духовном перевороте Ницше. В один прекрасный день он вручил ей кипу листов: «Прочитайте, — сказал он ей, — здесь я записал то, что передумал, когда сидел под этим деревом; я никогда не сидел под ним без того, чтобы не обрести какой-нибудь новой мысли». M-lle Мейзенбух прочла рукопись и нашла в ней нового для себя Ницше, крити-

кующего и отрицающего. «Не печатайте этого, — сказала она, — подождите, обдумайте...» В ответ на эти слова Ницше только улыбнулся. Но m-lle Мейзенбух продолжала настаивать на своем мнении, завязался горячий спор; потом, за чтением Фукидида, они помирились.

В начале мая, чувствуя приближение жары, которой он не выносил, Ницше хотел уехать, но m-lle Мейзенбух уговаривала его отложить отъезд; перед утомительным путешествием надо было в достаточной степени набраться сил, но Ницше не хотел ничего слышать.

«Ницше безотлагательно назначил свой отъезд на завтра, — пишет она Роде, — вы ведь знаете, что если он что-нибудь решил, то именно так и поступит, хотя бы небо посылало ему самые грозные предостережения. В этом отношении он, конечно, не похож на античного грека, так как не слушает предсказаний оракула. Он уезжает сейчас, совершенно разбитый, точно так же, как в самую скверную погоду он отправляется гулять; собирается ехать, несмотря на бешеный ветер, свирепствующий на море, прекрасно зная, что он не переносит морской качки, желает непременно ехать на пароходе из Неаполя в Геную». — «Он уже уехал, — пишет m-lle Мейзенбух в другом письме, — даже вид обаятельного, цветущего Сорренто не мог удержать его. Мне бесконечно тяжело было отпускать его в путь одного: он так мало практичен и совершенно не умеет устраивать свои дела. К счастью, море сегодня немного спокойнее. Как мне его жаль! Еще только восемь дней тому назад мы мирно строили планы об его ближайшем и дальнейшем будущем. Он объяснил мне, что потому так внезапно решил уехать, что здешняя весенняя атмосфера несколько ненормально действует на его здоровье, и ему возможно скорее нужно бежать отсюда. Но ведь весной ему всюду будет плохо! В последнюю минуту он, кажется, сам почувствовал, что слишком стремительно решил свой отъезд. Но было уже поздно. Отъезд всех вас очень сильно расстроил меня».

* * *

Ницше поехал лечиться на воды в Розенлау, но не почувствовал никакого облегчения, и тяжелый вопрос о его здоровье по-прежнему угнетал его. В сентябре надо уже было начинать лекции; профессура была для него заработком, он даже любил чувствовать над собою дисциплину ежедневного регулярного труда, но все же это занятие было для него нестерпимой скукой. У него была надежда, что базельские власти во внимание к его трудам и его болезни дадут ему окончательный отпуск и наградят достаточной пенсией. М-лле Мейзенбух советовала ему уйти из университета, сестра же его, наоборот, стояла за то, чтобы он остался на службе, и Ницше послушался ее совета. Но чем ближе становился срок возвращения в Базель, тем труднее было Ницше с этим примириться.

«Я хорошо знаю и чувствую, что меня ждет более высокое будущее, — пишет он Марии Баумгартен, матери одного из своих учеников, помогавшей ему работать. — Я могу, конечно, работать как филолог, но я нечто большее, чем простой филолог. Я сам искажил себя. Я постоянно думаю об этом последние 10 лет. Теперь, после того как я целый год прожил вдали от людей, — все стало для меня чрезвычайно простым и ясным (я не могу выразить вам, насколько я чувствую себя богатым радостью и творцом ее, *наперекор* всем моим страданиям, как только останусь наедине с самим собою). Теперь я могу с полной уверенностью сказать, что возвращаюсь в Базель не для того, чтобы там *остаться*. Что будет дальше, я не знаю, но (как бы ни были скромны мои материальные условия) я завоюю себе свободу».

Сестра Ницше приехала в Базель и поселилась вместе с ним. Сначала он очень обрадовался ее приезду, но скоро ему пришлось убедиться в том, что говорить им

друг с другом чрезвычайно трудно: сестра Ницше была страстной поклонницей Вагнера, безраздельно преданной байройтским идеям. Один только Пауль Ре мог составить ему компанию, но нездоровье задержало его в Северной Германии, и он не мог, как на это рассчитывал Ницше, приехать в Базель.

«Скоро ли наконец я узнаю, — писал ему Ницше, — что злые демоны болезни оставили вас в покое. Все, чего я желаю вам в наступающем году, это чтобы вы остались таким же, каким были раньше, и чтобы для *меня* вы были тем же, что и прежде. Позвольте мне вам сказать, что никогда еще у меня не было такого мягкого нежного друга, как вы. Когда я слышу о ваших работах, то изнемогаю от досады, до такой степени мне хочется быть около вас. Мы созданы для чуткого понимания друг друга, и мне кажется, что, встречаясь друг с другом, мы чувствуем себя как добрые соседи, которым одновременно пришла в голову мысль посетить друг друга, и они встречаются на границе их владений. Когда же наконец не письменно, а непосредственно, лично мы будем с вами обсуждать судьбы человечества?»

В декабре Ницше пишет Ре: «Десять раз на дню я вспоминаю о вас и мне нестерпимо хочется видеть вас...» Несмотря на тоскливое настроение, Ницше кончает свою книгу, или, вернее, не то чтобы кончает ее, а набрасывает свои заметки по свободному вдохновению. Он заносит свои мысли на бумагу в том порядке, как они приходят ему в голову, без всякой связи их между собой, и хочет, чтобы в таком виде его заметки и оставались. Слабое состояние здоровья мешает Ницше привести их в порядок, но он и не жалел об этом. Ему приходят на память великие французы, которых он так любил за их прямодушие, — Паскаль, Ларошфуко, Вовенарг, Монтень. По их примеру, он хочет оставить свои заметки в беспорядочном виде, ничем не прерывая их

свободного течения. Ему хочется написать самую простую книгу, призывающую к благоразумию несколько поспешное воодушевление его современников. Вокруг Вагнера в Байройте собралось бесчисленное множество разных «прекрасных душ». Сам Ницше, чуть-чуть не попавший в их число, хотел теперь, подобно древнему Сократу, высмеять их веру. Он выбрал следующее заглавие для своей новой книги: «Человеческое, слишком человеческое». Только в самом конце своей сознательной жизни он объяснил значение этой книги.

«Держа факел в руке, — писал он, — и пламя мое не дымило, я осветил ярким светом подземный мир Идеала. Это была война, но война без порохового дыма, без всяких военных приемов, без пафоса, без вывихнутых членов, — все это было бы опять возвращением к «идеализму». Одно заблуждение за другим; я брал и прикладывал их ко льду, и Идеал не избежал общей участи — он замерз. Здесь, например, замерзает «Гений», в другом углу «Святой», под толстым слоем льда «замерзает «Герой», так называемое «Убеждение», иначе «Вера», и, наконец, значительно охлаждается «Сострадание», — словом, всюду почти замерзает «вещь в себе»...

Как парадоксальна эта книга! Нет более увлекающегося человека, чем Ницше, никто больше его самого не верит в его труд, в его личную миссию, в высокие задачи жизни, и он же принимается за осмеяние всего этого. Он опровергает все до сих пор защищаемые им тезисы. «*Pereat veritas, fiat vita*», — восклицал он. Теперь он говорит: «*Pereat vita, fiat veritas*». Науку он ставит выше поэзии; Сократа, которого он раньше поносил, он ставит выше Эсхила. Конечно, он хорошо знает, что это одно только притворство, что высказываемые мысли в действительности вовсе не принадлежат ему. Он вооружается иронией на время очень кратковременного боя, потому что ирония совершенно не в его характере.

Он стремится найти и найдет, он убежден в этом, никому неведомый лиризм, достойный вдохновить его творчество лиризм. «Человеческое, слишком человеческое» — это только символ критического переходного времени, но какого захватывающего кризиса и какого трудного перехода! «Книга готова, — пишет Ницше, — я же лежу в постели и могу этому только удивляться...»

3 января 1877 года он получил от Вагнера поэму «Парсифаль»; прочитав ее, он еще глубже почувствовал, какая пропасть отделяет его теперь от прежнего учителя. Он пишет барону Зейдлицу:

«Первое впечатление от поэмы — более похоже на Листа, чем на Вагнера, веет духом контрреформации; для меня, слишком привыкшего к греческой атмосфере, все это кажется только слишком ограниченным христианством; психология крайне фантастична; нет плоти и слишком много крови (очевидно, Тайная Вечеря слишком для меня кровава); я не люблю истерических горничных... Самый язык кажется мне переводом с иностранного. Разве не самая высокая поэзия — развитие различных положений? Никогда еще музыкант не ставил более высокой задачи музыке».

В этом письме Ницше высказывает вполне свою мысль. Некоторые выражения («нет плоти и слишком много крови») указывают нам на признаки того уже сильного и деятельного отвращения к христианству Вагнера, которое вполне выяснилось десять лет спустя. Он продолжает любить своего несравненного учителя и в первый раз ему приходится ясно и определенно поставить себе вопрос о разрыве с ним. Что он ему напишет о впечатлении, произведенном на него «Парсифалем»? В каких выражениях? Быть может, более простой и откровенный выход — не отвечать вовсе?..

Тоска и сомнение все сильнее мучат Ницше. Мы мало знаем об этом периоде его жизни; письма к Пау-

лю Ре, которые могли бы дать вам по этому поводу некоторые указания, — не опубликованы.

Начиная с Рождества 1877 года у Ницше было больше свободного времени, так как часы его лекций были сокращены. Он пользовался этими перерывами между занятиями, каждую неделю уезжал из Базеля и бродил один по окрестностям. Его не тянуло на высокие горы; эти «чудовища» ему не нравились; он предпочитал им Юру и Шварцвальд, лесистые возвышенности, напоминавшие ему его родину.

О чем он в это время думал? Легко об этом догадаться, — конечно, только о Вагнере и о своей книге. Прошло по крайней мере два месяца, а он ничего еще не ответил Вагнеру по поводу «Парсифаля». «Человеческое, слишком человеческое» было уже напечатано, и издатель ждал приказаний Ницше. Но каким образом предупредить Вагнера, как подготовить его к восприятию такой неожиданной для него книги? Ученики приучили его к самым почтительным похвалам, к низкопоклонничеству и угодливости. Ницше хорошо знал, какой взрыв возмущения вызовет его независимая книга у байройтских «святош». В самый последний момент он испугался своего вызова; отношение публики беспокоило его так же, как и сам Вагнер; ему было стыдно за философию, которую он выдавал за свою. Но были написаны уже целые страницы, и всякие сожаления он считал напрасными; он поступил так, как и должен был поступить, последовал жизненной логике, руководившей его умом. Но он предчувствовал, что эта же самая логика приведет его в один прекрасный день к новому лирическому выводу, и потому он счел за лучшее замаскировать немного эту «интермедию» в течение нескольких переходных лет. Оригинальная мысль пришла ему в голову: книга появится без его имени; он опубликует ее загадочно, не называя имени автора; один толь-

ко Рихард Вагнер будет посвящен в эту тайну, один он будет знать, что «Человеческое, слишком человеческое» есть произведение его друга, его ученика, все еще в глубине души верного ему. Ницше составил длинный проект письма, который дошел до нас.

«Я посылаю вам эту книгу «Человеческое, слишком человеческое» и открываю вам и вашей достойной жене с полной откровенностью мою тайну, но она должна быть также и вашей. Автор этой книги — я... Я нахожусь сейчас в положении офицера, взявшего редут; он ранен, но взобрался на верхушку вала и размахивает знаменем. В душе моей, несмотря на весь ужас окружающего, больше радости, гораздо больше радости, чем горя. Я вам уже говорил, что не знаю решительно никого, кто «философски был бы действительно согласен со мной. В то же время я льщу себя надеждой, что я мыслитель не как индивид, а как представитель известной группы; своеобразное чувство одиночества и общества... Самый быстрый герольд не знает в точности, мчится ли за ним кавалерия и существует ли она даже в действительности...»

Издатель не согласился на аноним, и Ницше должен был отказаться от своей идеи. Наконец он решил; в мае 1878 года Европа собиралась отмечать сотую годовщину смерти Вольтера. Ницше решил, что книга его выйдет именно в момент этого-то торжества и что он посвятит ее памяти великого памфлетиста.

* * *

«В Норвегии называют период, когда солнце не показывается на горизонте, порою тьмы, — пишет Ницше в 1879 году, — в течение этого времени температура медленно и непрерывно понижается. Какой чудесный символ для всех тех мыслителей, для которых временно скрылось солнце человеческого будущего!» Ницше

пережил такой «период тьмы». Эрвин Роде не одобрил его книги; Вагнер ничего не ответил; но Ницше знал, что говорят о ней в кругу учителя. «Карикатурист Байройта — или неблагодарный человек, или сумасшедший», — говорили в Байройте. Кто-то (подозревают, что это был Герсдорф) прислал из Парижа ящик на имя Ницше, из которого он и его сестра Лизбет вынули бюст Вольтера с короткой приложенной к нему запиской: «Душа Вольтера приветствует Фридриха Ницше». Лизбет не могла примириться с мыслью, что ее брат, немец до глубины души, взял в руки знамя француза и еще какого француза, и горько заплакала.

Конечно, некоторые из друзей отнеслись иначе к его книге: «Ваша книга олицетворяет собою независимый ум, — говорил Якоб Буркхардт. — Ни одна книга не могла разбудить во мне столько мыслей, как ваша: это точно разговоры Гёте с Эккерманом». Петер Гаст и Овербек с женой остались по-прежнему друзьями Ницше. Ницше был спокоен, хотя «Человеческое, слишком человеческое» не имело успеха; Вагнер, по слухам, забавлялся тем, что книга не расходуется среди публики. «Вот видите, Фридриха Ницше читают только тогда, когда он защищает наши идеи, в противном случае им никто не интересуется», — подтрунивал он над издателем.

В августе 1878 года байройтский журнал раскритиковал и осудил книгу Ницше. «Каждый немецкий профессор должен хоть раз в жизни написать книгу, — писал анонимный автор, в котором Ницше, казалось, узнал Вагнера, — для того, чтобы достигнуть некоторой степени известности; но так как не каждому удастся отыскать истину, то он для достижения желанного эффекта — доказывает полную бессмыслицу взглядов своего предшественника. Эффект тем больший, чем значительнее этот поносимый им мыслитель».

Такой низкий полемический прием привел Ницше в

отчаяние. Он хотел было в ясном и почтительном тоне изложить свое отношение к своим прежним учителям — Шопенгауэру и Вагнеру, но потом решил, что время учтивости миновало, и, принявшись снова за свои итальянские рукописи, он пишет продолжение «Человеческого, слишком человеческого».

В сентябре, когда уехала его сестра, Ницше ведет одинокий, унылый образ жизни, о котором мы имеем самые краткие сведения. Его избегают и, боясь его нескрежденности, уклоняются от общения с ним. Он часто встречается в университете с Якобом Буркхардтом; ученый историк ловко маневрирует и уклоняется от разговоров с ним; Буркхардт уважает своего коллегу, но боится его. Ницше тщетно старался приобрести новых учеников. «Я, как настоящий корсар, охочусь за людьми, — пишет он, — не для того, чтобы взять их в плен, но чтобы увести их с собой на свободу». Дикая свобода, предлагаемая им, не увлекает юношей. Один студент, М. Шеффер, рассказывает нам о Ницше интересные воспоминания: «Я слушал лекции Ницше, которого я знал очень немного. Однажды после лекции мы разговорились и пошли вместе... Светлые облака плыли по небу. «Как быстро несутся эти прекрасные облака», — сказал он мне. «Они похожи на облака с рисунков Паоло Веронезе», — ответил я. Вдруг он внезапно схватил меня за руку. «Послушайте, скоро вакации, я на днях уезжаю, поедemте со мною любоваться облаками в Венеции». Я был застигнут врасплох и пробормотал что-то неопределенное. Ницше отвернулся; лицо его стало холодным, замкнутым, точно мертвым. Он ушел, не сказав мне ни одного слова».

Горе от разрыва его с Вагнером было нестерпимо и нескончаемо. «Такое прощание, когда люди расстаются потому, что по-разному думают и чувствуют, невольно нас опять как бы сближает и мы изо всей силы удара-

емся о ту стену, которую воздвигла между нами природа». В феврале 1879 года Лизбет Ницше написала Козиме Вагнер. Поступила ли она так по совету брата, знал ли он о ее поступке, одобрил ли его — мы ничего не можем по этому поводу сказать. Козима отвечала в царственном, но мягком тоне: «Я не говорю о «Человеческом, слишком человеческом»; единственное, о чем мне хочется вспомнить, когда я пишу тебе, это то, что твой брат когда-то написал для меня несколько самых лучших страниц из всего, что я знаю. Я не сержусь на него; его сломили страдания, он потерял власть над самим собою и этим объясняется его измена». Она добавляет, и в словах ее звучит больше рассудка, чем чувства: «Если же думать, что произведение твоего брата не выражает его окончательно сложившего мировоззрения, то все это мне кажется только смешным. Почти, как если бы Бетховен сказал: я нахожусь в своей третьей полосе. Раньше всего, читая книгу, ясно видно, что сам автор не вполне убежден в своих взглядах; ведь это один только тусклый софизм, и в конце концов он возбуждает только жалость...»

«Разные мнения и высказывания» были продолжением «Человеческое, слишком человеческое» и появились в 1879 году. Но книга эта вызвала не эффект скандала, а только чувство жалости со стороны тех, кто его прежде знал. Состояние его здоровья резко ухудшилось; его мучили боли в голове, глазах, желудке; врачи с беспокойством должны были констатировать необъяснимую и неизлечимую болезнь; им казалось, что Ницше грозит слепота, умственное расстройство; он догадывался о причине их опасений. Пришлось отказаться от поездки в Венецию, где его ждал Петр Гаст; Ницше заперся в своей базельской комнате, закрыл в ней ставни и опустил шторы.

Роде и Герсдорф, тронутые несчастьями своего дру-

га, на которого они возлагали в свое время такие большие надежды, написали Овербеку: «Говорят, что Ницше погиб; напишите подробно, в чем дело».

«Увы, — отвечал им Овербек, — положение его безнадежно». Даже Рихард Вагнер вспомнил о Ницше и забеспокоился: «Могу ли я забыть о нем, моем друге, который с такою яростью покинул меня», — пишет он Овербеку. «Я теперь прекрасно вижу, насколько нелепо требовать условного уважения от человека с такой разбитой и измученной душой, как у него. Надо умолкнуть и проникнуться состраданием. Меня чрезвычайно угнетает то, что я ничего не знаю ни об его жизни, ни об его болезни. Не будет ли это нескромным, если я попрошу вас присылать мне известия о нашем общем друге?»

Узнал ли Ницше о существовании этого письма? Кажется, что нет. За несколько месяцев до этого письма Вагнера он писал в своих заметках: «Благодарность — это мещанская добродетель; она не может относиться к такому человеку, как Вагнер». Как велика была бы его радость, если бы он прочитал слова учителя, так отвечающие его мыслям: «Было бы несправедливо требовать от Ницше условного уважения...»

Овербек и его жена были неотлучно около больного; они написали Лизбет Ницше; она не заставила себя ждать и немедленно приехала и с трудом узнала в этом сгорбившемся, разбитом, постаревшем на 10 лет человеке своего брата; Ницше слабым беспомощным движением руки поблагодарил ее за приезд.

* * *

Ницше решил отказаться от профессорского места и подал в отставку; она была принята, и в виде вознаграждения за его труды он получил пенсию в 3000 фран-

ков. Уезжая из Базеля вместе с Лизбет, Ницше считает себя накануне смерти и завещает ей свою последнюю волю: «Обещай мне, Лизбет, что только одни друзья пойдут за моим гробом, не будет ни любопытных, ни посторонней публики. Я уже тогда не смогу защититься и ты должна будешь защитить меня. Пусть ни один священник и никто другой не произносят над моей могилой неискренних слов. Поручаю тебе похоронить меня, как настоящего язычника, без всяких лживых церемоний».

Ницше тянет в самые тихие, пустынные места, и Лизбет увозит его в долину Верхнего Энгадина; тогда это было еще малоизвестное место; Ницше впервые открывает существование этого отдаленного швейцарского уголка и, поселившись в нем, неожиданно чувствует улучшение. Мягкость и необыкновенная чистота воздуха успокаивают и умиротворяют его, а вид освещенных солнцем лугов благотворно влияет на его утомленное зрение. Ему нравятся разбросанные тут и там озера, напоминающие ему Финляндию; деревушки со звучным названием, население с тонкими чертами лица, говорящими о близкой соседней Италии, по ту сторону ледников... «Здесьняя природа родная мне, — пишет он Роде. — Она меня не поражает; между мною и ею возникло какое-то взаимное доверие». Жизнерадостность выздоравливающего охватывает его; он мало пишет писем, но аккуратно ведет свои заметки и теперь сведения о его жизни, которые раньше давала нам его переписка, мы должны почерпать из его произведений. Вот как он описывает свою прогулку по Энгадину.

«И я в Аркадии!» Я смотрел поверх убегающих, как волны, холмов, поверх суровых сосен и старых елей и увидел маленькое озеро с молочно-зеленой водой. Вокруг меня возвышались разнообразные скалы, земля под ногами пестрела травами и цветами; вблизи паслось, то разбе-

гаясь в резные стороны, то собираясь в одну кучу, небольшое стадо; при свете последних лучей заходящего солнца на фоне соснового леса ярким пятном выделялись несколько отдельно пасущихся коров; другие, находившиеся ближе ко мне, казались более темного цвета; все кругом как бы замерло в предчувствии приближающихся сумерек. Мои часы показывали половину шестого. Бык из стада бродил по белому от пены ручейку; он медленно подвигался вперед, то сопротивляясь быстрому течению, то уступая ему; по-видимому, это занятие доставляло ему своеобразное наслаждение. Стадо стерегли два загорелых, смуглолицых бергамаскских пастуха; из них одна была молодая девушка, одетая мальчиком. Направо, над целым поясом лесов, возвышались отвесные стены скал, снеговые поля; налево виднелись два чудовищных ледяных зубца, окутанные легким туманом. Величественная, спокойная, светлая картина. Эта внезапно открывшаяся мне красота заставляла меня дрожать от восторга и наполняла душу безмолвным восхищением перед этим откровением. Помимо моей воли, как будто это было возможно и естественно (я был свободен от тревог и желаний, ожиданий и сожалений), мне захотелось ввести в этот мир чистого света героев Древней Греции. Надо было чувствовать, как Пуссен со своими учениками, сливать в своих чувствованиях героизм и идиллию. Именно так жили избранные люди, так они органически воспринимали жизнь и в самих себе и во внешнем мире: и среди них внимание мое занимал один из самых великих людей, основатель героической и идиллической философии — Эпикур.»

Ницше прожил в Энгадине до сентября, в самой скромной и даже бедной обстановке; нравственно он чувствовал себя удовлетворенным, хотя и был лишен друзей, музыки и книг. Страдания не мешали ему работать, и скоро исписал он карандашом шесть тетрадей, куда заносил свои скептические, но лишённые всякой горечи мысли, несколько прояснившиеся под влиянием неожиданно мягкого настроения. Он не обманывал

себя и не радовался наступившему улучшению; он знал, что это только некоторая отсрочка и ничего более. Он радовался тому, что, прежде чем окончательно склониться под ударом жизни, он может рассказать другим о том наслаждении, которое дало ему простое созерцание вещей, человеческой природы, гор и неба. И он спешил насладиться последними счастливыми днями. В начале сентября 1879 года Ницше окончил свою книгу и послал ее Петеру Гасту.

«Милый, милый друг, — пишет он ему, — когда вы получите это письмо, моя рукопись уже будет в ваших руках. Может быть, вам передастся то удовольствие, которое я сам сейчас испытываю при мысли, что мое произведение уже окончено. Кончается 35-й год моей жизни, «середина жизни», как говорили тысячу лет тому назад; именно в эти года Данте посетили те видения, о которых он рассказывает нам в своей поэме. Теперь я достиг половины моей жизни, со всех сторон на меня глядит смерть, и я ежеминутно жду ее прихода; жизнь моя такова, что я должен ждать мгновенной смерти, в припадке судорог. И потому я чувствую себя очень старым, тем более, что я сознаю, что дело моей жизни я уже сделал. Я внес в жизнь свою каплю меда и знаю, что это мне будет зачтено перед судом жизни. В конце концов я испытал мой способ жизни и многие испытают его после меня. Мои постоянные жестокие страдания до сих пор не изменили моего характера, наоборот, мне даже кажется, что я стал веселее, добродушнее, чем когда-либо. Откуда только берется эта укрепляющая и оздоравливающая меня сила? Конечно, не от людей, которые все, за исключением очень небольшой кучки друзей, «возмутились против меня» (примечание Галеви: Петер Гаст думает, что здесь есть несомненное влияние Евангелия. Заимствования из Священного писания часто попадают в выражения Ницше) и не стесняются дать мне понять о своем отношении ко мне. Прочтите, друг мой, мою рукопись от начала до конца и посудите сами, обнаруживаются ли в ней какие-нибудь следы страданий и уныния. Я

думаю, что нет, и эта уверенность дает мне право думать, что в моих мыслях должна быть какая-то скрытая сила; вы не найдете в моей рукописи ни бессилия, ни усталости, которые будут отыскивать в ней мои недоброжелатели».

Это был тот период жизни Ницше, когда он готовился к смерти. К какой смерти? Нетрудно отгадать. Это та же «мгновенная смерть в судорогах», от которой умер его сумасшедший отец. Ожидая для себя такой же участи, Ницше с благоговением вспоминает родительский дом. Он был теперь свободен от базельских обязанностей; ничто не мешало ему жить там, где он хотел, и он отказался от поездки в Венецию, куда его звал Петер Гаст; он чувствовал, что для него не время любить и искать новую красоту. «Нет, — говорил он, — несмотря на то, что сестра и Овербек советуют мне ехать с вами, я не поеду. Я нахожусь теперь при таких обстоятельствах, что мне лучше всего подходит поехать к матери, в родной угол, и вернуться к воспоминаниям детства...» и поехал в Наумбург.

Здесь он собирается вести совершенно спокойный образ жизни и отвлечь себя от мрачных мыслей и предчувствий физической работой. В одной из башен старинных укреплений он нанимает себе очень большую комнату; около же подножия башни остался незастроенный клочок земли, который Ницше и нанял для садовых работ. «У меня десять фруктовых деревьев, — пишет он, — розовые кусты, сирень, гвоздика, земляника, крыжовник и смородина. В начале будущего года я разведу десять овощных грядок».

Но все эти проекты рухнули. Зима была жестокая. Глаза Ницше не вынесли ослепительной белизны снега, а сырой воздух совершенно расстроил его нервы; в несколько недель он потерял все приобретенное в Энгадине здоровье.

«Странник и его тень» — книга, корректуру которой держал Петер Гаст, появилась в печати и была, казалось, лучше принята, чем все предыдущие произведения Ницше; он получил от Роде обрадовавшее его письмо; конечно, Роде не высказывал полного восхищения книгой: «От твоего ясного, но бесстрастного взгляда на человечество тому, кто тебя любит и в каждом твоём слове слышит друга, делается очень тяжело на душе». Но в конце концов он все же не может удержаться от восхищения.

«Ты едва можешь догадаться о том, что ты дашь своим читателям, потому, что все твои мысли принадлежат исключительно тебе одному. Но такого голоса, как твой, мы еще никогда не слышали ни в жизни, ни в книгах. И читая твои книги, я продолжаю чувствовать то же самое, что я чувствовал в дни нашей дружбы; я чувствую, что перелезаю в какой-то высший мир, что ты умственно меня облагораживаешь. Особенно глубоко захватывает конец твоей книги. Ты можешь, ты должен подарить нам после этих нестройных звуков, более нежные, священные созвучья... Прощай, дорогой друг; ты по-прежнему так много даешь мне, а я только беру...»

Ницше был счастлив. «Спасибо, дорогой друг, — писал он 28 декабря 1879 года, — ты вернул мне твою прежнюю дружбу; это для меня лучший праздничный подарок». Но письмо было очень короткое, и две последние строчки объясняют нам причину этого: «Здоровье мое находится в ужасном состоянии, мучаюсь я нестерпимо; *sustineo*, *abstineo*, и сам удивляюсь моей выносливости».

В словах Ницше не было преувеличения. Сестра и мать его, присутствовавшие при его страданиях, могут нам подтвердить его слова.

Болезнь свою Ницше переносит как испытание, как духовное упражнение, и сравнивает свою судьбу с судь-

бой других людей, которые были велики в своем несчастье; например, Леопарди; но он не был мужественен; страдая, он проклинал жизнь. Ницше же открыл суровую истину: больной не имеет права быть пессимистом. Христос, вися на кресте, пережил минуту слабости. «Отец мой, зачем ты меня оставил!» — воскликнул он. У Ницше нет Бога, нет отца, нет веры, нет друзей; он намеренно лишил себя всякой поддержки, но все-таки не согнулся под тяжестью жизни. Самая мимолетная жалоба все равно свидетельствовала бы о поражении. Он не сознается в своих страданиях; они не могут сломить его воли, напротив, они воспитывают ее и оплодотворяют его мысли.

«Напрягая свой ум для борьбы со страданием, — пишет он, — мы видим вещи в совершенно ином свете, в несказанного очарования, сопровождающего каждое новое освещение смысла жизни, достаточно иногда для того, чтобы победить в своей душе соблазн самоубийства и найти в себе желание жить. Тот, кто страдает, с неизбежным презрением смотрит на тусклое жалкое благополучие здорового человека; с тем же презрением относится он к своим бывшим увлечениям, к своим самым близким и дорогим иллюзиям; в этом презрении все его наслаждение; оно поддерживает его в борьбе с физическими страданиями, и как оно ему в этой борьбе необходимо! Гордость его возмущается, как иногда радостно защищает она жизнь против такого тирана, как страдание, против всех уголков физической боли, восстанавливающих нас против жизни. Защищать жизнь перед лицом этого тирана — это ни с чем не сравнимый соблазн» (см. «Утренняя заря», с. 114. Книга эта опубликована в 1881 году и дает нам много автобиографических указаний относительно изучаемого нами сейчас периода жизни Ницше.).

Ницше был уверен, что скоро наступит конец. 14 января 1880 года ему захотелось поделиться своими последними мыслями с кем-нибудь из друзей, и он с гро-

мадным усилием написал m-lle Мейзенбух письмо, выражающее его последнее прощание и его духовное завещание.

«Хотя мне строжайше запрещено писать, мне еще один раз хочется написать вам, которую я люблю и уважаю, как любимую сестру. Это будет уже в последний раз, так как ужасные непрекращающиеся муки моей жизни заставляют меня призывать смерть и некоторые признаки указывают мне на то, что я близок к последнему, спасительному припадку. Я уже так страдал, от стольких вещей уже отказался, что, я думаю, во всем мире вы не найдете такого аскета, который мог бы со мной сравниться и чья жизнь была бы похожа на мою жизнь в течение этого последнего года. Но тем не менее я многого достиг. Моя душа приобрела много мягкости и нежности, для этого мне не понадобилось ни религии, ни искусства. (Вы замечаете, я немного горжусь этим, мне нужно было дойти до полного изнеможения, чтобы найти в самом себе тайный источник утешения). Я думаю, что настолько хорошо сделал дело своей жизни, насколько мне это позволило время. Но я знаю, что для многих людей я внес каплю хорошего меда, что, благодаря мне, многие люди обратились к более высокой, чистой и светлой жизни. Я хочу дать вам несколько разъяснений: когда мое «человеческое я» перестанет существовать, это именно и скажут. Никакое страдание не могло и не может свратить меня к ложному показанию против жизни, та-кой, какою я ее знаю.

Кому же другому, как не вам, сказать мне все это? Мне кажется, — хотя, может быть, нескромно так говорить, что у нас с вами удивительное сходство характеров. Например, у обоих нас много мужества, и ни несчастья, ни презрение не могут заставить нас сойти с пути, если только он нам кажется правильным. Оба мы, как в самих себе, так и кругом нас наблюдали много явлений блестящего расцвета, который видели очень немногие из наших современников; мы надеемся для ч е л о в е ч е с т в а и неслышно приносим себя в жертву. Не правда ли?

Имеете ли вы хорошие вести от Вагнера? Вот уже три

года, как я ничего о нем не знаю. Эти люди также забыли меня. Я заранее знал, что Вагнер отвернется от меня, как только узнает, что пути наши разошлись. Мне говорили, что он писал против меня; пускай он сделает это; надо, чтобы каким бы то ни было путем истина вышла наружу. Я всегда с неизменной благодарностью думаю о Вагнере, так как знакомству с ним я обязан наиболее сильным стремлением к духовной свободе.

Madam Вагнер, вы сами это знаете, самая симпатичная женщина, которую я когда-либо встречал. Но отношения наши кончены, а я не из числа тех людей, которые связывают порванные нити; теперь уже слишком поздно.

Примите, мой дорогой друг, сестра моя, привет молодого старика, для которого жизнь не была жестокой, но который все-таки принужден желать смерти.»

* * *

Тем не менее Ницше остался жить; Пауль Ре посещал его и развлекал его чтением вслух. Наконец, угнетавшие Ницше холода сменились более теплой погодой, снег, ослеплявший ему глаза, растаял. Петер Гаст, живший по примеру прошлого года в Венеции, по-прежнему звал Ницше к себе. В середине февраля Ницше с удивлением и радостью почувствовал, что к нему вернулись его прежние силы, его желание жить, его любознательность, и тотчас же уехал.

Месяц он прожил на берегу озера Гарда в Риве, откуда его родные, к великой своей радости, получили от него веселые письма. 13 марта он приехал в Венецию, и это число можно отметить как конец кризиса и начало выздоровления.

До сих пор Ницше еще не любил Италии: из всей страны он знал только озера, но их теплый и влажный, несколько тяжелый воздух плохо на него действовал; затем он знал еще Неаполитанский залив, но неаполи-

танская толпа внушала ему отвращение; красота и величие Неаполя, конечно, покорили, но не очаровали его. Между пышной природой и его страстной душой не установилось никакой близости.

Но Венеция сразу очаровала его; с первого же взгляда, без всякого усилия с его стороны, он нашел в ней то, что давали ему в прежнее время греческие гении, Гомер, Феогнид, Фукидид: а именно, впечатление ясного народа, живущего без сомнений и мечтаний. Сам Ницше в течение четырех лет борется с мечтаниями, сомнениями и обаянием романтического искусства. Красота Венеции приносит ему освобождение, и он с улыбкой вспоминает о своей прежней тоске. Не льстил ли он себе, считая себя самым несчастным из людей? У кого из людей, перенесших страдания, не являлось этой мысли, этой ребяческой гордости самим собой?

«Когда восходит первая заря облегчения и выздоровления, — пишет он, — мы с презрительной неблагодарностью относимся к гордости, помогавшей нам раньше переносить страдания, мы жестоко упрекаем себя в глупости и наивности, — как будто бы с нами случилось что-нибудь исключительное. Мы новыми алчными глазами смотрим на людей и на природу: умеренный свет жизни восстанавливает наши силы, а возвратившееся здоровье снова начинает с нами свою магическую игру. Как бы перевоплощенные, благодушные и немного истомленные, мы созерцаем это зрелище. В таком состоянии нельзя без слез слушать музыку».

Петер Гаст с трогательной добротой не покидал его. Он сопровождал его во всех прогулках, читал ему вслух, играл ему его любимые вещи. В то время Ницше больше всего любил Шопена; в его рапсодиях он находил такой искренний порыв страсти, которого совершенно нельзя найти в немецком искусстве. Без всякого сомнения, именно к Шопену относятся последние слова при-

веденного отрывка: «В таком состоянии нельзя без слез слушать музыку».

Петеру Гасту приходилось также исполнять и секретарские обязанности, так как к Ницше снова вернулась жажда работы и он ежедневно диктовал ему свои мысли. Ницше сразу выбрал заглавие для нового сборника «Под сенью Венеции» (скоро он отказался от этой мысли). Без сомнения, очарование Венеции сообщило ему это богатство и силу образов, эту тонкость переживаний. У Ницше есть теперь энергия для новых опытов. Справедливо ли его мнение, что холодный корыстный расчет определяет поступки людей, что пышная красота, которую являет нам Венеция, создана жалким желанием покоя, благополучия и устойчивости? Венеция единственна в своем роде, но во всяком случае она существует, и этот факт требует объяснения. Чудесная по виду, она хранит в себе чудесную душу. Какие же скрытые пружины движут нашими поступками? По учению Шопенгауэра, жизнь — это чистая *воля жить*; все существующее стремится к утверждению себя в жизни. Этим сказано слишком мало, — думает Ницше. Жизнь непрестанно стремится расшириться и увеличиться; она хочет не сохранять себя, а постоянно расти; ее существо должно быть проникнуто стремлением к завоеваниям и должно пылать восторженным возбуждением. Но как сформулировать такой принцип? Ницше еще пока не знает этого, но подобная идея живет в нем и волнует его. Он знает, что он накануне открытия, на пороге неведомого мира, и он пишет, т. е. вернее — диктует своему другу.

«Наши поступки никогда не бывают тем, чем кажутся. Громадного труда стоило нам понять, что внешний мир не таков, как нам кажется. То же можно сказать и о внутреннем мире. В действительности наши поступки «нечто

иное» — большего сейчас мы не могли сказать, и существо их пока остается неизвестным.»

В июле Ницше пробует лечиться мариенбадскими водами; он поселяется в маленькой расположенной около леса гостинице и гуляет в нем целыми днями.

«Я докапываюсь до самого дна моих моральных залежей, — пишет он Петеру Гасту, — и мне кажется, что я стал совершенно надземным существом; сейчас мне кажется, что я нашел проход, даже выход; сотни раз просыпалась во мне такая надежда, и каждый раз разочарование сменяло ее».

В сентябре Ницше приехал в Наумбург; родные нашли его настроением веселым и общительным, а сестра Лизбет узнала на его лице выражение сладостного счастья, отражающего нам как в зеркале внутреннюю гармонию, полноту и обилие мыслей и образов. 8 октября, боясь приближающихся туманов, Ницше снова спустился в Италию. Он останавливается в Стреза на берегу Лаго Маджоре. Но климат дурно действовал на его нервы и мешал ему думать. Ницше с ужасом почувствовал, что его здоровье и психика находятся в тиранической зависимости от внешнего влияния. Это сознание ужаснуло его: если ему предстоят непрерывные страдания, то хватит ли у него сил для того, чтобы выразить все бесчисленные накопившиеся в его голове философские и лирические идеи? Он видит, что первым долгом надо запастись здоровьем, и решается переехать в Сорренто.

По дороге он останавливается в Генуе, в которой ему сразу все понравилось: веселое, простое и энергичное население, почти летняя температура в ноябре, то, что Генуя как бы сочетает в себе двойную мощь — гор и моря. Ницше нравятся величественные дворцы, протянувшиеся вдоль узких маленьких улиц, памятники, поставленные купцами-пиратами в честь их славного про-

шлого, где не было места сомнению и двойственности. Мечтательный ум Ницше воскрешает давно минувшие времена; воображение его нуждается в этих ясных чеканных образцах средневековой Италии, где люди были жадны, очень далеки от христианского идеала, лгали другим, но были искренни перед самими собою; воспоминание об этом времени помогает Ницше подавить в себе свою неутомимую романтическую мечтательность. Подобно Руссо, он жаждет возвращения к природе; но Руссо страдал от того, что современная ему Европа оскорбляла его религиозные чувства, его любовь к человечеству, его душевную доброту. Ницше живет в другое время, когда тяжеловесная Европа подчинена грубой толпе, оскорбляющей совсем другие чувства; изменилась воодушевляющая его угнетенная природа людей, и Ницше страстно ищет для своей больной души облегчающего и освежающего лекарства.

Он хочет поселиться в Генуе и после некоторых поисков находит себе прекрасное помещение: это была мансарда с очень хорошей постелью; чтобы попасть в нее, надо было подняться на сто четвертую ступень; дом, в котором поселился Ницше, находился на такой крутой и узкой улице, что по ней никто не ходил, а между камнями мостовой росла трава; улица эта называлась — Салита делле Баттиетини, 8.

Ницше ведет жизнь такую же простую, как и его жилище, — это всегда было его заветной мечтой. Он часто говорил своей матери: «Посмотри, как живет простой народ; я хотел бы жить так же, как он». — «Они едят картофель, жир вместо мяса, пьют водку и отвратительный кофе», — отвечала ему, смеясь, мать. — «Ох, уж эти немцы!» — вздыхал Ницше. В генуэзском домике, населенном местной беднотой, были совсем другие обычаи; соседи Ницше жили чрезвычайно скромно; он стал подражать им и очень умеренно питаться, но от

этого мысли его только быстрее и живее двигались. Он купил себе спиртовку и, взяв у своей квартирной хозяйки несколько уроков, сам научился себе готовить ризотто и варить артишоки. Ницше был в своем доме чрезвычайно популярен. Мигрени изнуляли его по-прежнему, и когда он бывал болен, то соседи навещали его и осведомлялись о его здоровье. «Мне ничего не нужно, — отвечал он. — Sono contento». По вечерам, чтобы не утомлять зрения, он в темноте лежал на постели. «Он очень беден», — говорили его соседи. «Немецкий профессор недостаточно богат для того, чтобы жечь свечи». Решено было отнести ему свеч, но Ницше, улыбаясь, объяснил, в чем дело, и отказался. Его называют «святой, маленький святой». Ницше знал об этом прозвище, и оно забавляло его. «Я думаю, — пишет он, — что если бы многие из нас, ведущие умеренный и нормальный образ жизни и обладающие мягким характером и прямоотой, были перенесены в полуварварское время VI—X века, то их почитали бы за святых». В это время Ницше устанавливает следующие жизненные правила:

«Будь независим, никогда не оскорбляй; пусть гордость твоя будет мягкой и сокровенной и не стесняет других людей, пусть не будет в тебе зависти к их почестям и благополучию; сумей также воздержаться от насмешки. Сон твой должен быть легок, манеры свободные и тихие; не употребляй вина, избегай знакомства со знаменитостями, и особами королевской крови, не сближайся с женщинами; не читай журналов; не гонись за почестями; не посещай общества, за исключением людей высокой умственной культуры; если таких людей вокруг тебя не окажется, то обратиться к простому народу (без него так же нельзя обойтись, как без того, чтобы не засмотреться на мощную и здоровую природу); приготовляй себе насколько возможно легкие блюда, и приготовляй их себе сам. Лучше, если пища совсем не будет требовать приготовления...»

Здоровье было для Ницше чрезвычайно хрупким и непрочным благом; всю жизнь приходилось бояться за него, и тем ценнее было всякое его улучшение. Каждый хорошо проведенный день вызывал у него, как и у всякого выздоравливающего, прилив радостного изумления. Вскочив с постели, он моментально одевался, клал в свою дорожную сумку записную книжку, какую-нибудь книгу, хлеба и фруктов и отправлялся бродить по окрестностям. «При первых лучах солнца, — пишет он, — я ухожу на одинокий утес, омываемый волнами, и вытягиваюсь на нем под зонтиком во весь рост, как ящерица, лежу и вижу перед собой только море и чистое небо». Ницше оставался в таком состоянии до самых сумерек, когда так приятно отдыхали его часто лишаемые света больные глаза; естественно, что всякое улучшение зрения неопишимо радовало его.

«Перед моими глазами расстилается море, и я могу забыть о существовании города. Далекие колокола звонят «Ave Maria», и до меня доносятся на грани дня и ночи эти грустные и немного нелепые звуки; еще минута — и все смолкает! Отчего не может говорить это бледное, еще светящееся от солнца море! Окрашенные в самые тонкие неуловимые цвета облака пробегают по небу на фоне ежедневно повторяющейся вечерней зари; и небо тоже молчит. Небольшие утесы и подводные камни скрылись в море, как бы в поисках последнего убежища. Все молчит, все лишено дара слова. Душа моя растворяется в этом подавляющем, красивом и жестоком молчании.»

Сколько раз Ницше прославлял этот час, когда, по его словам, «самый бедный рыбак гребет золотыми веслами». Он собирает в это время плоды истекшего дня, записывая свои мысли в том виде, как они ему приходили в голову, сохраняя весь их своеобразный напев. Ницше продолжает свои размышления на тему, заинтересовавшую его в Венеции. Что такое человеческая

энергия? В чем смысл ее желаний? Чем объясняется беспорядочность ее истории, *«трясина человеческой морали»*. Теперь Ницше знает, что одна и та же властолюбивая и жестокая сила толкает одного человека против другого, а аскета против самого себя. Ницше чувствует себя обязанным проанализировать, определить сущность этой силы, чтобы научиться управлять ею; именно эту задачу он ставит себе и верит, что в один прекрасный день он решит ее. Ницше охотно сравнивает себя с великими мореплавателями, с капитаном Куком, который три месяца с лотом в руках плавал среди коралловых рифов. В этом, 1881 году героем Ницше был генуэзец Христофор Колумб, который задолго до того, как показалась земля, заметил на волнах маленькую полевую травку, вынесенную в открытое море каким-нибудь неведомым бурным речным потоком.

«Куда мы идем? — пишет он. — Хотим ли мы отправиться за море? Куда влечет нас эта всемогущая страсть, подчиняющая себе все наши другие страсти? Зачем этот отчаянный полет, по направлению к той точке, где до сих пор склонялись и потухали все солнца? О нас, может быть, точно так же скажут в один прекрасный день, что, правя рулем на запад, мы надеялись достигнуть неизвестного пути в Индию, но что наша судьба заключалась в том, чтобы погибнуть перед бесконечностью. Но куда же, друзья мои, куда же?»

Ницше очень любил эту полную лиризма страницу; он поместил ее в конце своей книги финальным гимном. «Есть ли еще хоть одна книга, кончающаяся такими словами?» — писал он.

В конце января он кончает работу, но у него не хватает сил переписать рукопись; у него дрожат руки и слишком слабы и утомлены глаза, и он решает послать рукопись Петеру Гасту. 13 марта рукопись была переписана, Ницше написал об этом издателю.

«Вот рукопись, с которой мне очень трудно расстаться. Но теперь спешите, спешите, спешите! Я уеду из Генуи тотчас же, как появится моя книга, а до этого времени буду жить, как на раскаленных углях. Поторопите же дело в типографии. Не может ли хозяин типографии дать вам письменное обещание, что самое позднее в конце апреля книга будет у меня в руках, готовая и оконченная? Дорогой господин Шмейцнер, пусть на этот раз каждый из нас постарается сделать все от него зависящее. Вы не представляете себе, как важно содержание моей книги. Ведь это долг нашей чести, чтобы она вышла в свет без малейшего изъяна, без единого пятнышка, в достойном ее виде. Заклинаю вас сделать для меня еще одно — никакой предварительной рекламы. Я бы еще много мог сказать вам обо всем этом, но вы все поймете сами, когда прочтете мою книгу».

Издатель прочел книгу, но понял в ней очень мало и не проявил никакого энтузиазма. В апреле Ницше все еще жил в Генуе и ждал корректуры. Он надеялся захватить своих друзей врасплох присылкой совершенно неожиданной для них книги и поэтому пока никому ничего не говорил, кроме Петера Гаста. В конце концов он решил отказаться от всей сладости тайны и написал сестре: «У меня хорошая новость: большая, новая книга! Книга эта решает много вопросов, и я не могу думать о ней без глубокого волнения». В мае Ницше поехал к Петеру Гасту в деревушку Rescordero, в Венецианскую область у подножия Альп. Нетерпение его росло с каждым днем; задержка со стороны издателя мешала свободному ходу его новых уже назревших мыслей.

«Утренняя заря» — таково было окончательное заглавие этой книги, которая появилась в свет в самый неблагоприятный для нее момент — в июле.

N

VI

Заратустра





I

Вечный возврат

Ницше смотрит на свою «Утреннюю зарю» как на произведение выздоровевшего, для которого и чувства и идеи служат только умственной забавой и который в каждом из них черпает удовольствие либо в злобной насмешке, либо в порыве искренней любви. Но такой игре должен был наступить конец. «Я, — думал Ницше, — должен выбрать одну из этих открывшихся на моем пути идей, должен безраздельно отдаться одной из них, выразить ее с должной силой и завершить таким образом мои года уединенного ожидания». — «В мирное время, — пишет он, — всякий человек с воинственными наклонностями обращается против самого себя». Но едва окончив одну борьбу, Ницше уже ищет случая начать другую.

До половины июля он остается в Венецианской области, у подножия итальянских Альп, но наступившая жара принуждает его искать более прохладного места. Он вспомнил о тех высоких альпийских долинах, в которых два года тому назад так скоро вернулись к нему его силы и радостное настроение. Он решил вновь поехать в Швейцарию и поселился в Энгадине в деревушке Силс-Мария. За один франк в день он имел комнату в деревенском домике, а из соседней харчевни ему при-

носили обед. Мало кто проходил мимо его дома, а если у Ницше являлось желание поболтать с кем-нибудь, то он шел в гости к местному учителю или кюре, у которых об этом странном, но добром, скромном и образованном немецком профессоре сохранились самые лучшие воспоминания.

В эти дни мысли Ницше были заняты разрешением проблем натуралистической философии. В то время еще новая система Спенсера была в большом ходу, но Ницше относился с презрением к ее космогонии, претендовавшей заменить собою христианство и в то же время остававшейся в его власти. Спенсер отвергает Провидение, но верит в прогресс. Он учит, что между движением вещей и желаниями человека существует вполне реальное согласие. В мире, из которого он изгонял Бога, он оставлял звучать гармоничные христианские мотивы. Ницше был последователем других, более мужественных, философских систем; его привлекало учение Эмпедокла, Гераклита, Спинозы, Гёте, этих мыслителей с ясным взглядом на суть вещей, которые могут изучать природу, не требуя от нее никакого удовлетворения своим желаниям. Он остается верным этим учителям и чувствует, как с каждым днем в нем зреет и крепнет новая великая идея.

В письмах его этого времени мы можем усмотреть следы охватившего его волнения; он чувствует всю необходимость одиночества и дорожит им. «Утренняя заря» чрезвычайно понравилась Паулю Ре. Он почувствовал непреодолимое желание поехать и лично выразить Ницше свой восторг; когда Ницше узнал об этом намерении своего друга, то его охватило отчаяние.

«Моя милая Лизбет, — пишет он сестре, — у меня не хватает решимости написать Ре, чтобы он не приезжал, а между тем я чувствую, что встречу, как врага, к а ж д о г о , кто придет и своим приездом прервет мою настоящую ра-

боту; в окончании ее заключается мой долг, «единственное, что мне необходимо». Для меня невыносима одна мысль увидеть живое существо здесь, среди так тесно обступивших меня со всех сторон мыслей; если я не найду лучшего средства отстоять мое одиночество, то, клянусь тебе, я на несколько лет уеду из Европы. Я не могу больше терять даром ни одной минуты».

Лизбет предупредила Пауля Ре о состоянии брата, и он не поехал к нему.

Наконец Ницше нашел ту мысль, предчувствие которой так глубоко волновало его. Однажды он шел лесом из Силс-Мария в Силвапланд и сел отдохнуть у подножия пирамидальной скалы, недалеко от Surlée; именно в эту самую минуту и на этом месте у него зародилась мысль о «Вечном возврате». Время, в своем бесконечном течении, в определенные периоды должно неизбежно повторять одинаковое положение вещей. Это необходимо; значит, необходимо и то, что всякое явление повторяется. Следовательно, через бесконечное, неограниченное, непредвидимое количество лет человек, во всем похожий на меня, полное воплощение меня, сидя в тени этой скалы, найдет в своем уме ту же мысль, которую нашел сейчас я, и эта мысль будет являться в голове этого человека не один, а бесчисленное количество раз, потому что движение, управляющее всеми явлениями, безостановочно. Если так, — то всякая надежда должна быть отвергнута, и мы должны определенно установить себе, что никакая небесная жизнь не встретит нас и что в будущем нас не ждет никакое утешение. Мы только тени слепой однообразной природы, мы пленники минуты. Но надо помнить, что эта страшная идея, убивающая в нас всякую надежду, облагораживает и одухотворяет каждую минуту нашей жизни: мгновение непреходяще, если оно вечно возвращается; малейший миг является вечным памятником бес-

конечной ценности, и каждый из них божественен, если только слово божественный имеет какой-нибудь смысл. *«Пусть все беспрерывно возвращается, — пишет он, — это есть высшая степень сближения между будущим и существующим миром: в этом вечном возврате заключается высшая точка мышления»* (Эта формула дана в парагр. 286 книги *«Воля к действию»*).

Волнение Ницше, которое он испытал в ту минуту, когда ему открылась вся глубина этой мысли, было так сильно, что он не вынес его, заплакал и долго потом не мог удержаться от слез. Значит, усилия его не были тщетны; он не пал духом при виде действительности, не остался чужд пессимизма; напротив, доведя до последних пределов идею пессимистического жизнепонимания, Ницше открыл доктрину Возврата, который, оделяя самые мимолетные явления вечностью, дает каждому из них лирическую силу, религиозную ценность, столь необходимую для души. В нескольких словах Ницше формулирует свою мысль и добавляет число: «в начале августа 1881 г. в Силс-Марии, 6500 футов над уровнем моря и гораздо, гораздо выше всего человеческого».

В продолжение нескольких недель Ницше находился в состоянии, полном тоски и восхищения; подобные переживания, без сомнения, знакомы мистикам, и их словоупотребление как нельзя лучше подходит к данному случаю. Он испытывал какое-то чувство священной гордости, но в то же самое время он испытывал некоторый страх; вся душа его дрожала от ужаса, подобно тому как в прежнее время израильские пророки трепетали перед Богом, отправляясь по его приказу на проповедь к людям. Несчастный, раненный жизнью, человек с невыразимым ужасом смотрел в глаза «Вечному возврату». Он весь превратился в напряженное ожидание, что было для него сплошной пыткой, но он

любил эту пытку и отдавался своей новой мысли, как аскет обрекает себя на мучение. «*Lux tua crux tua Lux*», — писал он в своих заметках. Возбуждение его дошло, наконец, до крайних пределов и даже испугало его, так как мысль о грозившей его жизни постоянной опасности сумасшествия ни на одну минуту не покидала его.

«На моем умственном горизонте появились новые мысли, и какие мысли! — пишет он Петеру Гасту 14 августа. — Я никогда и не подозревал в себе возможности появления таких мыслей. Большого я тебе не скажу, я не хочу нарушать своего внутреннего спокойствия. Увы, друг мой, предчувствия иногда не дают мне покоя, мне кажется, что жизнь, которую я веду, вредно отзывается на моем здоровье, так как моя организация — это такая машина, которая легко может взорваться на воздух! Эти глубоко проникшие в меня мысли и чувства вызывают у меня и стоны, и смех; уже два раза я принужден был по нескольку дней не выходить из моей комнаты и почему? Причина была очень смешная: у меня было переутомление зрения и после того, как на прогулках я слишком много плакал, и не сентиментальными, а радостными слезами; я пел и говорил безумные вещи оттого, что был весь полон моей новой идеей, которую я должен изложить человечеству...»

С этого момента Ницше задает себе новую задачу. Он считал, что все, сделанное им до последнего времени, было только черновым опытом, слабой попыткой, а что теперь настало время для того, чтобы создать уже настоящее произведение. Но какое? Он колеблется и не знает, какому из трех борющихся у него в душе начал отдать предпочтение: художнику, критику или философу. Изложить свою доктрину в форме определенной системы? Он не может сделать этого, потому что философия его — чистая символика, и она требует лирических и ритмических форм. Не мог ли

бы он возобновить ту забытую, созданную мыслителями древнейшей Греции форму, пример которой дает нам между прочим Лукреций? Эта идея увлекает Ницше; он решается изложить в поэтической форме свое понимание природы или же придать ей вид музыкальной, скандированной прозы. Ницше все еще ищет форму для изложения своей мысли, ему хочется найти ритмический язык, живой и как бы трепещущий; наконец, новая мысль пронизывает его ум: он мог бы поставить центром своей книги какое-нибудь живое существо: пророка, героя. Ему приходит на ум имя персидского апостола, мистагога огня — Заратустры. Он пишет заглавие, подзаголовок, еще несколько торопливых строк — и начало поэмы готово.

«Полдень и вечность

Заратустра родился на берегу озера Урми; тридцати лет от роду он покинул свою родину, отправился в провинцию Ариа, где прожил в одиночестве 10 лет и написал за это время Зенд-Авесту.»

С этого времени Ницше не был уже одинок во время своих прогулок и размышлений; он без устали слушает и запоминает то, что ему говорит Заратустра. Он рассказывает нам о проникновении в его жизнь этого нового спутника в трех изящных, нежных, как музыка, двустихиях:

«Я сидел в ожидании и я не ждал ничего.
Я не думал ни о добре, ни о зле, но я радовался
Игре света и тени; я сидел под обаянием
Дня, озера, яркого солнца, жизни без цели.
И в этот миг внезапно нас стало двое —
Мимо меня прошел Заратустра».

В сентябре погода резко изменилась, пошел снег и Ницше пришлось покинуть Энгадин.



Перемена погоды неизбежно отозвалась на настроении и самочувствии Ницше; возбуждение его упало, и снова начался долгий период душевного уныния и подавленности; он непрерывно думал о «Вечном возвраще»; но так как мужество оставило его, то эти мысли возбуждали в нем только ужас. «Я пережил снова дни базельских мучений, — пишет он Петеру Гасту, — за моим плечом стоит смерть и смотрит на меня».

Ницше в кратких жалобах сообщает нам о своих страданиях, но с одного слова мы должны понять всю бездну его отчаяния. В продолжение сентября и октября он три раза покушался на самоубийство. Эти попытки не могли быть результатом желания избавиться от страданий — Ницше не был малодушен. Не хотел ли он предупредить сумасшествие? Вторая гипотеза, может быть, отвечает истине.

Он спустился в Геную, но ее влажные ветры, покрытое тучами небо, холодные осенние дни плохо влияли на его здоровье: его раздражало отсутствие солнца. Ко всему этому прибавилась еще новая неприятность: «Утренняя звезда» не имела успеха, критика не обратила на нее никакого внимания, а друзья с трудом дочитали до конца; Якоб Буркхардт высказал о книге очень вежливое, но сдержанное мнение: «Некоторые части вашей книги произвели на меня, как на старика, головокружительное впечатление». Эрвин Роде, самый любимый друг его, мнением которого он особенно дорожил, не написал ему ничего по поводу присылки книги. Ницше написал ему из Генуи 21 октября:

«Дорогой мой, старый друг, тебе, наверное, что-нибудь мешает мне ответить. Я от всей души прошу тебя, не пиши мне ничего! Ведь от этого между нами ничего не переменится, но мне нестерпима мысль, что посылая моему дру-

гу мою книгу, я тем самым оказываю на него некоторое давление. Что может значить книга! То, что мне осталось сделать, гораздо важнее, или жизнь моя вообще теряет всякий смысл. Я переживаю сейчас тяжелый момент, я очень страдаю.

Твой Ф. Н.»

Роде не ответил даже на это письмо. Чем объяснял-ся неуспех «Утренней зари»? Это была старая, постоянная, повсеместная история. Неумолимый рок непризнанного гения, именно потому, что он гений, что слова новы и среди косной общественной мысли вызывают только скандал и недоумение. Но неуспеху содействовали и некоторые, пожалуй, другие, частные причины: после разрыва с Вагнером Ницше потерял всех своих друзей, а известный круг друзей необходим как посредник между великим умом, пробуящим свои силы, и толпой, с которой он хочет говорить. Не имея больше такого круга друзей, Ницше был один перед неизвестными ему читателями, которые не могли иначе, как с недоверием, отнести к его беспрестанным новым исканиям. Ницше надеялся на живую форму своего произведения для того, чтобы увлечь и покорить читателей; но и это не удалось ему. Ни одна книга не кажется с первого взгляда более неудобопонятной, чем собрание отдельных мыслей и афоризмов. Читатель должен с полным вниманием изучать каждую отдельную страницу, разбираться в постоянных загадках автора и, конечно, быстро утомляется. Возможно также, что маловосприимчивая к прозе, неспособная схватывать главные черты, привыкшая все делать медленно и размеренно, немецкая читающая публика была плохо подготовлена к восприятию этого странного произведения.

Хорошая ноябрьская погода несколько оживила Ницше. «Я несколько оправился от постигшей меня неудачи», — пишет он. Он взбирается на горы, бродит по ге-

нуэзскому берегу и снова возвращается к знакомым скалам, где зародились в его душе первые страницы «Утренней зари». Стоят настолько теплые дни, что Ницше мог даже купаться в море. «Я чувствую себя богатым и гордым, как *principe Dogia*, — пишет он Петеру Гасту. — Мне недостает только вас и вашей музыки!»

Целых пять лет, с самой постановки «Нибелунгов», Ницше не слышал музыки. *Cave musicam!* — писал он. Он боялся, что, позволив себе наслаждаться музыкой, он снова поддастся чарам вагнеровского искусства; но вскоре этот страх покинул его. Петер Гаст играл ему в июне в Рокоаро песни и хоры, написанные им на эпиграммы Гёте. Пауль Ре сказал однажды: «Ни один современный музыкант не был бы способен положить на музыку такие легкомысленные стихи». Петер Гаст принял этот вызов и, выиграв пари, привел Ницше в восторг быстротой ритма. «Продолжайте, — советовал он своему другу, — побеждайте Вагнера-музыканта, как я хочу победить Вагнера-философа. Будем втроем, Ре, вы и я, стараться освободить Германию от его влияния. Если вам удастся подобрать удачную музыку для передачи миропонимания Гёте (ее до сих пор не существует), то вы сделаете громадное приобретение...» Эта мысль попадает почти в каждом из писем Ницше. Друг его находится в Венеции, сам он в Генуе и он верит, что этой же зимой итальянская земля в них, вырванных из родной почвы немцев, вдохнет одному новую метафизику, другому новую музыку.

Ницше пользуется улучшением здоровья и посещает театры. Он слушает «Семирамиду» Россини и четыре раза подряд «Джульетту» Беллини. Однажды вечером он с удовольствием слушал произведение неизвестного ему французского автора.

«Ура, друг мой, я сделал новую хорошую находку; я

слышал оперу Жоржа Бизе (кто это такой?) «Кармен». Опера слушается, как новелла Меримэ; она остроумна, сильна, местами глубоко волнует. Бизе настоящий французский талант, еще не сбитый с толку Вагнером, это истинный ученик Берлиоза... Я недалеко от мысли, что «Кармен» — лучшая из существующих опер. До тех пор, пока мы живы, она продержится на всех европейских сценах».

Открытие «Кармен» было для Ницше целым событием; он много о ней говорит и постоянно к ней возвращается; слушая эту искреннюю, страстную музыку, Ницше чувствует в себе прилив силы для борьбы со все еще глубоко сидящим в его душе романтизмом. «Кармен» освобождает меня», — пишет он.

* * *

К Ницше возвращается его счастливое настроение прошлого года, озаренное только более глубокими душевными волнениями. Мысль его как бы уже достигает своего зенита. К концу декабря он переживает и преодолевает новый кризис, памятью о чем служит нам появление на свет поэмы в прозе. Мы приводим ее здесь. Это целый ряд размышлений, род исповеди, которые он, будучи юношей, всегда накануне Нового года заносил в свою тетрадь:

«К новому году. Я все еще жив и все еще мыслю; я еще должен жить, потому, что я должен мыслить. «Sum, ergo cogito: cogito, ergo sum». Сегодня тот день, когда каждый человек может высказывать свое желание, свою самую сокровенную мысль; и я тоже выскажу мое желание, которое наполняет сегодня мою душу, и я открою, какую мысль в этом году я считаю за самую важную, мысль, которая является для меня причиной всего, гарантией, радостью всей моей будущей жизни. Я хочу научиться видеть во всех явлениях жизни нечто необходимое, как признак красоты, и таким образом я буду одним из тех, кто несет кра-

соту в мир. *Amor fati*: с этого дня это будет моей любовью! Я не хочу бороться против безобразия, я не хочу быть обвинителем, не хочу даже обвинять обвинителей. О т в е с т и г л а з а — это будет моим единственным отрицанием. Одним словом: я при всех обстоятельствах жизни хочу только утверждать!»

Весь январь стоит безоблачная погода, и в благодарность за солнечные дни Ницше посвящает этому месяцу четвертую книгу «*Gaya Scienza*», которую он озаглавливает «Святой Януарий». Это была прекрасная книга, полная неуловимого изящества, богатая критической мыслью и с начала до конца проникнутая священным волнением — *Amor fati* (любовью к судьбе).

В феврале в Генуе проездом остановился Пауль Ре и пробыл с Ницше несколько дней. Ницше показал ему свои любимые места для прогулок, повел его на берег скалистой бухты, «где, — писал он весело Петеру Гасту, — через каких-нибудь 600 и 1000 лет воздвигнут памятник творцу «Утренней зари». Через несколько дней Пауль Ре уехал на юг, в Рим, где его ждала m-lle Мейзенбук. Ему чрезвычайно интересно было проникнуть в этот вагнеровский мир, глубоко взволнованный ожиданием «Парсифаля». Эта христианская мистерия должна была быть поставлена в Байройте в июле. Ницше не захотел сопровождать Пауля Ре; он дорожил своим уединением, а мысль о предстоящем представлении «Парсифаля» только придавала большее усердие его работе. И в его душе зрело великое творение: он должен был написать антихристианскую мистирию, свою поэму «Вечного возврата». Это произведение занимало все его мысли и давало ему умственное наслаждение, благодаря которому воспоминание о его прежнем учителе меньше раздирало его сердце. Рихард Вагнер казался ему то очень далеким, то очень близким. Далеким по своим идеям, — но что значат идеи для поэта, — и близким

по чувствам, желаниям, лирическим волнениям; а разве это не самое главное? Все разногласия между лириками заключаются разве только в нюансах, так как они живут в одном мире, работают одним сердцем; они хотят придать особую значительность и высшую ценность движениям человеческой души. Если мы прочитаем следующую написанную в это время Ницше страницу, то мы лучше поймем состояние его души.

«Звездная дружба. — Мы были друзьями и стали чужими друг другу, но нам нечего скрывать друг от друга, нам не надо притворяться, нам нет повода краснеть. Мы два корабля, которые плывут по разным путям и к разным целям. Мы случайно встретились, мы вместе присутствовали на великом празднике, и, таким образом, наши храбрые корабли так мирно покоились в одной и той же гавани, так дружно грелись под лучами одного и того же солнца, что казалось — они достигли одной общей цели. Но властная сила долга снова понесла нас в открытое море, к различным солнцам, и, может быть, в своей жизни мы когда-нибудь и встретимся, но не узнаем друг друга, чуждые моря и солнца до неузнаваемости изменят нас. В книге судьбы написано, что мы должны были стать чужими друг другу: еще один повод к тому, чтобы мы взаимно уважали друг друга; еще один повод к тому, чтобы примириться с мыслью о нашей навсегда оконченной дружбе. Без сомнения, существует отдаленная, невидимая, чудесная звезда, управляющая всеми нашими поступками; возвысимся до такой мысли!

Но жизнь наша слишком коротка, наши глаза слишком слабы, мы не можем быть настоящими друзьями, мы можем только довольствоваться этой чудесной возможностью. — И если нам суждено на земле быть врагами, мы будем верить в нашу дружбу, управляемую звездами.»

Мы не знаем, какую форму приняло в его уме изложение «Вечного возврата»; Ницше не любил говорить о своей работе, он не хотел сообщать о ней никому до ее

окончания. Но все же ему хотелось, чтобы друзья его знали о новом течении его мыслей. Он написал письмо m-lle Мейзенбух, в котором беспощадно осуждал Вагнера, но прибавлял в конце какое-то таинственное обещание: «Если я не обольщаюсь относительно моего будущего, то с помощью моего произведения будут продолжаться лучшие идеи Вагнера, — и в этом, может быть, заключается весь комизм происходящего...»

* * *

В начале весны Ницше по внезапному капризу поехал вместе с хозяином одного парусного итальянского судна, отправлявшегося в Мессину, по Средиземному морю. Переезд этот был ужасен; Ницше был при смерти, хотя вначале чувствовал себя вполне хорошо, даже писал стихи, удовольствие, которого он в продолжение нескольких лет не доставлял себе. Это были экспромты, эпиграммы, может быть, навеянные блесками гётевского ума, положенными Петером Гастом на музыку. Ницше искал тогда уголок света и среду людей, благоприятных для выполнения его великого труда. Сицилия, этот «край света, где обитает счастье», — как говорил о ней старый Гомер, показался Ницше идеальным для его работы местом, и, внезапно-забывая, что он совершенно не переносит жары, он решается на все лето поселиться в Мессине; но в конце апреля нескольких дней сирокко было достаточно для того, чтобы привести его в полное изнеможение, он решил уехать.

Между прочим, он получил письмо от m-lle Мейзенбух, которая убедительно просила его остановиться в Риме. Так как Ницше обыкновенно останавливался в «вечном городе», то он согласился. Нам известна причина этой настоятельной просьбы m-lle Мейзенбух; эта превосходная женщина ни на минуту не забывала о сво-

ем друге, существование которого она тщетно изо всех своих сил хотела скрасить. Она знала мягкость и нежность его сердца и часто от души желала найти ему жену, тем более, что он сам писал ей: «Я по секрету скажу вам, мне нужно хорошую жену». Весной 1882 года m-lle Мейзенбух показалось, что она нашла Ницше подходящую жену»*.

Это и было причиной письма m-lle Мейзенбух, которая любила и привыкла делать добро, может быть, она только не в достаточной степени обращала внимание на то, что делание добра нелегкое искусство, а за ошибки приходится очень жестоко расплачиваться.

Молодую девушку, которую m-lle Мейзенбух готовила в жены Ницше, звали Лу Саломе; она была рус-

*Примечание автора. Эта интимная история жизни Ницше была известна очень немногим, теперь же почти всеми забыта. После смерти Ницше две женщины опубликовали свои воспоминания о нем: одна из них была m-lle Фёрстер-Ницше, которая напечатала рассказы о брате, от которых хотелось бы большей ясности и определенности, и другая m-lle Саломе, написавшая целую книгу о Фридрихе Ницше, где упомянуты некоторые события из его жизни, приведены некоторые письма; но она отказалась полемизировать по поводу одного события, относительно которого она не хотела давать никаких указаний. Устные предания об этом событии крайне многочисленны и разноречивы; одна версия, распространившаяся в римском обществе, где самое приключение и произошло, менее благоприятна для m-lle Саломе; если верить слухам, ходившим о ней в Риме, это была интеллигентная авантюристка, может быть, даже слишком предприимчивая, вроде Марии Башкирцевой. Другие слухи, распространившиеся в Германии между друзьями m-lle Саломе, говорят совсем другое. Мы выслушали и ту и другую стороны; первые, римские слухи, породили собою рассказ, помещенный нами в «Cahiers de la quinzaine», двенадцатая тетрадь десятой серии, страница 24 и далее. Вторая версия, дошедшая до нас позднее, кажется нам более достоверной. Конечно, полного доверия не может быть ни в том ни в другом случае.

ская; ей едва только исполнилось 20 лет; она обладала недюжинным умом и чрезвычайной интеллектуальной восприимчивостью; красота ее не была классической, но это обстоятельство делало ее только лучше и обаятельнее. Так часто можно встретить в Париже, Флоренции или в Риме целый ряд девушек, приехавших из Филадельфии, Бухареста или Киева для того, чтобы с чисто варварским нетерпением приобщиться к нашей культуре и найти себе пристанище в старых столичных городах. Но m-lle Саломе была редким исключением; ее сопровождала ее мать, возившая за ней по всей Европе ее гардероб.

M-lle Мейзенбух приняла в этой девушке большое участие: она давала ей читать книги Ницше, которые Лу Саломе прочитывала и, как казалось, относилась к ним с пониманием. M-lle Мейзенбух много говорила ей об этом необыкновенном человеке, отказавшемся во имя свободы от дружбы с Вагнером. «Это очень суровый философ, — говорила она, — но это самый нежный, самый преданный друг, и у всякого, кто его знает, мысль о его одиночестве вызывает самую острую тоску».

M-lle Саломе с большим воодушевлением слушала все это и заявила, что она чувствует в себе призвание разделить с Ницше такую судьбу, и пожелала с ним познакомиться. Пауль Ре, который знал ее дольше, чем m-lle Мейзенбух, казалось, одобрил это решение и, с его согласия, m-lle Мейзенбух написала Ницше.

Ницше приехал и должен был выслушать целый панегирик по адресу m-lle Лу; ему говорили, что у нее тонкий ум, богато одаренная натура, отважный характер, что она непримирима в своих исканиях и убеждениях, что с детства в ней уже видна героиня и что ее ждет блестящее будущее. Ницше согласился познакомиться с нею и однажды утром, в соборе Св. Петра она

была ему представлена и сразу покорила его. За долгие месяцы уединенного размышления Ницше совсем отвык от удовольствия говорить и быть выслушанным. «Молодая русская» (как он называл ее в своих письмах) изумительно умела слушать. Она мало говорила, но ее спокойный взгляд, мягкие уверенные движения, малейшее произнесенное ею слово не оставляли сомнений относительно восприимчивости ее ума и глубины ее души. Очень быстро, почти с первого же мгновения, Ницше полюбил ее. *«Da ist eine Seele, — говорил он m-lle Мейзенбух, — welche sich mit einem Hauch ein Körperchen geschaffen hat»* («Вот душа, которая одним дуновением создала себе хрупкое тело»). Но m-lle Саломе не сразу поддалась Ницше; она чувствовала его превосходство, вела с ним продолжительные разговоры, и пылкость его мысли потрясла ее крайне глубоко: она даже потеряла сон. Романтическое приключение, завершившееся драмой, завязалось очень быстро.

Через несколько дней после первой встречи m-me Саломе с дочерью уехали из Рима, а два философа, Ницше и Ре, поехали вместе с ними, оба влюбленные в молодую девушку. Ницше говорил Ре: «Это изумительная женщина, женитесь на ней...» — «Нет, — отвечал Ре, — я пессимист, мне ненавистна идея продолжения человеческого рода. Женитесь на ней сами, она будет как раз нужной для вас женою». — Ницше отвергал подобный выход и, может быть, даже, как когда-то сестре, говорил своему другу: «Жениться, никогда, мне неизбежно придется начать лгать». M-me Саломе наблюдала за этими двумя влюбленными в ее дочь философами: Фридрих Ницше беспокоил ее своим характером; она предпочитала ему Пауля Ре.

Вся компания остановилась в Люцерне; Ницше хотелось показать m-lle Лу тот дом в Трибшене, где он познакомился с Рихардом Вагнером; в то время не было

человека, который не интересовался бы им. Ницше показывал m-lle Лу тополя, своими верхушками закрывавшие фасад дома, рассказывал ей о незабвенных днях веселого настроения Вагнера и о припадках его величественного гнева; подойдя к озеру, Ницше стал говорить вполголоса и старался скрыть от нее свое взволнованное нахлынувшими со всех сторон воспоминаниями лицо, потом внезапно замолчал и не спускавшая с него глаз девушка заметила, что он плакал.

Потом Ницше рассказал ей всю свою жизнь: говорил ей о своем детстве в деревенском домике, о ранней смерти отца, жизнь которого была полна великой тайны, о своих первых сомнениях, сменивших годы религиозных настроений, об охватившем его ужасе при виде этого мира без Божества, где ему приходилось жить, о своем открытии Шопенгауэра и Вагнера, и о той новой религии, которую они дали ему и которая утешила его в потере собственной веры.

«Да, — говорил он (m-lle Саломе передает нам его слова), — вот как начались приключения моей жизни и они еще далеко не окончились. Что меня ждет впереди? Какие новые мытарства? Не вернусь ли я снова к прежней вере? Или к какому-нибудь упованию?» Потом серьезно он добавил: «Во всяком случае, более правдоподобно возвращение к прошлому, чем духовная неподвижность».

Ницше еще не признался m-lle Лу в своей любви; хотя он уже сознавал всю ее силу и не сопротивлялся более, но у него не хватало достаточно мужества для признания. Он попросил Пауля Ре поговорить с ней от его имени, а сам уехал.

8 мая Ницше приехал на несколько дней в Базель, встретился с Овербеком и его женой и с каким-то странным возбуждением доверил им свое чувство. В его жизни появилась женщина и наполнила радостью его мыс-

ли и все его существование; отныне жизнь его будет оживленнее, разнообразнее, богаче впечатлениями. Он, конечно, предпочитал не жениться на m-lle Саломе; всякие брачные узы нестерпимы ему; но он мог бы дать ей свое имя для того, чтобы оградить ее от всяких пустых разговоров. От этого духовного брака родится духовный сын: пророк Заратустра. Единственной помехой и затруднением было то, что Ницше был беден, но, может быть, окажется возможным целиком за значительную сумму продать какому-нибудь издателю все свои будущие сочинения? Это новое увлечение Ницше сильно взволновало супругов Овербек; они не предсказывали ничего доброго от этого странного и поспешно заключенного союза.

Наконец, Ницше получил ответ от Лу Саломе; она писала ему, что не хочет выходить замуж и что в ее сердце, на которое жизнь уже наложила свою печать, не было больше силы и восторга для новой любви. Она отказывалась от замужества, но, чтобы смягчить свой отказ, — предлагала Ницше свою дружбу, свою моральную поддержку.

Ницше тотчас же вернулся в Люцерн, увидался с Лу Саломе и умолял ее согласиться, но Лу повторила ему свой отказ и свое предложение. В июле она должна была ехать на байройтские торжества, а так как Ницше не соглашался сопровождать ее туда, то она обещала вернуться, прожить с ним несколько недель, выслушать тогда все его последние мысли и сопоставить новые идеи Вагнера с мыслями его эмансипировавшегося ученика. Ницше должен был принять поставленные молодой девушкой условия и границы их дружбы; он посоветовал ей прочесть одну из своих книг: «Шопенгауэр, как воспитатель», юношеское произведение, которое он признавал до сих пор, считая его гимном дерзновенному мыслителю, добровольному отшельнику. «Прочтите эту

книгу, — говорил он ей, — и тогда вы будете меня слушать».

Покинув Базель, Ницше вернулся в Германию; у него явилось внезапное желание сблизиться со своей родиной; такие неожиданные желания были свойственны его натуре.

Один встретившийся ему в Мессине швейцарец хвалил ему красоту Грюневальда, находившегося в окрестностях Берлина; Ницше решил поселиться там и известил об этом Петера Гаста, которому шесть месяцев тому назад своею летней резиденций указывал Мессину.

Он поехал в Грюневальд, который в достаточной степени понравился ему, но вместе с тем он посетил Берлин. Самый город и те несколько берлинцев, которых ему пришлось видеть, чрезвычайно ему не приглянулись. Он неожиданно для себя узнал, что мысли его в Берлине были совершенно неизвестны, а книг его никто не читал; там знали только, что он был другом и, без сомнения, учеником Пауля Ре. Все это очень не понравилось Ницше; он немедленно уехал и прожил несколько недель в Наумбурге, где продиктовал рукопись своей новой книги *«La Gaya Scienza»* (у в слове *Gaya* не кажется мне правильной орфографией, но мы сохраняем правописание самого Ницше. — Галеви).

Ницше в очень скромном тоне рассказал сестре и матери о своем новом друге; радость его очаровала обеих женщин; они не подозревали, что у странного Фридриха на сердце было другое чувство, надежда на счастье, которую так жестоко разрушила Лу Саломе. Представление «Парсифаля» было назначено на 27 июля. На это время Ницше поселился недалеко от Байройта в деревне Таутенбург, в Тюрингенских лесах; туда по окончании байройтских торжеств должны были приехать его друзья: Овербеки, Зейдлицы, Герсдорф, m-lle Мейзенбух, Лу Саломе и его сестра Лизбет. В Байройте не хва-

тало только его одного и, может быть, в эту минуту достаточно было только одного слова Вагнера, чтобы он приехал; может быть, в глубине души Ницше ждал этого слова и надеялся получить его. М-лле Мейзенбук пыталась примирить их; она попробовала в присутствии Вагнера произнести имя Ницше, но Вагнер просил ее замолчать и вышел, хлопнув дверью.

Ницше, который, без сомнения, никогда не узнал об этом случае, жил в это время в том самом лесу, где он провел такие тяжелые дни в 1876 году. Как тогда он был беден и как он богат теперь! Он освободился от гнета сомнений; великие мысли занимают его ум, великая любовь наполняет его сердце. Лу Саломе в знак духовной симпатии посвятила ему прекрасную поэму:

К скорби

Wer kann fliehn, den du ergriffen hast,
Wenn du die ernsten Blicke anf ihn richtest?
Ich will nicht flüchten, wenn du mich erfasst,
Ich glaube nimmer, dass du nur vernichtest!
Ich weiss, durch jedes Erden-Dasein musst du gehn,
Und nichts bleibt unberührt von dir auf Erden:
Das Leben ohne dich — es wäre schön,
Und doch — auch du bist werth, gelebt zu werden!

(Кто же, схваченный тобою и чувствуя твой суровый взгляд, обращенный на себя, может бежать? Я не хочу бежать, если ты завладеешь мною, я никогда не поверю, что ты способна только разрушать; я знаю, ты должна пройти сквозь все живущее на земле; никто не может избежать твоего прихода; жизнь без тебя была бы прекрасной, но и ты стоишь того, чтобы существовать). Прочтя эти стихи, Петер Гаст подумал, что их написал Ницше, и этой ошибкой очень обрадовал его.

«Нет, — писал ему Ницше, — эти стихи принадлежат не мне; они производят на меня прямо подавляющее впе-

чатление, и я не могу читать их без слез; в них слышатся звуки голоса, который звучит в моих ушах давно, давно, с самого раннего детства. Стихи эти написала Лу, мой новый друг, о котором вы еще ничего не слышали; она дочь русского генерала; ей сейчас двадцать лет; ее острый ум напоминает зрение орла, ее душа смела как лев, а между тем это чрезвычайно женственное дитя, которое, может быть, недолго проживет...»

Прочтя в последний раз свою рукопись, Ницше, наконец, отправил ее в печать. Был момент, когда Ницше колебался относительно того, надо ли печатать этот новый сборник афоризмов; друзья его, он знал это, не одобряли его многотомные произведения, сплошь состоящие из коротких набросков, неясных эскизов. Ницше выслушивал их замечания с желанием казаться скромным; конечно, эта скромность была искусственной; он не мог примириться с мыслью, что как бы ни были коротки его наброски и неясные его эскизы, они не заслуживали никакого внимания.

Мысли Ницше были заняты байройтскими торжествами, но он скрывал или только наполовину высказывал сожаления по поводу того, что не присутствовал на них. «Я очень рад, что не могу поехать в Байройт, — пишет он Лу, — и тем не менее, если бы я мог быть около вас, болтать с вами, шепнуть вам на ухо несколько слов, я бы, пожалуй, был способен примириться до некоторой степени с музыкой «Парсифаля» (при других условиях это для меня невозможно)».

«Парсифаль» имел шумный успех, о котором Ницше в насмешливом тоне написал Петеру Гасту: «Да здравствует Калиостро! Старый колдун имел большой успех, старики и те плакали»... «Молодая русская» тотчас же в сопровождении Лизбет приехала к Ницше. Обе молодые девушки поселились в отеле, где он ожидал их, и тогда Ницше начал просвещать свою подругу.

Она узнала в Байройте легенду о христианской мистерии, историю человеческих страданий, этого испытания, которое должны были претерпеть люди, прежде чем получить блаженство успокоения. Ницше посвятил ее в более трагическую мистерию: страдание — это наша судьба и в то же время и наша жизнь; нет надежды избежать, надо примириться со своей участью и быть даже более покорными, чем христиане. Проникнемся же этим страданием, обручимся с ним, полюбим его деятельною любовью, будем, как оно, пылки и безжалостны, будем суровы к другим, так же как и к самим себе, примем его, несмотря на всю его жестокость; ослабеть — значит унижить себя; чтобы поднять наши силы, будем размышлять о символе «Вечного возврата». «Я никогда не забуду тех часов, когда он открывал мне свои мысли, — писала Лу Саломе, — он поверял мне их, как если бы это была тайна, в которой невыразимо трудно сознаться, он говорил вполголоса, с выражением глубокого ужаса на лице. И в самом деле, жизнь для него была сплошным страданием, убеждение в ужасной достоверности «Вечного возврата» доставляло ему неизъяснимые мучения». Лу Саломе слушала признания Ницше с глубоким вниманием, и мы не можем сомневаться в искренности ее волнения, о котором мы читаем в ее письмах.

Она написала и посвятила Ницше небольшой гимн:

«Я люблю тебя, увлекательная жизнь, как только друг может любить друга; я люблю тебя, когда ты даешь мне радость или горе, когда я смеюсь или плачу, наслаждаюсь или страдаю; покидая тебя, я буду страдать и уеду от тебя с тем чувством горя, какие испытывает друг, вырываясь из объятий друга. Если у тебя даже не останется для меня больше радости, пусть! Мне останется твое страдание».

Ницше пришел в восхищение от этого подарка и

хотел отплатить за него тем же. В продолжение 8 лет Ницше намеренно избегал всякого музыкального творчества: музыка нервировала его и приводила в изнеможение. После продолжительного перерыва он снова принялся за нее и решил написать на стихи Лу Саломе род скорбного дифирамба. Но работа эта слишком взволновала его и вызвала новые физические страдания; появились невралгические боли, резко изменилось настроение; начались припадки сомнения; на смену радостному подъему явилось состояние безразличия и пресыщенности. Он должен был слечь в постель и из своей комнаты писал m-lle Саломе записочки следующего содержания: «Я в постели. Ужасный припадок. Я презираю жизнь».

Но в течение этих недель, которые Ницше прожил в Таутенбурге, были и другие события, которые остались для нас секретом. «Лу Саломе, — пишет Лизбет Ницше, — никогда не была искренна с моим братом; она с удовольствием слушала его, но ее страсть и воодушевление были искусственны, и страшное возбуждение его часто ее утомляло». Лу Саломе писала Паулю Ре, от которого Лизбет Ницше получила следующее письмо такого странного содержания: «Ваш брат утомляет m-lle Саломе, если возможно, постарайтесь, чтобы они реже встречались...»

Мы склонны думать, что Лизбет была огорчена тем, что она не была посвящена в эти отношения, что она ревновала брата к этой странной русской девушке, которая обладала таким таинственным обаянием, и поэтому к ее заявлениям нужно относиться с осторожностью.

Конечно, страстная, горячая натура Ницше и его требовательность испугали Лу Саломе; соглашаясь быть его другом, она не предвидела возможности этих страшных эмоций дружбы, более сильных, чем припадки са-

мой страстной и бурной любви. Ницше требовал сочувствия каждой своей мысли; молодая девушка не соглашалась на это требование; разве можно отдать кому-нибудь ум и сердце? Ницше не мог примириться с ее гордой непреклонностью и ставил ей в вину эту гордость и эту независимость. Об этих ссорах Ницше говорит в письме к Петеру Гасту.

«Лу остается со мной еще неделю, — пишет он 20 августа из Таутенбурга, — это самая умная женщина в мире. Каждые пять дней между нами разыгрывается маленькая трагедия. Все, что я вам о ней писал, это — абсурд и, без сомнения, не менее абсурдно и то, что я вам пишу сейчас».

Эта немного неуверенная и неискренняя фраза является свидетельством того, что Ницше все еще был влюблен. Когда Лу Саломе уехала из Таутенбурга, Ницше продолжал писать ей письма, из которых многие дошли до нас; он делился с ней своими планами и проектами своих работ. Он хотел ехать в Париж или в Вену изучать естественные науки для того, чтобы получить новые сведения, которые помогли бы ему углубить теорию «Вечного возврата»; для него было недостаточно, чтобы его произведение было красиво и захватывающе, он хотел еще, чтобы оно имело солидное основание. Таким Ницше был всегда: постоянно критический ум его сталкивался с лирическим вдохновением, а когда он занимался критическим анализом, то его лирический гений мешал ему и стеснял его. Он сообщал Петеру Гасту, какой успех имел его «Гимн жизни», который он отдал на суд своим друзьям музыкантам. Один дирижер оркестра обещал ему исполнить его произведение; полный надежды делится Ницше этой новостью со своим другом: «По этому пути мы можем прийти вместе к потомству, — другие же пути оставить открыты-

ми». 16 сентября он пишет из Лейпцига Петеру Гасту: «2 октября сюда приедет Лу; через два месяца мы поедем в Париж и проживем там, может быть, несколько лет. Вот мои планы».

Мать и сестра Ницше были недовольны его поведением и их порицание приятно ему. «Все добродетели Наумбурга вооружились против меня», — пишет он.

Прошло еще два месяца, и дружба Ницше и Лу Саломе прекратилась, и мы, пожалуй, можем найти объяснение этому. Лу Саломе приехала к Ницше в Лейпциг, как она обещала, но в сопровождении Пауля Ре, должно быть, хотела, чтобы Ницше понял, какова была ее дружба к нему, в которой она ему никогда не отказывала: она сохраняла полную свободу и не хотела подчиняться его воле; отношение ее к нему можно было скорее назвать симпатией, чем полной духовною преданностью. Хорошо ли она взвесила все трудности подобного предприятия, всю опасность такого опыта? Она знала, что оба друга были влюблены в нее. Каково было ее положение между ними? Была ли она уверена, что, желая обоих удержать около себя, она не уступит инстинкту, бессознательному, может быть, любопытству измерить свои женские силы, свое очарование? Никто не может этого знать и никто не ответит на эти вопросы.

Ницше стал грустен и подозрителен; однажды ему показалось, что, разговаривая вполголоса, его друзья смеялись над ним. Кроме того, до него дошла сплетня, которая взволновала его; это была очень наивная история, но ее все-таки необходимо рассказать. Ре, Ницше и Лу Саломе захотели вместе сняться. Лу и Пауль Ре сказали Ницше: «Сядьте в эту детскую колясочку, а мы будем держать ее ручки, это будет символическая картина нашего союза». Ницше отвечал: «Нет, в колясочку сядет m-lle Лу, а Пауль и я будем держаться за руч-

ки...» Так и было сделано. Говорят, что m-lle Лу разослала эту фотографию многочисленным своим друзьям, как символ своей верховной власти.

Ницше мучила еще более тяжелая мысль: Лу и Ре в заговоре — против меня и этот заговор говорит против них, — они любят друг друга и обманывают меня, думал он. Все стало ему казаться вокруг вероломным и бесцветным; возникла жалкая борьба вместо того духовного счастья, о котором он мечтал; он терял свою странную очаровательную ученицу, своего лучшего, самого умного друга, которого знал в продолжение 8 лет. Наконец, уступая тяжелым обстоятельствам, изменяя, может быть, сам принципам дружбы, он старался развенчать Ре в глазах Лу: «Он очень умен, — говорил он ей, — но это слабый человек, без определенной цели. В этом виновато его воспитание; каждый должен получить такое воспитание, как если бы он готовился в солдаты; женщина же должна готовиться быть женою солдата». У Ницше не было ни достаточной опытности, ни решимости для того, чтобы выйти из этого бесконечно тяжелого состояния. Сестра Ницше, которая ненавидела Лу Саломе, разделяла и поддерживала подозрения и озлобление брата. Несколько грубо и без согласия Ницше молодая девушка вмешалась в дело и написала Лу Саломе письмо, которое ускорило развязку. M-lle Саломе рассердилась. До нас дошел черновик письма, адресованного ей Ницше, но оно мало освещает подробности их ссоры.

«Но, Лу, что это за письмо! Так пишут маленькие пансионерки. Что же мне делать? Поймите меня; я хочу, чтобы вы возвысились в моих глазах, я не хочу, чтобы вы упали для меня еще ниже. Я упрекаю вас только в одном: вы должны были раньше отдать себе отчет в том, чего я ожидал от вас. Я дал вам в Люцерне мою книгу о Шопенгауэре и я сказал вам, что главные мои мысли заключаются в

ней и я хочу, чтобы они также стали и вашими. Вы должны были мне сказать «нет» (в таких случаях я ненавижу всякую поверхность). Вы бы тогда пощадили меня! Ваши стихи, «Скорбь», такая глубокая неискренность. Я думаю, что никто так хорошо и так дурно, как я, не думает о вас. Не защищайтесь; я уже защищал вас перед самим собою и перед другими лучше, чем вы сами могли бы сделать это. Такие создания, как вы, выносимы для окружающих только тогда, когда у них есть возвышенная цель. Как в вас мало уважения, благодарности, жалости, вежливости, восхищения, деликатности, — я говорю здесь, конечно, о самых возвышенных вещах. Что вы ответите мне, если бы я вам сказал: Достаточно ли вы храбры? Не способны ли вы на измену? Не чувствуете ли вы, что когда к вам приближается такой человек, как я, то вы во многом должны сдержать себя? Вы имеете дело с одним из наиболее долготерпеливых, наиболее добрых людей, против же мелкого эгоизма и маленьких слабостей мой аргумент, помните это твердо, — только от в р а щ е н и е . А никто так быстро не способен получить чувство отвращения, как я. Но я еще не вполне разочаровался в вас, несмотря ни на что; я заметил в вас присутствие того священного эгоизма, который заставляет нас служить самому высокому в нашей натуре. Я не знаю, с помощью какого колдовства вы взамен того, что дал вам я, дали мне эгоизм кошки, которая хочет только одного — жить... Прощайте, дорогая Лу, я больше не увижу вас. Берегите свою душу от подобных поступков и имейте больший успех у других, чем непоправимо порвали со мной. Я не прочел вашего письма до конца, но того, что я прочел, достаточно. Ваш Ф. Н.»

Ницше уехал из Лейпцига.



II

Так говорил Заратустра

Порвав с Лу Саломе, Ницше уехал из Лейпцига, — его поспешный отъезд походил на бегство. Проезжая мимо Базеля, Ницше остановился у Овербеков и жаловался им на свое горе. Рушились все его мечты, все изменили ему: Лу и Ре оказались слабыми и вероломными друзьями, сестра Лизбет поступила так грубо. О какой измене говорит он, о каком поступке? Он ничего не объясняет и продолжает горько жаловаться. Овербеки хотели удержать его на несколько дней, но он не соглашается, так как хочет работать, чтобы заглушить в себе тоску и мысль о том, что он был обманут, и чувство презрения к самому себе за то, что обманулся сам. Может быть, он хочет также использовать состояние пароксизма и лирического *sursum*, в которые повергло его отчаяние. Уезжая, он сказал Овербеку: «Сегодня для меня начинается полное одиночество».

Первая остановка была в Генуе. «Холодно, я болен. Я страдаю», — лаконически пишет он Петеру Гасту. Он покидает этот город, где его, вероятно, мучают воспоминания более счастливых дней, и едет южнее, по берегу моря. В то время, о котором идет речь, Нерви, Санта-Маргерита, Рапалло, Збагли были совершенно неизвестными туристам местами; население главным обра-

зом состояло из бедных рыбаков, которые каждый вечер вытаскивали на песочный берег бухты свои барки и чинили свои сети, аккомпанируя своей работе пением. Для Ницше эти местечки были целым открытием; для своего местожительства он выбрал самое красивое из них, Рапалло, и этим как бы хотел унизить свое горе. В очень простых словах рассказывает он о своем времяпрепровождении.

«Я провел зиму 1882—1883 года в красивой бухте Рапалло, которая полукругом огибает Ривьеру между мысом, соединяющим Портофино и Киавари. Здоровье мое оставляло желать много лучшего. Зима была холодная, дождливая; в маленькой харчевне (Альберго Ла Поста, по указанию М. Ланцки), расположенной настолько близко к морю, что шум волн мешал мне спать, я нашел приют, со всех точек зрения очень мало удовлетворительный. Кроме того — и в этом хороший пример моей максимы: все решительное бывает наперекор, — именно в продолжение этой зимы и в этой малокомфортабельной обстановке родился мой Заратустра. По утрам я взбирался по южной красивой гористой дороге, по направлению к Збагли, между гирляндой елей, с великолепной панорамой моря; по вечерам, в той степени как это позволяло мне мое здоровье, я гулял, огибая бухту Санта-Маргерита вплоть до Портофино. Здесь, на этих двух дорогах мне пришло в голову (*fiel mir ein*) все начало Заратустры, даже больше того — Заратустра сам, как тип, явился мне (*überfiel mich*)...»

В десять недель он оканчивает свою поэму. Это было новое и, если следовать генезису его мыслей, — захватывающее произведение; без сомнения, им было задумано лирическое священное произведение, основная часть которого должна была дать идею «Вечного возврата». В первой части Заратустры мысль о «Вечном возврате» еще не попадает; в ней Ницше преследует совершенно другую мысль, мысль о Сверхчеловеке, символе настоящего, определяющего все явления про-

гресса, обещании возможного освобождения от случая и рока.

Заратустра является предзнаменованием Сверхчеловека; это пророк благой вести. В своем одиночестве он открыл обещание счастья и несет это обещание людям; с благодетельной и мягкой силой он предсказывает людям великое будущее в награду за великий труд; в другое время Ницше заставит его держать более суровые речи. Читая эту первую часть книги, не надо смешивать ее с теми, которые появятся потом: тогда только можно будет оценить всю здравость книги и всю мягкость его языка.

Отчего Ницше оставил мысли о «Вечном возврате»? Об этом он никому не пишет ни слова. M-lle Лу Саломе говорит нам, что во время их разговора и коротких уроков он понял всю невозможность сознательного и разумного настроения своей гипотезы. Но это нисколько не уменьшало ее лирической ценности, для которой через год он нашел хорошее применение; но это, конечно, не может объяснить появление совершенно противоположной идеи. Что же это могло означать? Может быть, измена двух друзей сломила его стоицизм. *«Не смотря ни на что, я не хотел бы снова пережить эти несколько последних месяцев»*, — пишет он 3 декабря Петеру Гасту. Мы знаем, что в глубине самого себя он не переставал ощущать всю силу своих прежних мыслей, но, не будучи в состоянии переносить всю жестокость своего символа, он не мог вполне искренне предложить его людям и заменил его другим — Сверхчеловеком — *Übermensch*'ем. *«Я не хочу начинать жизнь сначала, — пишет он в своих заметках (Я больше не хочу жить). Откуда нашлись бы у меня силы вынести это? Создавая Сверхчеловека и устремляя на него свои взоры, слыша, как он говорит «да» жизни, я, увы, сам пробовал сказать да!»*

Ницше хочет ответить «да» на свой еще юношеский вопрос: *можно ли облагородить человечество* (Ist Veredlung möglich)? Он хочет верить, и ему удастся уверовать в Сверхчеловека. Ему хочется утвердиться в этой надежде; она очень подходит к смыслу его произведения. Из всех замыслов и творческих желаний ему представляется самым главным и важным: ответить на идею «Парсифаля». Вагнер хотел в этом произведении показать человечество, пробужденное от бессилия таинством евхаристии, нечистая, грешная кровь человечества очищается вечно проливаемой кровью Христа. Ницше хочет в своей книге показать человечество, пробужденное к новой жизни прославлением своего собственного существа, добродетелями добровольного избранного меньшинства, которое очищает и обновляет свою кровь. Исчерпывается ли этим вся его задача? Конечно, нет. «Так говорил Заратустра» есть более чем ответ «Парсифалю». Корни мыслей у Ницше всегда имеют важное и отдаленное происхождение. Последняя его воля заключается в том, что он хочет определить и направить деятельность людей: он хочет основать новые нравы, указать подчиненным их обязанности, сильным их долг и объем власти и вести все человечество к высшему будущему. Это желание воодушевляло его давно; его он испытывал ребенком, юношей, молодым человеком; в 38 лет в решительную и критическую минуту он снова возвращается к этой давнишней мечте и теперь уже хочет начать действовать. Его больше не удовлетворяет уже мысль о «Вечном возврате»; он не хочет жить пленником слепой природы, его, наоборот, покоряет идея о Сверхчеловеке; в нем он видит принцип действия, надежду спасения.

В чем заключается смысл этой идеи? Это символ или реальная действительность? Иллюзия или надежда? Трудно ответить на эти вопросы. У Ницше чрезвы-

чайно подвижный и восприимчивый ум; мощный порыв его вдохновения не дает ему ни времени, ни силы доводить свою мысль до конца; он иногда не может ясно осмыслить волнующих его идей и сам толкует их по-разному. Иногда Сверхчеловек представляется ему вполне возможной действительностью, но иногда кажется, что он пренебрегает всяким точным изложением своей мысли, и его идея делается тогда только лирической фантазией, которой он забавляется для того, чтобы возбудить низшие слои человечества. Но это иллюзия и иллюзия полезная, благотворная, сказал бы он, если бы еще был вагнерианцем, если бы он прибегнул к своему языку того времени, когда ему было 30 лет. Он тогда любил часто повторять изречение Шиллера: *«Имей смелость мечтать и лгать»*. Нам кажется, что, главным образом Сверхчеловек — мечтательная ложь поэта-лирика. Каждый существующий вид имеет свои границы, которых он не может переступить; Ницше знает это и пишет именно об этом.

Работа очень тяжелая; Ницше мало был приспособлен к восприятию какой-нибудь определенной надежды, и часто душа его возмущалась той задачей, которую он себе ставил. Каждое утро, просыпаясь ото сна, который после принятия хлорала становился таким сладким, он возвращался с глубокою горечью к действительной жизни. Под впечатлением тоски и озлобления он писал страницы, которые потом ему приходилось внимательно перечитывать, исправляя или совсем вычеркивая. Он ненавидел эти часы, когда злоба доводила его до головокружения и затемняла в его сознании лучшие его мысли. Тогда он призывал своего героя, Заратустру, этого всегда ясного, благородного пророка, и искал у него поддержки и помощи. На многих страницах его книги видны следы этих припадков отчаяния. Заратустра говорил ему:

«Да, я знаю, какая опасность грозит тебе, но заклинаю тебя моей любовью и моей надеждой — не теряй любви и твоей надежды! Благородному человеку всегда грозит опасность стать дерзким, насмешливым или разрушителем. Увы! Я знал многих благородных людей, которые потеряли свою самую высокую надежду и с тех пор стали клеветать на нее... Моей любовью и моей надеждой я заклинаю тебя: не уничтожай того героя, который живет в твоей душе! Верь в святость твоей высокой надежды!»

Борьба с самим собой была по-прежнему жестокая, но Ницше ни на минуту не оставлял своей работы. Каждый день он должен был брать себя ради благоразумия в руки, умерять, разбивать или обманывать свои желания. Он покоряется необходимости этой суровой работы, и ему удается приводить свою душу в спокойное и плодотворное состояние. Он кончает поэму, которая является только началом другой, более обширной поэмы. Вернувшись в родные горы, Заратустра ушел от людей; два раза ему надо еще спуститься к ним и продиктовать им скрижаль своего Закона. Но его слов было достаточно для того, чтобы можно было предвидеть основные формы человечества, покорного своим избранникам. Человечество разделяется на 3 касты: нижнюю из них составляет простой народ, которому оставляется его жалкая вера; над ним стоит каста начальников, организаторов и воинов; еще выше стоит священная каста, поэтов, творцов иллюзии и определяющих ценности. Вспомним когда-то так восхищавшую Ницше статью Вагнера об искусстве; в ней предлагается приблизительно такая иерархия.

В общем книга производит необыкновенно ясное впечатление и является самой прекрасной победой гения Ницше. Он подавил в себе свою грусть; книга его дышит силой, но не грубостью, возбуждением, но не иступлением. В конце февраля 1882 года Ницше написал

следующие последние страницы своей поэмы, которые, может быть, представляются самыми прекрасными, самыми религиозными, которые когда-либо были созданы натуралистической мыслью:

«Братья мои, оставайтесь верными земле всей силой своей любви! Пусть ваша любовь расточает свои силы, а ваше сознание направляется только в земном направлении. Я прошу вас об этом и заклинаю. Не позволяйте своим добродетелям отлетать далеко от земного и биться крыльями о стены вечности. Увы, так много на свете заблудившейся добродетели!.. Подобно мне, возвращайте земле заблудившуюся добродетель, да к телу и к жизни, и пусть она дает земле свои силы, человеческие силы...»

Пока Ницше заканчивал этот гимн, на генуэзском побережье, в Венеции, умер Рихард Вагнер. Ницше узнал об этом событии, которое глубоко взволновало его, и почувствовал в совпадении обстоятельств некоторое предзнаменование. Умер поэт «Зигфрида». Пусть человечество ни одной минуты не будет лишено лиризма, так как Заратустра уже заговорил. В продолжение шести лет Ницше не писал Козиме Вагнер; теперь он решил, что он может ей сказать, что он ничего не забыл из прошлого и что он разделяет ее горе.

— Не правда ли, вы одобряете мой поступок, я в этом уверен, — пишет он m-lle Мейзенбух.

* * *

14 февраля Ницше написал своему издателю Шмейцнеру:

«Сегодня у меня к вам есть дело; я сделал решительный шаг, и вы можете им воспользоваться. Дело идет о маленькой работе, не более ста страниц; она называется «Так говорил Заратустра, книга для всех и ни для кого». Это или поэзия, или пятое евангелие, или еще что-нибудь

другое, что не имеет названия; это самое серьезное, самое удачное из моих многих произведений и приемлемое для всех...»

Он написал Петеру Гасту и m-lle Мейзенбух: «В этом году я избегаю общества, — пишет он. — Я прямо поеду из Генуи в Силс!» Так сделал Заратустра, который покинул город и вернулся в горы. Но Ницше не Заратустра, он слаб, и одиночество волнует и пугает его. Проходит несколько недель; от Шмейцнера нет никакого ответа; Ницше беспокоится и решает изменить свои летние проекты; ему захотелось слышать человеческую речь. Сестра его, которая жила в Риме около m-lle Мейзенбух, предвидела, что Ницше не выдержит одиночества и устанет духом, и выбрала удобный момент попробовать вызвать его к себе; Ницше не сопротивлялся и обещал приехать.

Снова он очутился в Риме; его старый друг немедленно ввел его в блестящее общество. Там был Ленбах, графиня Дёнгоф, ныне княгиня фон Бюлов, очаровательная женщина и большая музыкантша. Ницше с грустью почувствовал, насколько он чужд этой веселой болтовне, насколько он из другого мира, чем эти люди, и что он будет не понят ими. О нем высказывались самые разнообразные мнения: говорили, что это любопытный человек, очень страстный и эксцентричный, может быть, великого ума; но этого дерзкого мнения не решался никто высказать. И Ницше, столь гордый в одиночестве, сам удивлялся своему приниженному состоянию. У него, казалось, не было силы презирать этих людей, которые не понимают его: его охватывают беспокойство и страх за его нежно любимого сына Заратустру.

«Мою книгу бегло просмотрят, — пишет он Гасту, — это будет предметом для разговора. Подобная перспектива

внушает мне отвращение. Кто достаточно серьезен, чтобы понять меня? Если бы я имел авторитет старого Вагнера, дела мои обстояли бы и наилучшим образом, но теперь никто не может уберечь меня от того, что я попадусь в руки «gens de lettres». К черту!»

Посетили его и другие неприятности: в продолжение зимы он привык к хлоралу, который помогал ему побороть бессонницу; теперь он лишен его и с трудом находит нормальный сон. Издатель Шмейцнер не торопился печатать «Так говорил Заратустра», и когда Ницше осведомился о причине такого замедления, ему отвечали, что есть более срочная работа: надо сначала издать пятьсот тысяч экземпляров собрания гимнов для воскресных школ. Ницше еще понапрасну ждет несколько недель и снова осведомляется и получает такой ответ: собрание гимнов напечатано, но надо напечатать и распространить большой выпуск антисемитских брошюр. Наступил июнь, а «Заратустра» еще не был напечатан. Ницше крайне возмущен и страдает за своего героя, которого душит человеческая плоскость в лице пиетизма и антисемитизма.

У него пропадает охота писать, и он оставляет на хранение на вокзале свои чемоданы, в которых находились привезенные им рукописи и книги, сто четыре кило бумаги. Все в Риме раздражает его: неприятный народ, убогая чернь, — верные дети своих духовных пастырей, сами пастыри еще более уродливые, чем их духовные дети, эти церкви, «вертепы с затхлым запахом». У него была инстинктивная и давнишняя ненависть к католицизму; при каждом приближении к нему Ницше содрогался. В его лице мы видим не осуждающего и отрицающего философа, а верного сына пастора, лютеранина, который не терпит другой церкви, наполненной запахом ладана и идолами.

У него явилось желание уехать из Рима. Когда-то ему хвалили красоту Акида. Это была резиденция Фрид-

риха фон Гогенштауфена, императора арабов и евреев, врага пап; Ницше хочет там основать и свою резиденцию. Но ему жаль расстаться со своей комнатой; она очень хороша и находится в прекрасном месте города, а именно на верхнем этаже дома, выходящего на piazza Barberini. Здесь можно забыть о городской жизни, а журчание воды соседнего фонтана-тритона рассеивает тоску и заглушает шум человеческих голосов. Здесь однажды вечером из-под пера Ницше вылился экспромт, может быть, с большей силой, чем все, что он написал до сих пор, выражающий его отчаяние и чувство одиночества.

«Зачем я свет, увы, если бы я был ночью! Но мое одиночество в том, что я окружен светом! Почему я не тень и не мрак? Как жадно бы пил я у груди света... Но я живу в своем собственном свете и я пью пламя, исходящее из меня самого!...»

«Так говорил Заратустра, книга для всех и ни для кого» вышла, наконец, в первых числах июля.

«Я нахожусь в очень возбужденном состоянии, — пишет Ницше, — вокруг меня милые симпатичные люди, но как только я остаюсь наедине с самим собою, я чувствую такое глубокое волнение, какого еще никогда не испытывал». Ницше скоро узнал о судьбе, постигшей его книгу: друзья его мало о ней говорили, журналы и обозрения не обратили на нее внимания; никто не интересуется Заратустрой, этим странным пророком, который библейским тоном проповедует безверие. «Как резко написана эта книга!» — говорят испуганные Лизбет и m-lle Мейзенбух, обе христианки в душе. «А я, — пишет Ницше Петеру Гасту, — я нахожу в моей книге столько мягкости!»

Наступившая жара разогнала все римское общество. Ницше не знал, куда ему деться; он мечтал совсем о другом; он был уверен, что взволнует весь литератур-

ный мир Европы, что он найдет наконец читателей, найдет, — не себе, такому слабому, а столь сильному Заратустре учеников и даже, может быть, последователей. «У меня есть проект на это лето, — писал он в мае Петеру Гасту, — найти где-нибудь в лесу старинный замок, где прежде бенедиктинские монахи предавались размышлениям, и наполнить его друзьями, избранными людьми».

Около 20 июня, разбитый потерей всех своих надежд, он уехал в свое любимое место, в Энгадин, в сопровождении вернувшейся в Германию Лизбет. Она передавала потом, что никогда не видала его таким оживленным, блестящим и веселым, как в течение нескольких часов пути; он импровизировал, писал эпиграммы, отрывки стихотворений, для которых она давала ему окончания; он смеялся, как дитя, и, боясь, что явятся пассажиры, которые могут стеснить его, он на каждой станции звал кондуктора и давал ему на чай.

Ницше не был в Энгадине с лета 1881 года; он задумал тогда «Вечный возврат» и речи Заратустры. Охваченный этими воспоминаниями и внезапным одиночеством, унесенный властным наплывом вдохновения, он в десять дней написал вторую часть своего произведения.

Оно полно горечи. Ницше не мог побороть той злобы, приближение которой он чувствовал зимой; он не мог больше сочетать силу с мягкостью. «Я не охотник за мухами», — говорил раньше Заратустра, и он презирал своих противников. Он говорил с ними как доброжелатель; они его не послушали, и Ницше влагает в его уста другие слова: «Заратустра — друг правосудия, — пишет он кратко в своих записках, — проявление правосудия в наиболее г р а н д и о з н о м виде; правосудия, которое строит, отделяет и которое вслед за этим должно разрушить».

У Заратустры, друга правосудия, на языке только

оскорбления и жалобы. Он поет ту ночную песню Ницше, которую он однажды в Риме импровизировал для себя одного.

«Зачем я свет, увы, если бы я был ночью! Но мое одиночество в том, что я окружен светом!»

Это уже не тот герой, которого Ф. Ницше создал существом, стоящим выше всего человеческого; это отчаявшийся человек, это, наконец, сам Ницше, слишком слабый для того, чтобы выражать что-либо иное, кроме своего раздражения и жалоб:

«По правде сказать, друзья мои, я хожу между людей, как между отдельными их частями и членами.

Нет для моих глаз более ужасного зрелища, чем видеть людей разбитых и разбросанных, лежащих, как на поле битвы.

Когда мой взгляд от настоящего обращается к прошедшему, то и там он находит то же самое: отдельные части и члены, ужасные стечения обстоятельств, — но нет цельных людей.

Настоящая и прошедшая жизнь на земле, друзья мои, вот что для меня самое невыносимое; и я не мог бы существовать, если бы мне не было открыто свыше то, что роковым образом должно случиться.

Духовидец, творец, само будущее, или мост к этому будущему, увы, может быть, даже калека, стоящий на этом мосту, — все это воплощает в себе Заратустра...

Я брожу между людьми, осколками будущего, а созерцаю это будущее в моих видениях...»

Ницше порицает все нравственные устои, поддерживавшие прежнее человечество: он хочет уничтожить прежнюю мораль и установить свою. Узнаём ли, наконец, этот новый Закон? Ницше медлит открыть нам его. «Свойства Заратустры становятся все более и более видимыми», — пишет он в своих заметках. И он сам бы хотел, чтобы это действительно было так: он пробует, несмотря на всю свою душевную горечь и все свое не-

довольство, провозгласить, определить эту обещанную им новую форму добродетели, нового добра и нового зла. Им овладевает резкое и бурное настроение; восхваляемая им добродетель, что ничем не замаскированная сила, — это дикий пыл, который нравственные принципы всегда стремились ослабить, изменить или навсегда победить. Ницше отдается во власть этой увлекающей его силы:

«Я с восхищением наблюдаю за чудесами, расцветающими под горячими лучами солнца, — говорит Заратустра. — Это тигры, пальмы, гремучие змеи... На самом деле даже зло имеет свое будущее, и самый знойный юг еще не открыт человеку... Когда-нибудь на земле появятся огромные драконы... Ваша душа так далека от понимания великого, что Сверхчеловек с его добротой будет для вас у ж а с е н».

В этой странице есть много напыщенности, слова скорее красивы, чем сильны; может быть, такой прием доказывает нам, что Ницше несколько стеснен в выражении своей мысли; он не настаивает на принятии этого евангелия зла и предпочитает отсрочить тот затруднительный момент, когда пророк провозгласит свой закон. Заратустра сначала должен закончить дело служителя правосудия — уничтожить все слабое. Но каким оружием он должен нанести удар? Ницше возвращается к изгнанному им из первой части «Вечному возврату» и несколько изменяет его смысл и применение. Это уже больше не упражнение умственной жизни, не попытка внутреннего построения: это молот, оружие морального терроризма, символ, разрушающий все мечты.

Заратустра собирает своих учеников и хочет сообщить им свое учение, но голос его дрожит и он замолкает, охваченный внезапной жалостью; он страдает сам, провозглашая свою ужасную идею; одну минуту он колеблется разрушить все иллюзии лучшего будущего, ожи-

дание будущей жизни, духовного блаженства, туман которого скрывает от людей убожество их существования. Все эти мысли волнуют Заратустру. Состояние его угадывает один горбун и насмешливо спрашивает пророка: «Отчего Заратустра говорит с учениками иначе, чем с самим собою?» Заратустра чувствует свою ошибку и снова уходит в пустыню. Этим кончается вторая часть книги.

24 июня 1882 г. Ницше приехал в Силс; около 10 июля он писал своей сестре:

«Убедительно прошу тебя, постарайся увидеть Шмейцнера и добиться от него письменно или устно, как ты найдешь лучше, чтобы он тотчас же по получении рукописи отдал в печать вторую часть Заратустры. Эта вторая часть уже готова. Какой бы большой силы и порыва ты ни представила себе в этом произведении, ты не ошибешься и не преувеличишь. Ради всего святого, устрой дела со Шмейцнером; сам я слишком легко выхожу из себя».

Шмейцнер дал обещание исполнить просьбу Ницше и сдержал свое слово. В августе Ницше получил корректуру, которую и отдал для просмотра сестре и Петеру Гасту; сам он чувствовал себя для этой работы слишком утомленным: его силы были совершенно надорваны теми ужасными мыслями, которые он высказал, и еще более ужасными, которые еще были в его голове.

* * *

К душевному переутомлению прибавились еще и другие неприятности, а именно неудачная попытка Лизбет завести речь о печальных событиях прошлого лета. Зная ее немного строптивый характер, он сказал ей весной, когда они уже примирились: «Обещай мне никогда не говорить больше об истории с Лу Саломе и Паулем Ре». Три месяца Лизбет сдерживалась и наконец проговорила. Что она сказала, нам неизвестно, как

неизвестно и много других подробностей всего этого дела. «Лизбет, — писал Ницше m-me Овербек, — непременно хочет отомстить русской барышне». Очевидно, Лизбет рассказала брату какие-нибудь новые факты и подробности, о которых он еще не знал. Ницше охватило болезненное раздражение, и он написал Паулю Ре письмо, черновик которого дошел до нас; но было ли письмо отправлено именно в таком виде, нам неизвестно.

«Слишком поздно, почти через год я узнал ту роль, которую вы играли в известной истории прошлого лета; никогда еще в душе моей не было столько отвращения, как сейчас, при мысли, что такой человек, как вы, коварный, лживый и лукавый, мог в продолжение стольких лет называть себя моим другом. Ведь это было преступление и не только против меня, но и против самой дружбы, против этого пустого слова дружба. Стыдитесь! Итак, это, значит, вы клеветали на мой характер, m-lle Саломе только передавала и очень нечестно, низко передавала ваше мнение обо мне? Так это вы в мое отсутствие, разумеется, говорили обо мне, как о вульгарном и низком эгоисте, готовом всегда ограбить других? Это вы обвиняли меня в присутствии m-lle Саломе в самых грязных намерениях на ее счет под маской идеалиста? Это вы осмелились сказать про меня, что я сумасшедший и сам не знаю, чего хочу? Теперь, без сомнения, я гораздо лучше понимаю всю эту историю, благодаря которой самые уважаемые мною, самые близкие мне люди стали для меня совсем чужими... Я считал вас другом; и, может быть, ничто, в продолжение семи лет, не мешало так моему собственному успеху, как те усилия, которые я делал, чтобы защитить вас. Оказывается, что я очень недалеко ушел в искусстве узнавать людей, это, конечно, тоже послужит вам темой для насмешек. Как вы, должно быть, надсмеялись надо мной! Браво! Я предпочитаю быть предметом насмешек для таких людей, как вы, чем стараться понять их. Я бы с удовольствием с пистолетом в руке дал вам урок практической морали; я, может быть, в лучшем случае достиг бы того, что прервал бы раз навсегда все ваши работы над моралью; но для того,

чтобы я дрался с вами, нужны чистые, а не грязные руки, господин доктор Пауль Ре».

Этого письма, конечно, не может быть достаточно для того, чтобы осудить Пауля Ре. Ницше написал его в минуту гнева, под влиянием слов сестры, которые часто были более горячи, чем правдоподобны. Это хороший пример впечатлительности Ницше, но для малоизвестных нам обстоятельств это очень слабое освещение. Каково было на самом деле поведение Пауля Ре? В чем он был прав, в чем виноват? В апреле 1883 года, через шесть месяцев после ссоры в Лейпциге, он хотел посвятить Ницше работу об основах нравственного сознания, всю проникнутую ницшеанскими идеями, но Ницше отверг это публичное выражение уважения. «Я не хочу больше, — писал он Петеру Гасту, — чтобы меня с кем-нибудь смешивали». Из письма Георга Брандеса от 1888 года мы узнаем, что Пауль Ре и m-lle Саломе живут в Берлине «как брат и сестра, по показаниям обоих». Без сомнения, Пауль Ре помогал m-lle Саломе в 1893 г. написать очень умную и благородную книгу о Ф. Ницше. Мы склонны думать, что между этими двумя людьми встало одно препятствие: любовь к одной и той же женщине.

Франц Овербек, взволнованный лихорадочными письмами Ницше, где он жаловался на свое полное одиночество в 40 лет и на измену своих друзей, решил поехать в Силс, чтобы развлечь своего друга в его уединении, которое как бы пожирало его и заставляло истекать кровью. Лизбет, очень осторожная особа и мещанка в своих вкусах, писала ему в ответ на его жалобы письма, наполненные следующими советами: «Ты одинок, это правда, но не сам ли ты искал одиночества? Поступай профессором в какой-нибудь университет, тогда у тебя будет имя, и ученики тебя будут лучше знать и читать твои книги...» Ницше утомляет-

ся, слушая ее, но все же слушает и обращается к ректору Лейпцигского университета, который немедленно советует ему оставить всякую попытку по этому поводу, так как ни один немецкий университет не может принять в число своих профессоров атеиста, признанного антихристианина... «Этот ответ возвратил мне мужество», — пишет Ницше Петеру Гасту; сестре он написал резкое письмо, колкость которого она, конечно, почувствовала:

«Совершенно необходимо, чтобы я был непризнан, — писал он ей, — и даже больше того, я должен идти на встречу клевете и презрению. Мои «ближние» первые против меня; в течение прошлого лета я понял это, и я великолепно почувствовал, что я, наконец, нашел свой путь. Когда мне приходит в голову мысль: «Я не могу выносить больше моего одиночества», то меня охватывает чувство непобедимого унижения перед самим собою — и я возмущаюсь против того, что есть во мне самого высшего...»

В сентябре Ницше направился в Наумбург, где он имел намерение пробыть несколько недель; мать и сестра внушали ему какое-то смешанное, не поддающееся анализу чувство. Он любил их, потому что они были ему родные, и потому, что был нежен, верен и бесконечно чувствителен к воспоминаниям детства, но вместе с тем каждая его мысль, каждое его желание отдаляли его от них и ум его презирал их. Тем не менее старый наумбургский дом был единственным местом на земном шаре, где при условии кратковременного пребывания еще существовал для него хоть какой-нибудь светлый проблеск в жизни.

Он нашел мать и сестру в ссоре. Лизбет была влюблена в некоего Фёрстера; это был агитатор, идеолог германского национализма и антисемит, организовавший тогда колонизацию в Парагвай. Лизбет хотела выйти за него замуж и уехать вместе с ним; мать была в отчая-

нии и старалась удержать ее; она встретила Ницше как спасителя, и рассказала ему о безумных планах Лизбет. Ницше был потрясен; он знал, что такое представлял из себя Фёрстер, и был знаком с его идеями; он презирал тяжеловесные и низкие страсти, которые возбуждала его пропаганда, и подозревал его в распространении оскорбительных слухов о его произведениях; он не мог вынести даже мысли о том, чтобы Лизбет, друг его детства, могла пойти за этим человеком. Он позвал ее и резко высказал свое мнение. Она стояла на своем. Это была девушка не с очень тонкой и мягкой душой, но энергичная. Слабый в глубине души, Ницше уважал в ней это качество, которого не хватало в нем самом. Он бранил ее, уговаривал, но ничего не добился.

* * *

Приближалась осень, и Наумбург покрылся туманами. Ницше уехал с душой, утомленной всеми семейными ссорами, и спустился в Геную.

«Я очень плохо себя чувствую, — писал он в октябре m-lle Мейзенбух, — и в этом виновата моя поездка в Германию. Я могу жить только на берегу моря; всякий другой климат угнетает меня, расстраивает нервы, вредно действует на мои глаза, повергает меня в мрачную беспросветную меланхолию; я должен был бороться с нею большим усилием, чем с гидрой и с другими знаменитыми чудовищами. В этой маленькой скуке скрывается самый злейший и опасный враг и величайшее несчастье приближается...»

В середине ноября Ницше покидает Геную и, путешествуя по западному побережью, разыскивает себе зимнюю резиденцию. Он проезжает через Сан-Ремо, Ментону, Монако и останавливается в Ницце, которая приводит его в восхищение. Он находит в ней именно то, что ему было нужно, — свежий воздух, изобилие света

и большое количество светлых чистых дней. «Свет, свет, свет, — пишет он, — наконец, я пришел в равновесие».

Ему не нравится только сам интернациональный колорит города, и вначале он снимает себе комнату в доме, находившемся в старой итальянской части города, не в Nice, а в Nezza, как он всегда писал. Соседями его были рабочие: каменщики, приказчики; все они говорили по-итальянски. Именно живя в подобных условиях в Генуе в 1881 г., он испытал некоторое облегчение.

Он отгоняет от себя праздные мысли и делает энергичные усилия, чтобы окончить «Заратустру»; но в этом-то и заключалось его несчастье; трудность его работы была чрезвычайно велика, почти непобедима. Как кончить «Заратустру»? Произведение это огромно по своему замыслу; оно будет поэмой, которая затмит собой поэмы Вагнера, евангелием, которое заставит забыть Евангелие Христа. С 1875 до 1881 г., в продолжение шести лет, Ф. Ницше исследовал все учения о нравственности и указал на их иллюзорное основание; он высказал свое понимание мира; это слепой механизм, непрерывно и бесцельно вертящееся колесо; но между тем он хочет быть и пророком, хочет учить о добродетелях и о целях жизни. «Я один из тех, которые диктуют ценности на тысячи лет, — говорит он в своих заметках, в которых явно сквозит самовлюбленная гордость. — Погрузить в века, как в мягкий воск, свои руки, писать, как на меди, волю тысячи людей, более упорных, чем медь, более благородных, чем медь, вот, скажет Заратустра, блаженство творца».

Но какие законы, какие скрижали хочет диктовать Ницше? Какие ценности он возвысит, какие обесценит? Есть ли у него право избирать и строить здание красоты и добродетели, если в природе царит механический порядок? Это, конечно, право поэта, гений которого, творец иллюзий, предлагает воображению людей ту или

иную любовь или ненависть, то или иное Добро или Зло.

Ницше дает нам такой ответ, но этим самым он не скрывает от себя всю трудность своего предприятия. На последних страницах своей поэмы он делает такое признание. «Вся опасность, грозящая мне, заключается в том, — говорит Заратустра, — что мой взор стремится ввышину в то время, как моя рука ищет поддержки и помощи в пустоте».

Но Ницше хочет достигнуть своей цели. Этим летом он почувствовал близость того трагического конца, который угрожал ему в продолжение всей его жизни. Он спешит окончить свою книгу, которая явится выразительницей его последних желаний и мыслей. У него было намерение окончить поэму в трех частях; две из них были уже готовы, но в них еще ничего не было сказано, еще не произошло самого развития драмы. Надо показать Заратустру в его общении с людьми, возвещающим им «Вечный возврат», унижающим слабых, укрепляющим сильных, разрушающим прежнее человечество; Заратустра должен явиться законодателем, диктующим скрижали Закона и умирающим, наконец, от жалости и радости, созерцая свое произведение.

«Заратустра в один и тот же момент испытал высшее горе и высшую радость, и в самый ужасный момент контраста он почувствовал себя разбитым; это была самая трагическая история с божественной развязкой. Заратустра стал постепенно возвышаться, а учение его развивается по мере того, как увеличивалось его значение. На развалинах последней катастрофы, как заходящее солнце, блеснит «Вечный возврат». В третьей части находится великий синтез того, что создает, любит и уничтожает.»

На август месяц Ницше назначил развязку; его личная жизнь в это время была очень печальна, и это отзывалось на его работе; он снова принимается за начатую им третью часть.

Ему хочется написать драму, действие которой он помещает в античную рамку, в местность, опустошенную чумой. Жители этой местности хотят начать новую эру, ищут законодателя и призывают Заратустру, который спускается к ним со своих гор, окруженный своими учениками. — «Идите, — говорит он им, — и возвестите Вечный возврат...» Ученики боятся и признаются в этом. «Мы можем выносить твоё учение, но могут ли это массы?» — говорили они. *«Мы должны произвести опыт с истиной»,* — отвечал Заратустра. — А если истина должна уничтожить человечество, ну, что же, пускай!» Ученики все еще колеблются. Он приказывает им: «Я вложил в вашу руку молот, он должен опуститься на головы людей. Бейте!»

Но ученики боятся народа и покидают своего учителя. Тогда, оставшись один, Заратустра заговорил. Толпа ужаснулась, обезумела, слушая его:

«Один человек кончает самоубийством, другой сходит с ума. Божественная гордость поэта воодушевляет его, в с е должно выйти на свет. И в тот момент, когда он провозглашает соединение Вечного возврата и Сверхчеловека, — он уступает жалости.

Все присутствующие противоречат ему: «Надо, — раздались голоса, — задушить это учение и убить Заратустру».

Нет в мире ни одной души, которая бы любила меня; как же я могу любить жизнь?

Он умирает от тоски, являя миру великое страдание в своем творчестве...

— Из чувства любви я причинил людям самое большое страдание; теперь я уступаю этому доставленному мною страданию.

Все уходит, и Заратустра остается один и кладет руку на голову своей змеи: «Что мне посоветует моя мудрость?» — Змея ужалила его. Орел разрывает змею на части, лев бросается на орла. Наблюдая за битвой своих зверей, Заратустра умирает. В пятом акте — похвалы Заратустре.

Группа верных ему людей собирается у могилы Заратустры; они убежали тогда, когда он обращался к ним; увидя его мертвым, они делаются наследниками его души и возвышаются до его высоты. Затем следует похоронная церемония: «Это мы убили его». — Похвалы... «Великий полдень». Полдень и вечность».

Ницше отказывается от этого плана, хотя в нем и предчувствуется много красивых мест. Может быть, ему не хотелось показывать унижение своего героя; это возможно, и поэтому мы видим, как он ищет триумфальной развязки. Но, главным образом, Ницше наталкивается на трудности, глубину которых он, пожалуй, в должной степени не чувствует: два символа, на которых построена его поэма, «Вечный возврат» и Сверхчеловек, образуют такой диссонанс, который делает невозможным окончание произведения. «Вечный возврат» — это горькая истина, исключающая всякую возможность надежды. Сверхчеловек — это надежда, иллюзия. Между тем и другим нет никаких точек соприкосновения, но полное противоречие. Если Заратустра будет проповедовать «Вечный возврат», то он не сможет влить в души своих учеников страстную уверенность в сверхчеловечество; а если он будет проповедовать Сверхчеловека, то он не будет в состоянии пропагандировать моральный терроризм «Вечного возврата». Тем не менее Ф. Ницше наделяет своего героя этими двумя задачами: полный беспорядок и торопливость, царившие в его мыслях, толкают его на этот абсурд.

Но он никогда не признавался в настоящих трудностях, на которые он наталкивается; он, правда, с трудом замечает их, хотя они его и стесняют, и он ищет инстинктивно какого-нибудь исхода. Он пишет второй план, тоже очень удачный: остается та же обстановка, та же опустошенная чумой и истребленная пожарами страна; то же воззвание Заратустры, являющегося среди рассеянного народа; но он является уже как благоде-

тель и не возвещает своего ужасного учения. Сначала он дает народу свои законы и заставляет его принять их; затем и только затем он возвещает «Вечный возврат». Ницше говорит нам, какие Заратустра дает законы. Вот одна из страниц, очень редких по своему содержанию, в которых мы можем усмотреть порядок, предносившийся его мечтам:

«а) Заново распределенный день: физические упражнения для всех возрастов. Конкуренция, возведенная в принцип...

б) Новая аристократия и ее воспитание. Единство, добытое естественным подбором. В честь образования каждой семьи — праздник.

с) Опыты (Со злыми — наказания). Милость, обновленная заботами о грядущем поколении. Злые уважаемы наравне с разрушителями, потому что разрушение необходимо как источник силы. Позволить злым вести дело воспитания, не запрещать им соперничать между собой. Воспользоваться дегенератами. Наказание законно, когда преступник утилизирован как предмет для опыта (для нового питания). Таким образом наказание посвящено...

д) Спасти женщину, сохраняя в ней женщину.

е) Рабы (улей). Маленькие люди и их добродетели. Научиться переносить покой. Увеличение числа машин. Превращение машин в красоту.

«Для вас уверенность и рабство».

ф) Времена для уединения. Разделение времени и дней. Пища. Простота. Знак равенства между богатыми и бедными. Уединение от времени до времени необходимо, для того чтобы человек углубился и узнал самого себя.....

Установление праздников, основанных на мировой системе: праздники космических отношений, праздники земли, дружбы, великого полудня».

Заратустра объясняет свои законы и заставляет всех любить их; девять раз он повторяет свои предсказания

и наконец провозглашает «Вечный возврат». Он говорит народу, и слова его звучат как молитва.

«Великий вопрос:

Вначале были даны законы. Все приспособлено к произведению Сверхчеловека, — это будет грандиозный и ужасный момент! Заратустра возвещает учение о «Вечном возврате», который может быть принят теперь человечеством: даже сам он в первый раз выносит его.

Решительный момент: Заратустра обращается с вопросом ко всей этой собравшейся на праздник толпе:

— Хотите ли вы возобновления всего этого?

Все ответили:

— Да!

Заратустра умирает от радости. Умирая, он держит землю в объятиях. И хотя никто не сказал ни слова, но все узнали, что Заратустра умер.»

Это было прекрасной развязкой, но Ницше не замедлил счесть ее слишком легкой и красивой. Он немного сомневается в существовании этой довольно быстро основанной платоновской аристократии. Она всецело отвечает его желаниям, соответствует ли она его мыслям? Ницше был способен разрушить все прежние учения о нравственности, но он не считает себя в праве так быстро заменить их другими. Последнее восклицание также беспокоит его. «Все отвечают: «Да». Понятно ли это? Человеческие общества всегда поведут за собой несовершенную толпу, на которую придется воздействовать силой или законами. Ницше знает это: «Я ясновидающий, — пишет он в своих заметках, — но совесть моя неумолимо освещает мое предвидение и я сам воплощенное сомнение». Он отказывается от своего последнего плана. Он никогда не будет говорить о деятельной жизни и о смерти Заратустры.

У нас нет никакого письменного доказательства его задушевной тоски, никакого письма или заметки, которые давали бы нам подобное впечатление; но будем и в

его молчании видеть молчаливое признание своей скорби и унижения, разве они не очевидны для нас? У Ницше всегда было желание написать классическое произведение, историческую книгу, систему или поэму, достойную древних эллинов, выбранных им в учителя, но этой тщеславной мечте он не мог дать форму. В конце 1883 года он сделал почти безнадежную попытку; изобилие и серьезная глубина его заметок помогают нам судить об интенсивности его оказавшейся совершенно бесплодной работы. Он не в силах ни основать своего нравственного идеала, ни написать трагическую поэму: одновременно он видит неосуществимость двух своих произведений и чувствует, что улетает его мечта. Он видит себя только несчастным человеком, способным на слабые усилия, на лирические песни и жалобные крики.

Грустно начался для него 1884 год. Случайно выпавшие ясные январские дни немного придают ему силы, и он, неожиданно для самого себя, импровизирует; в его импровизации нет ни города, ни народа, ни законов; в ней только беспорядочные жалобы, призывы и отрывки нравственных положений, и все это кажется уже остатками, развалинами великого произведения. Это третья часть «Заратустры». Пророк, как и Фр. Ницше, живет одиноко в горах; говорит только с самим собою; он мечтает и забывает, что он одинок; он угрожает человечеству и убеждает его; но люди не боятся и не слушают его. Он проповедует им презрение к общепризнанным добродетелям, культ храбрости, любовь к силе и грядущему поколению. Но он не спускается вниз к людям, и никто не слышит его предсказаний; он грустен и жаждет смерти. Тогда является Жизнь, которая узнает о его желании и возвращает ему мужество.

«О, Заратустра, говорит богиня, не щелкай так бичом, это невыносимо. Ты прекрасно знаешь, что шум прогоняет мысли, а меня только что посетили такие нежные мысли. Послушай меня, ты недостаточно ве-

рен мне, ты любишь меня не так сильно, как об этом говоришь; я знаю, что ты хочешь покинуть меня».

Заратустра выслушивает этот упрек, улыбается и медлит с ответом.

«Я сознаюсь, — отвечает он, наконец, — но ты знаешь это так же хорошо, как и я сам...»

Он наклоняется к богине и шепчет ей на ухо, и мы угадываем его тайные речи: «Не все ли равно, что я умираю, — говорит он, — ведь ничто не разлучает, не приближает, потому что каждый момент возвращается, каждая минута вечна».

— Как? — говорит богиня, — ты знаешь это, Заратустра, но ведь никто на знает этого.

Взоры их встречаются, они смотрят друг на друга, смотрят вместе на луг, зеленеющий в вечернем влажном, холодном воздухе; они плачут, потом в молчании слушают одиннадцать слов старого горного колокола, звонящего полночь.

Раз!

О, друг, вникай!

Два!

Что полночь говорит?

Вникай!

Три!

Был долгод сон, —

Четыре!

Глубокий сон развеял он: —

Пять!

Мир — глубина!

Шесть!

Глубь эта дню едва видна!

Семь!

Скорбь мира эта глубина, —

Восемь!

Но радость — глубже, чем она.

Девять!

Жизнь гонит скорби тень!

Десять!
Но радость рвется в вечный день.
Одиннадцать!
В желанный вековечный день*.
Двенадцать! ...

Тогда Заратустра встает и находит снова свою уверенность, мягкость и силу, берет свой посох и с песней спускается к людям. Один и тот же стих кончает семь строф его гимна: «Никогда я еще не встречал той, от которой бы хотел иметь детей; ею может быть только та женщина, которую я люблю, потому что я люблю тебя, о, Вечность! *Потому что я люблю тебя, о, Вечность!*

В начале поэмы Заратустра входил в большой город «многоцветная корона» (он так его называет) и начинал свою проповедь. В конце третьей части Заратустра спускается в большой город и снова начинает свою проповедь. Побезденный Фридрих Ницше, несомненно, за два года продвинулся вперед. В 1872 году он посылал m-lle Мейзенбух прерванную серию своих лекций о будущем университетов. «Это возбуждает ужасную жажду, — говорил он ей, — и, в конце концов, нечего пить». Эти же слова можно применить и к его поэме.

*Пер. Ю. М. Антоновского. С. 252—253, изд. 1905 г.



III

Приезд Генриха фон Штейна

В апреле 1884 года Ницше одновременно выпустил в свет вторую и третью части своей книги; кажется, что Ницше даже чувствовал себя счастливым в это время.

«Всему свое время, — пишет он 5 марта Петеру Гас-ту; — мне сорок лет и я нахожусь как раз в том положении, каким в 20 лет желал быть к этим годам: я прошел хороший длинный, страшный путь.

— Я хочу тебе, как человек литературный, — пишет он Роде, — сделать следующее признание: у меня есть предположение, что своим Заратустрой я в высшей степени улучшил немецкую речь. После Лютера и Гёте оставался еще третий шаг; обрати внимание, мой старый, милый товарищ, было ли когда-нибудь в нашем языке такое соединение силы, гибкости и красоты звука...

Мой стиль похож на танец; я свободно играю всевозможными симметриями, я играю ими даже в моем выборе гласных букв».

Эта радость продолжалась недолго. Ницше не мог выбрать себе новой работы, и не находившая приложения энергия превращалась постепенно в скуку. У него явилась было мысль составить новую систему, создать какую-нибудь «философию будущего». Он подумал об этом, но потом отказался от своего намерения, так как чувствовал себя усталым и от мышления и от писания.

Он хотел бы отдохнуть под звуки какой-нибудь прекрасной музыки. Но какой? Той, которую бы он хотел слышать, увы, не существовало! Итальянская была для него слишком сладкой, немецкая слишком поучающей; такой, как хотелось ему, лирической и живой, серьезной и тонкой, ритмичной, насмешливой и страстной, он не находил нигде. Ему в достаточной степени нравилась «Кармен», но он предпочитал ей музыку Петера Гаста. «Ваша музыка, — пишет он ему, — мне нужна ваша музыка».

Петер Гаст жил в Венеции. Ницше хотел было туда поехать, но его пугала сырость Венеции и он боялся раньше половины апреля покинуть Ниццу. Он испытывал типичную, с каждым годом увеличивающуюся требовательность больного: его печалил пасмурный день, восьмидневное отсутствие солнца прямо-таки подавляло его.

21 апреля Ф. Ницше приехал в Венецию. Петер Гаст жил неподалеку от Rialto и окно его комнаты выходило на Канале Гранде. Ницше обрадовал вид знакомого города; он не был в нем четыре года и испытывал прямо детскую радость. Целыми часами он бродит в венецианском лабиринте, любит неожиданными эффектами солнца в воде, грацией веселого и скромного населения, неожиданно вырастающими из земли садами, мхом и цветами, распустившимися между камнями. «Венеция, — говорит он, — состоит из целой сотни отдельных единств, и в этом заключается магическое очарование. Это символ для грядущего поколения». Ницше бродит по маленьким улицам города, как бродил по горам, по четыре, по пять часов в день, то смешиваясь с итальянской толпой, то уединяясь и непрерывно размышляя над трудностью своей работы.

Он часто спрашивал себя о том, что он напишет; он собирался издать целую серию брошюр, комментирующих некоторые части его поэмы, но никто не оказывает

ему чести прочесть слова Заратустры; друзья, которым он послал свою книгу, получили ее; но он напрасно ждал от них писем, и это печальное молчание изумляло его. Только один молодой писатель, Генрих фон Штейн, написал ему горячее искреннее письмо. Ницше отказывается от своего намерения, находя смешным комментировать Библию, игнорируемую публикой. В половине июня он уезжает из Венеции, озабоченный самыми разнообразными проектами. Ницше думает самым серьезным образом о своей «философии будущего». Он хочет бросить или, по крайней мере, изменить свою поэму; он намеревается приневолить себя к продолжительным занятиям, к пяти, шести годам размышления и, может быть, даже молчания и формулировать свою систему более точно и определенно. Он едет в Швейцарию, чтобы в базельских библиотеках прочесть книги по истории и естествознанию; но его изнуряет тяжелая базельская жара и друзья не удовлетворяют его; они или совсем не читали, или прочли очень невнимательно *«Так говорил Заратустра»*. «Я чувствовал себя среди них, как среди коров», — писал он Петеру Гасту и уехал в Энгадин.

* * *

20 августа он получил письмо от Генриха фон Штейна, который извещал его о своем приезде. Кто был этот Штейн? Молодой человек, лет двадцати шести, немецкий писатель, подававший уже блестящие надежды. В 1878 году он издал небольшую книгу под заглавием *«Die Ideale des Materialismus. Lyrische Philosophie»* («Идеалы материализма. Лирическая философия»), которую Ницше прочел, и, найдя в этом опыте попытку, аналогичную своим исканиям, заинтересовался ее автором. Ницше полагал, что нашел ум своего направления, товарища по работе. M-lle Мейзенбух скорее добрый, чем про-

нищательный человек (в этом был ее недостаток), думала, что поступит лучше, если направит Генриха фон Штейна к Рихарду Вагнеру. Она ввела его в этот дом, и молодой человек был принят так же радушно, как Ницше десять лет тому назад; когда он поселился там, то Ницше тщетно предупреждал его: «Вы восхищены Вагнером, это прекрасно при условии, что это будет продолжительно...» Но Генрих фон Штейн не мог ни противиться обаянию Вагнера, ни освободиться от него; когда Вагнер говорил, он слушал и забывал о всех своих исканиях, до того времени беспокойных и плодovitых; он закрывал свои тетради и чувствовал, что этот великий человек победил его, захватил и что в его присутствии у него не было больше своих собственных мыслей. Изданные им сочинения (Штейн умер тридцати лет) были проникновенны и сдержанны, но у него недоставало одного качества, того, которое было так ценно в его первых опытах, — не было больше дерзновенности и смелости, обаяния быстрого, неумелого потока мыслей.

Ницше продолжал интересоваться Штейном, наблюдал за его работами, знакомствами. «Генрих фон Штейн, — писал он в июле 1883 года m-те Овербек, — несомненно, один из обожателей m-lle Саломе; мой последователь и в этом, как во многом другом!» Опасность, которая грозила молодому человеку, очень огорчала Ницше. Штейн читал и одобрял книги Ницше; последний знал и радовался этому. Письмо Штейна странно взволновало Ницше.

Какова была цель личного визита? Штейн, казалось, понял «Так говорил Заратустра»; может быть, в нем проснулось желание свободы? Не нашел ли Ницше в нем нового друга, стоявшего больше, чем все потерянные им друзья, вместе взятые? Мог ли он надеяться отомстить Вагнеру, байройтскому философу, покорить его ученика? Ницше немедленно послал Штейну любезное

приглашение приехать и подписался: «Отшельник из Силс-Марии».

Может быть, в посещении фон Штейна была какая-нибудь тайная причина, о которой Ницше не подозревал? Штейн был близким и верным другом Козимы Вагнер, и если он посетил Ницше, то не было ли это с ведома и совета этой предусмотрительной женщины? В этот период своей жизни Ницше не нападал на Вагнера, а только отстранился от него; в июле 1882 г. он даже покушался на примирение, а попытка примирить их, которую, с согласия его или нет, предприняла в 1883 году m-lle Мейзенбух, дает нам право это думать. Когда в феврале 1883 г. умер Вагнер, Ницше написал Козиме Вагнер. В этом своем письме он избегал непоправимых слов, и все его последнее произведение, проникнутое очень туманным лиризмом, давало повод надеяться на возможность прежнего согласия. Такое по крайней мере впечатление вынес фон Штейн, когда 6 мая 1884 года он писал ему:

«Как бы я желал, чтобы вы приехали в Байройт послушать «Парсифаля»... Когда я думаю об этом произведении, то оно рисуется мне как воплощение чистейшей красоты, как духовное проявление чистой человечности, как превращение юноши во взрослого мужа... Я не вижу в «Парсифале» ничего псевдохристианского и менее тенденции, чем во всех других произведениях Вагнера. Если я высказываю вам мое желание, в одно и то же время дерзко и смиренно, то это не потому, что я сам вагнерианец; делаю так только потому, что я хочу для «Парсифаля» такого слушателя, как вы, и такому слушателю, как вы, я желаю услышать «Парсифаля».

Козима Вагнер, женщина с правильным взглядом на вещи, хорошо знала цену Ницше; на ней лежало тяжелое наследство: она должна была поддержать славу Вагнера, продолжать все его традиции. У нее могла явиться мысль, что, примиряясь с этим редким, исклю-

чительным человеком, который тратил свою жизнь на одинокие усилия, она может помочь ему и получить сама его поддержку. Мы не можем утверждать, что она избрала Генриха Штейна своим посланником-примирителем, скажем менее определенно, что она знала и одобрила попытку молодого писателя.

Если и существовал когда-нибудь способный на самостоятельность вагнерианец, то это был именно Генрих фон Штейн, наиболее свободомыслящий из его учеников. Он не считал последней религией мистицизм сомнительного качества, пропагандируемый в «Парсифале». Он на одинаковую ступень ставил Шиллера, Гёте и Вагнера, мифотворцев, воспитателей своего века и своего народа. Байройтский театр был для него не апофеозом творения, а обещанием и орудием новых творений, знаком лирической традиции.

Можно догадаться о разговоре Ницше и его гостя: Штейн хотел оправдать свою миссию, но не решался начать говорить; тогда Ницше заговорил сам и заставил его себя слушать. Вероятно, Ницше сказал ему:

— Вы поклонник Вагнера? Кто не восхищается им? Я сам знал, почитал и слушал его так же, как и вы, больше, чем вы. Я научился у него не стилю его искусства, а стилю его жизни: мужественно дерзать, творить; меня, я знаю, обвиняли в неблагодарности, но я плохо понимаю значение этого слова; я только продолжал свою работу; я его ученик, в лучшем смысле этого слова. Вы часто бываете в Байройте; это приятно, даже слишком приятно. Вагнер, восхищая вас, рассказывает вам легенды, перечисляет все древние верования, германские, кельтские, языческие, христианские; наслаждение, переживаемое при этом, губительно и вредно для всякого пытливого ума. И поэтому я уехал из Байройта. Послушайте меня, я не поношу ни искусства, ни религии; снова возродятся времена и того и другого; ни одна из прежних ценностей не будет забыта. Они снова появятся,

преображенные, без сомнения, более сильные, более могущественные в мире, до самой глубины своей, освещенном наукой. Все, что мы любили детьми и подростками, все, что поддерживало и возбуждало наших отцов, все это мы вновь увидим. Мы вновь обретем лиризм, доброту, самые высшие добродетели и самые смиренные, каждая из них явится нам в своей славе и в своем величии. Но сначала надо согласиться на приход ночи и отказаться от всего и неустанно искать; перспектива бесконечно увлекательная, но я слишком слаб для того, чтобы остаться одному. Помогите мне, останьтесь здесь или возвращайтесь сюда на шесть тысяч футов над Байройтом!»*

Мы можем судить из дневника Штейна о том все возраставшем интересе, который возбуждал в нем Ницше: «24.VIII.84. Силс-Мария. Вечер с Ницше. Отчаянное зрелище. 27. Его свободный ум, его образный язык; сильное впечатление. Снег и холодный ветер. Головные боли. Вечером я вижу, что он страдает. 28. Он не спал ночь, но он говорит, как юноша. Прекрасный солнечный день».

Молодой, слишком молодой посол через 3 дня уехал, взволнованный часами, проведенными с Ницше, и обещал приехать навестить его в Ницце, по крайней мере так понял его Ницше, у которого после его отъезда осталось чувство одержанной победы. «Встреча, подобная нашей, не может оставаться без долгих последствий, — писал он Штейну через несколько дней после его отъезда. — Верьте мне, что это так; вы принадлежите теперь к числу тех немногих, судьба которых и в хорошем, и в дурном неразрывно связана с моей судьбой». Штейн отвечал ему: «Дни, которые я прожил в Силсе оставили после себя большое воспоминание, это были великие и значительные минуты моей жизни...» Но тем не менее

* Эта последняя фраза попадает в одном месте «Ессе Ното».

он не произносит слов: «Да, я принадлежу вам...» Он говорит, не без осторожности, о своих обязанностях, о своих профессиональных работах.

Был ли ум Ницше достаточно свободен для того, чтобы заметить эту осторожность и сдержанность, этого нельзя сказать наверняка; он составлял чудесные проекты и снова начал мечтать об «идеальном монастыре». Он написал m-lle Мейзенбух и с необычайной простотой просил ее приехать к нему на зиму в Ниццу.

* * *

Ницше спускается из Энгадина в Базель в сентябре, и мы случайно узнаем о его ужасном душевном состоянии.

Овербек посетил его в отеле, где он остановился, и нашел Ницше в постели, с сильной мигренью, со слабым пульсом; разговор и его волнение обеспокоили его друга сильнее, чем самая болезнь. У Ницше явилось желание посвятить Овербека в тайну «Вечного возврата». «Когда-нибудь мы снова встретимся при тех же обстоятельствах; я снова буду болен, а вы удивлены моими речами...» Он говорит это с взволнованным лицом, тихим дрожащим голосом; он в том же состоянии, о котором когда-то говорила Лу Саломе. Овербек тихо слушает его, не противоречит и уходит с дурным предчувствием: это было их последнее свидание перед туринской катастрофой в январе 1889 года.

Ницше недолго оставался в Базеле; у него было назначено свидание в Цюрихе с сестрой, которую он не видал после осенней ссоры. Она хотела сообщить ему о том, что несколько месяцев тому назад тайно повенчалась с Фёрстером.

Она созналась ему, что она уже не Лизбет Ницше, а Фёрстер и что она готовится к поездке в Парагвай вместе с мужем, руководившим колонией. Ницше не проти-

воречит ей, не обвиняет ее за совершившийся уже факт и старается быть ласковым в последний раз с сестрой, которую он потерял. «Я нашла брата в хорошем состоянии, — писала она, — он был весел и очарователен, и мы прожили с ним восемь дней, весело болтая и над всем смеясь».

Она рассказывает об этих днях, которые она находит или старается находить счастливыми. Однажды Ницше заметил в витрине книжного магазина сочинения очень популярного, но посредственного поэта Фрейлиграта; на обложке книги стояли слова: тридцать восьмое издание. «Вот настоящий немецкий поэт! — воскликнул он с комической важностью. — Немцы покупают его стихи». И, будучи сам в этот день хорошим немцем, он покупает том стихотворений, читает их и находит в них неистощимый источник веселья. Он декламирует торжественные полустиишия:

Wüstenkönig ist der Löwe;
Will er sein Gebiet durchstreifen.

(Лев — царь пустыни; он хочет обойти свои владения).

Ницше забавляется тем, что по всякому поводу импровизирует стихи в духе Фрейлиграта, и цюрихский отель дрожит от его детского смеха.

— Скажите же мне, наконец, — спросил брата и сестру один старый генерал, — над чем вы смеетесь? Завидно слушать ваш смех и хочется смеяться вместе с вами.

Конечно, у Ф. Ницше были особенные причины для смеха; вряд ли он мог без горечи думать о тридцати восьми изданиях Фрейлиграта. Во время своего пребывания в Цюрихе он ходил в библиотеку и просматривал коллекции журналов и обзоров, разыскивая в них свое имя. Чего он ни отдал бы за то, чтобы увидеть о своей книге суждение понимающего человека; увидеть, что

его мысль заставила размышлять чью-то другую мысль! Но желание его было тщетно; никто не говорил о его работе.

«Чудное, достойное Ниццы небо в продолжение нескольких дней, — пишет он 30 октября Петеру Гасту. — Со мной живет сестра: очень приятно делать друг другу приятное, после того как очень долго делали друг другу только зло... Голова моя полна самыми экстравагантными поэмами, какие только когда-нибудь посещали мозг лирика. Я получил письмо от Штейна. Этот год принес мне много хорошего; лучший его дар — это Штейн, новый, искренний друг. Словом, будем надеяться, или, чтобы лучше выразить наши мысли, повторим за старым Келлером:

Trinkt, o Augen, was die Wimper hält,
Von dem goldnen Ueberfluss der Welt!»

(Пейте, глаза мои, то, что ваши ресницы захватывают из золотого потока мира!).

Брат и сестра уехали из Цюриха; она поехала в Наумбург, а он в Ниццу; по дороге Ницше остановился в Ментоне. «Это прекрасное место, — писал он, едва туда приехав. — Я уже нашел восемь мест для прогулок. Я не хочу, чтобы кто-нибудь приезжал ко мне; мне необходимо это полное спокойствие».

Вспоминает ли Ницше о том проекте, который он составил в начале лета: *«шесть лет молчания и размышления»*? нет, для продолжительного и молчаливого размышления необходима сила воли, которой у Ницше не было. Взволнованный приобретением нового друга и потерей сестры, он не в силах удержать своего лирического нетерпения; уступая своему инстинкту, он импровизирует песни, короткие стансы и эпиграммы. Почти все поэмы, которые встречаются в его последних произведениях, — легкие стихотворения, остроумные двустишия, входящие в состав «*Gaya Scienza*», грандиозные «*Дионисийские песни*», — все это было окончено или

задумано в продолжение нескольких недель. С этого времени он стал думать о своем все еще не оконченном произведении *«Так говорил Заратустра»*. «Неизбежно надо написать четвертую, пятую, шестую часть, — пишет он. — Во всяком случае, я должен довести Заратустру до прекрасной смерти; он не дает мне ни минуты покоя». Проходит октябрь, и Ницше уезжает из Ментоны в Ниццу; его слишком удручал вид многочисленных больных, приезжавших на этот сезон в Ментону.

* * *

У Ницше скоро оказался неожиданный спутник: его звали Пауль Ланцкий, умный человек, немец по происхождению и флорентиец по вкусам, всю жизнь свою проводивший в путешествиях. Случайно ему попались в руки произведения Ницше; он понял их и обратился к издателю Шмейцнеру, прося указать ему адрес автора; он получил ответ: «Фр. Ницше очень уединенно живет в Италии, напишите ему в Геную, до востребования». Он так и поступил, и философ, на самом деле гораздо менее дикий и нелюдимый, чем о нем писали, прислал скорый и любезный ответ. «Приезжайте этою зимою в Ниццу, мы побеседуем». Они обменялись этими письмами осенью 1883 г. Ланцкий не был свободен и не мог исполнить просьбы Ницше, но в октябре 1884 года он приехал на свидание. За это время он успел ознакомиться с двумя последними частями Заратустры и поместить в лейпцигском журнале *«Magazine»* и в флорентийском *«Rivista Europea»* очень интересные рецензии.

В первое же утро своего приезда он услышал стук в дверь своей комнаты; отперев дверь, он увидел человека с милым улыбающимся лицом: — Also Sie sind gekommen (Итак, вы приехали), — сказал ему вошедший, — это был Фр. Ницше.

Он взял Ланцкого за руку и с любопытством стал рассматривать своего читателя.

— Посмотрим, что вы за человек!

И он устремил на него все еще минутами бывавшие прекрасными глаза, которые были подернуты облаком слишком продолжительных страданий. Ланцкий, приехавший выразить свое уважение страшному пророку, удивился, увидев перед собой слабого, самого простого и, как оказалось, самого скромного из немецких профессоров.

Они вместе вышли из дому. Ланцкий хотел признать-ся ему в своем удивлении.

— Учитель, — сказал он ему.

— Вы первый, который назвал меня этим именем, — сказал ему, улыбаясь, Ницше.

Но он знал, что он учитель и позволил Ланцкому так называть себя.

— Учитель, — продолжал Ланцкий, — как мало можно разгадать вас по вашим книгам; объясните мне...

— Нет, нет, только не сегодня. Вы не знаете Ниццу. Я хочу показать вам все ее прелести, эти горы, места для прогулок... В другой раз, если хотите, поговорим.

Они вернулись только в шесть часов вечера, и Ланцкий узнал по крайней мере, каким неутомимым ходоком был его пророк.

Они начали вести общую жизнь. Фр. Ницше пил один утром, около половины седьмого, чашку чаю, которую он сам приготавливал себе; около восьми часов Ланцкий стучался к нему, спрашивая, как он провел ночь (он часто плохо спал) и каким образом он думал провести утро; почти каждый день по утрам Ницше пробегал журналы в общей гостиной и шел затем на берег моря; иногда Ланцкий сопровождал его, иногда предоставляя ему полное одиночество. Потом оба завтракали в том же самом пансионе. Вечером, при свете лампы, Ницше писал, или же Ланцкий читал ему вслух какую-нибудь книгу, часто

что-нибудь по-французски, письма аббата Галиани или «Ruge et Noir», «Chartreuse» или «Armance» Стендаля.

Часто своими поступками он, Фр. Ницше, изумлял Ланцкого. Этот отшельник за табльдотом усвоил себе очень скрытную лукавую манеру, целое искусство для того, чтобы никого не обижать, но жить, не обнаруживая интимной тайны своей жизни. Однажды в воскресенье одна молодая девушка спросила его, был ли он к обеду в соборе.

— Сегодня, — вежливо ответил он ей, — я там не был.

Ланцкого изумляла эта осторожная манера говорить, но Ницше объяснил ему, в чем дело.

— Правда не всегда для всех хороша, — сказал он, — если бы я взволновал эту девушку, я был бы в отчаянии.

Иногда он забавлялся тем, что возвещал свою будущую славу.

— Через сорок лет я буду европейской знаменитостью! — убеждал он своих соседей по столу.

— Дайте нам ваши книги, — говорили они ему.

Но он раз навсегда отказался от этого и повторял Ланцкому, почему он не хочет делать этого:

— Первые встречные не должны читать моих книг.

— Учитель, — отвечал ему Ланцкий, — но зачем же вы их тогда печатаете? — Кажется, что на этот справедливый вопрос не последовало удовлетворительного ответа.

Но очень часто Ницше был скрытен, даже и с Ланцким. Он любил повторять ему о своей давнишней мечте и развивать перед ним свои планы; а именно, основание дружеского общества, идеалистического фаланстера, по образу того, как жил Эмерсон. Он часто уводил Ланцкого на полуостров Сен-Жан.

— Здесь, — говорил он ему, впадая в библейский тон, — мы раскинем наши шатры.

Он даже выбрал целый ряд маленьких вилл, которые подходили к его плану. Он не знал еще, кого он пригласит туда; имени Генриха Штейна, единственного друга и ученика, которого он горячо желал, он никогда не произносил в присутствии Ланцкого.

Генрих фон Штейн не сообщал о своем приезде и не подавал признаков жизни. Поднявшись на Силс-Мария, он имел намерение примирить, если это было возможно, двух учителей. Один из учителей сказал ему, — надо выбирать между нами, и, может быть, одно мгновение Штейн колебался. Но потом он вернулся в свою Германию, он увидел Козиму Вагнер и, так как Ницше требовал, чтобы он сделал свой выбор, — остался верным Рихарду Вагнеру.

Фр. Ницше предчувствовал это и испугался и, уступая тоске и чувству одиночества, написал в форме поэмы тоскливый призыв, адресовав его к Генриху Штейну:

Oh Lebens Mittag! Feierliche Zeit!
Oh Sommergarten!
Unruhig Glück im Stehn und Spähn und Warten!
Der Freunde harr'ich, Tag und Nacht bereit;
Wo bleibt ihr, Freunde? Kommt! s'ist Zeit, s'ist Zeit!

(О, полдень жизни, торжественный час. О летний сад! Беспокойное счастье: я здесь, я сторожу, я жду тебя! Днем и ночью я с надеждой дожидаюсь прихода друзей. Где же вы, друзья мои? Придите ко мне, уже пора, пора!)

Генрих фон Штейн должен был ответить и вот что он написал:

«На такой призыв, какой вы прислали мне, возможен только один ответ: приехать и отдать себя целиком, посвятив, как самому благородному делу, все мое время пониманию тех новых вещей, которые вы скажете мне. Мне это запрещено. Но мне пришла в голову одна мысль: каждый месяц я собираю около себя нескольких друзей и читаю вме-

сте с ними какую-нибудь главу из Лексикона Вагнера и затем говорю с ними на эту тему. Эти разговоры с каждым разом становятся все более и более возвышенными и свободными. В последний раз мы нашли такое определение эстетической эмоции: переход к безличному путем самой полноты личности. И вот такая мне пришла в голову мысль: было бы прекрасно, если бы Ницше присылал нам время от времени тему для наших бесед; не хотите ли завязать с нами такие отношения? Не видите ли вы в такой переписке как бы введение, приближение к вашему идеальному монастырю?»

Это было письмо верного и хорошего ученика. Штейн упомянул с намерением имя Вагнера; он как бы указывал на тему этих размышлений: эта вагнеровская энциклопедия была смешной юношеской теологией. Ницше был в отчаянии; он опять видел перед собой своего старого противника, притворщика мысли, соблазнителя молодежи. Фёрстер, отнявший у него сестру, был вагнерианцем, Генрих Штейн, по милости Вагнера, отказывал ему в своей преданности. Ницше был по-прежнему один и в своем одиночестве ценой битвы, в которой он был ранен, он сумел и завоевать себе жестокую свободу.

«Какое глупое письмо прислал мне Штейн в ответ на мое стихотворение, — писал он сестре. — Я глубоко обижен. Я опять болен, я спасаюсь только с помощью моего старого средства*. Я всей душой ненавижу всех людей, которых я когда-либо знал; и себя самого в том числе. Я хорошо сплю, но просыпаясь, я чувствую прилив злобы и ненависти к людям. А между тем мало можно найти таких податливых и добродушных людей, как я».

Не зная причины, Ланцкий все же заметил волнение Ницше. Припадок был жестокий, но он не позволял себе распускаться и энергично работал. Ницше совершал больше уединенных прогулок, чем в первые дни,

* Хлоралгидрат.

и Ланцкий видел его подпрыгивающую походку на Promenade des Anglais или на горных тропинках; он скакал, иногда прыгал, потом вдруг останавливался и что-то записывал карандашом. Ланцкий не знал о том, какую работу предпринял Ницше.

Однажды в мартовское утро Ланцкий, по обыкновению войдя в маленькую комнату, которую занимал Ницше, нашел его, несмотря на поздний час, в постели. «Я болен, — сказал он ему, — я только что разрешился от бремени». — «Что вы говорите?» — пробормотал растерявшийся Ланцкий. — «Я написал четвертую часть «Заратустры».

* * *

Что заключает в себе эта четвертая часть; можем ли мы уловить в ней прогрессивное развитие идеи, какую-нибудь определенную мысль? Нет, это был только отрывок. Ницше назвал его «интермедией», эпизодом из жизни героя; странный эпизод, приведший в замешательство многих читателей. Может быть, мы лучше поймем его, если вспомним о постигшем Ницше разочаровании.

«Высшие люди» поднимаются наверх, где жил Заратустра, и застают его уединившимся в горах; старый папа, старый историк, и старый король, несчастные, страдающие от своего падения люди, чувствуя всю силу мудреца, пришли просить у него помощи. Разве они не напоминают Генриха Штейна, изувеченного Байройтом, который точно так же поднимался в горы, к Ницше?

Заратустра принимает этих «величайших людей» и изменяет ради них своему дикому нраву; он просит их присесть в его гроте, принимает к сердцу их беспокойство, выслушивает их и говорит с ними. Не так ли принял Ницше Генриха фон Штейна? Заратустра, который в глубине души гораздо менее суров, чем это было нужно, обольщается тлетворным обаянием и мягкостью речи

«высших людей»; он забывает, что помочь их несчастью нельзя, и уступает радостной надежде. Эти «высшие люди» не те ли друзья, которых он ждет? Не надеялся ли Ницше, что Штейн принесет ему помощь?

Заратустра на минуту оставляет своих гостей и в одиночестве уходит в горы. Что же он увидел, вернувшись в свой грот? Все «высшие люди» стояли на коленях и молились на осла, а папа служил обедню перед этим новым идолом. Разве не то же самое было со Штейном, которого Ницше застал в компании двух друзей разбирающихся в вагнеровской библии? Заратустра прогнал своих гостей, ему нужны для созидания нового мира новые работники. Найдет ли он их когда-нибудь? Он зовет их.

«Дети мои, моя раса с чистою кровью, моя прекрасная новая раса; что же удерживает моих детей на островах? Разве не настало уже время, великое время — я говорю это тебе на ухо, добрый гений бурь, — чтобы они вернулись, наконец, к своему отцу? Не знают ли они разве, что в ожидании поседели мои волосы? Иди, иди дух урагана, добрый и непобедимый дух! Покинь груди твоих гор, устремись к морям и, начиная с сегодняшнего вечера, благослови моих детей. Отнеси им благословение моего счастья, благословение этого венка из счастливых роз. Брось эти розы на их острова, и пусть они останутся лежать там, как вопрошающее знамение: «Откуда нам такое счастье? — наконец они спросят: — Жив ли он еще, наш отец, Заратустра? Так это правда? Наш отец Заратустра еще жив? Наш старый отец Заратустра еще любит своих детей?

...

Дует ветер, дует ветер, светит луна, — о мои далекие, далекие дети, отчего вы не здесь, около вашего отца?

Дует ветер; на небе нет ни одного облака. Весь мир погружился в сон. О счастье! О счастье!»

Ницше выбросил эту страницу из своей книги; может быть, ему стало стыдно за такое грустное и ясное признание.

Четвертая часть Заратустры не находит себе издателя. Шмейцнер, который несколько месяцев тому назад уверял Ницше, что «публика не хочет читать афоризмов», написал ему без стеснения, что публике его Заратустра не нужен.

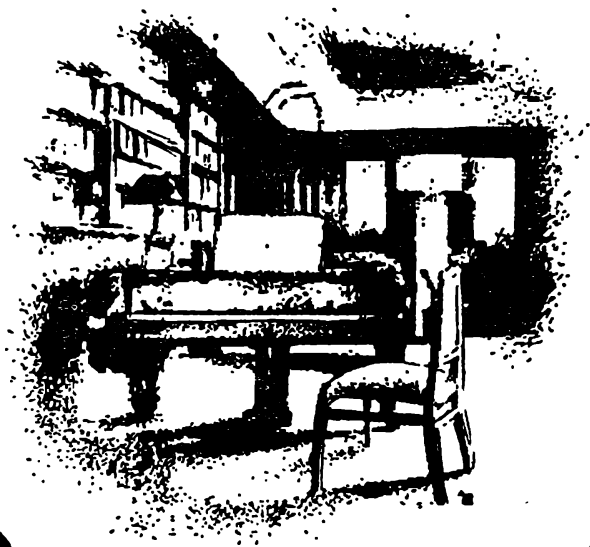
Сначала Ницше сделал несколько новых унижительных для него и ни к чему не приведших попыток, потом, избрав более достойный образ действия, заплатил сам за печатание рукописи и ограничился количеством сорока экземпляров. По правде сказать, у него не было такого количества друзей, он нашел только семерых, которым хотел послать свою книгу, но и те не были действительно достойны его. Можно перечислить всех этих людей: сестра Лизбет (он не переставал на нее жаловаться); Овербек (хороший друг, умный, но сдержанный читатель); m-lle Мейзенбух (она ничего не понимала в его книгах); Буркхардт, базельский историк (он всегда отвечал на посылки Ницше, но он был так вежлив, что в душу его было трудно проникнуть); Петер Гаст (верный ученик, которого Ницше находил слишком верным и послушным); Ланцкий (хороший товарищ этой зимы); Роде (едва скрывавший ту тоску, которую на него нагоняло это навязанное чтение).

Это были те, как мы предполагаем, кто получил книгу, но не потрудился прочесть ее, эту четвертую и последнюю часть; эту «интермедию», которая кончала, но не окончила «Так говорил Заратустра».

N

VII

Последнее одинокчество





I

По ту сторону добра и зла

Фр. Ницше оставил свое лирическое произведение. Минутами он сожалел о нем и хотел бы возвратиться к нему; но он чувствовал, что это будут короткие минуты бессильного желания: «С этих пор, — пишет он (и его уверение на этот раз было правильно), — я буду говорить, а не Заратустра».

Но произведение так и осталось незаконченным. Ницше помнит об этом, и множество невысказанных им мыслей мучают его, как укоры совести. Он хочет произвести другой опыт: без всякого радостного чувства он возвращается к философии и пытается выразить в абстрактных терминах то, что как поэт он не мог излить. Он берется за новые тетради, пробует заглавия: «*Воля к власти, опыт нового толкования мира*», «*Воля к власти, новое понимание природы*». Эти попавшиеся под руку формулы остаются в силе. Ницше возвращается здесь к главной идее Шопенгауэра и развивает ее. «Сущность вещей, — думает он, — не заключается в слепом желании жить; жить — это значит распространяться, расти и побеждать, правильное будет сказать, что сущность вещей — это есть слепое желание власти, и все явления, совершающиеся в человеческой душе, должны быть истолкованы как проявления этого

желания. Ницше задал себе труднейшую работу, требующую очень тщательных размышлений, и со страхом взирал на свое предприятие. Как различить в человеческой душе, что составляет в ней силу и что, наоборот, слабость? Ведь можно, пожалуй, сказать, что гнев Александра Великого — это слабость, а мистическое возбуждение — сила. Ницше надеялся на помощь учеников, философов или филологов, и думал, что они помогут ему в его аналитических изысканиях; ему, например, очень дорога была бы помощь Генриха фон Штейна; но ему пришлось решать все задачи в полном одиночестве, и тоска завладела им. Мысль, лишенная лирического вдохновения, не привлекала его. Что он любил? Инстинктивную силу, тонкость, грацию, ритмичные и гармоничные звуки, — он любил Венецию и мечтал о том, что настанут хорошие дни, которые позволят ему покинуть этот пансион в Ницце, где и стол и общество были одинаково скверны. 30 марта 1885 года он написал Петеру Гасту:

«Милый друг! Я не особенно люблю всякого рода перемещения, но на этот раз, когда я подумаю о том, что скоро буду в Венеции, около вас, то прихожу в восторг и оживляюсь; я смотрю на свою поездку как на надежду выздоровления после долгой, ужасной болезни. Я сделал открытие: Венеция — это единственное место, где мне постоянно было хорошо и приятно... Мне очень нравится как переходная ступень Силс-Мария, но она, конечно, не годится как постоянное местопребывание. О, если бы я мог устроить себе там единственное отшельническое существование! Но, — Силс-Мария становится модным местом. Мой дорогой друг и маэстро, для меня неразрывно связаны вы и Венеция; мне удивительно нравится ваша постоянная любовь к этому городу. Сколько я думал о вас в продолжение всего этого времени! Я читал воспоминания старого де Броссе (1739—1740) о Венеции и о маэстро, которому в то время там поклонялись Hässe (il detto Sassonne). Не сердитесь, пожалуй-

ста, я ни в каком случае не собираюсь проводить между вами двумя совсем не уважительную параллель, я только что написал Malvida: благодаря Петеру Гасту господа комедианты (*cabotins*), предполагаемые гениальные музыканты, в самом непродолжительном времени перестанут извращать вкус публики. «В самом непродолжительном времени» — это, может быть, звучит как очень большое преувеличение. В демократическое время немногие люди могут различить красоту: «*pulchrum, raucogit est hominum*». Я рад, что, по вашему мнению, я принадлежу к числу этих «немногих». Люди с проникновенной и радостной душой, которые мне нравятся, люди, у которых «*à mes mélancoliques et folles*» (по-французски в тексте. — От автора), вроде того, как мои умершие друзья Стендаль и аббат Галиани не могли бы жить на земле, если бы не любили какого-нибудь жизнерадостного композитора (Галиани не мог жить без Пуччини, Стендаль без Чимарозы и Моцарта). Ах, если бы вы знали, как в эту минуту я одинок на земле! И какую надо играть комедию, чтобы время от времени не плюнуть от отвращения кому-нибудь в лицо. К счастью, некоторые благовоспитанные манеры моего сына Заратустры существуют и у его несколько тронувшегося отца. Но когда я буду с вами в Венеции, то на время уйдут далеко и «благовоспитанность», и «комедии», и «отвращение», и вся эта проклятая Ницца, не правда ли, дорогой друг! Да, не забудьте: мы будем есть «*baicoli*». Сердечно ваш Ф. Н.»

С апреля до мая Ницше жил в Венеции и нашел ту радость, о которой мечтал; он бродил по темным шумным улицам, любовался красотой города, слушал музыку своего друга; от дурной погоды он укрывается в галереях площади Св. Марка и сравнивает их с портиками Эфеса, куда Гераклит уходил забываться от суетного возбуждения греков и мрачных угроз Персидской империи. «Как здесь хорошо забывать мрачную историю — нашу империю; не будем бранить Европу — в ней есть еще очень хорошие места для защиты. Мой

лучший рабочий кабинет — это piazza San Marco». Это короткое счастливое настроение пробуждает в нем его поэтические наклонности. Он снова хочет воспевать триумф и смерть Заратустры, на несколько часов извлеченного из мрака забвения. Он пишет несколько набросков, чтобы вскоре навсегда бросить эту попытку.

Приближение июня заставляет его уехать в Энгадин. Случайно в отеле судьба посылает ему секретаря, m-lle Родер, до сих пор совершенно неизвестную ему особу; она предложила ему свою помощь. Он диктует ей свои произведения и старается разрешить свою проблему в наиболее сжатом виде. Цель его заключается в том, чтобы дать критику необъятного множества нравственных суждений, предрассудков, косной рутины, которые сковывают современную Европу; оценить их жизненную ценность, т. е. выражаемое ими количество энергии, и определить, таким образом, порядок добродетелей. Он хочет, наконец, реализовать *Umwertung aller Werthe* (нужная формула найдена), «переоценку всех ценностей». — «*Всех ценностей*», — пишет он; на меньшее его гордость не соглашается. Он узнает тогда и ему удастся определить некоторые количества добродетели, которые профессиональные моралисты не умели наблюдать: власть управлять самим собою, умение скрывать интимные чувства, вежливость, веселость, точность в послушании и приказании, снисходительность, требование к себе уважения, страсть к риску и опасности. Таковы были мораль и обычаи, и тенденции прежней аристократической жизни, обесцененные современностью; естественно, что прежняя мораль черпала свою силу у более мужественных и производительных источников, чем наша.

Возможно, что в это время Ницше читал довольно серьезные книги; он изучал «Биологические проблемы» Рольфа, где он мог найти анализ возрастающей жиз-

ненной силы, которая является основанием его метафизики. Может быть, он перечел также несколько книг Гобино (он восхищался личностью и произведениями этого человека); во всех этих предположениях нет ничего невероятного. Но что значит для Ницше чтение, какой вес могут иметь для него чужие мнения? Ницше было уже сорок два года, время учиться для него миновало, новых идей он уже почерпнуть не мог. Чтение помогает размышлениям, дает им пищу, но никогда не дает им направления.

Работа Ницше стоит ему много труда, утомляет его, и он мучается от бессонницы. Но тем не менее он стоит на своем и упорно отказывается повидать в последний раз и проститься с Лизбет, которая едет за своим мужем в Америку. «Значит, вы будете жить там, — пишет он ей, — я здесь, в более недостижимом одиночестве, чем все Парагвай в мире. Мать моя должна будет жить одна, и все мы должны не терять мужества... Я люблю вас и плачу. Фридрих».

Проходит неделя. Ницше строит новые проекты. Он ведет переговоры со своим издателем, хочет скупить свои прежние книги и снова издать их. Это был предлог для того, чтобы поехать в Германию. «Мое присутствие необходимо для одного дела, и эта необходимость только является на помощь моему желанию».

Встреча брата с сестрой была тяжела; они нежно беседовали накануне уже решенного отъезда. Ницше не скрывал того, как тяжело ему жилось. «Я один дерзновенно берусь за разрешение громадной проблемы, — говорил он, — это девственный лес, в котором я затерялся — *Wald und Urwald*. Мне нужна помощь, мне нужны ученики, мне нужен учитель. Как бы приятно было мне повиноваться. Если бы я заблудился в горах, то слушался бы человека, которому знакомы эти горы; я повиновался бы врачу, если бы я был болен; и если бы

я встретил человека, который уяснил бы мне ценность наших моральных идей, я послушался бы его и пошел за ним; но я не нахожу никого: ни учеников, ни еще меньше учителей, я — один». Сестра повторяла ему свой прежний совет: вернуться в какой-нибудь университет; молодежь ведь всегда слушала его и теперь будут слушать и поймут. «Юноши так глупы, — отвечал ей Ницше, — а профессора еще глупее. К тому же меня не примут ни в один университет, где же я смогу преподавать?» — «В Цюрихе!» — убеждала сестра. — «Я выношу только один город — Венецию», — отвечал Ницше.

Ницше поехал для переговоров с издателем в Лейпциг, но тот отнесся к нему без всякого уважения и дал ему определенный ответ, книги его не продаются. Ницше вернулся в Наумбург, окончательно простился с сестрой и уехал.

Но где ему устроиться на зиму? Ницша прошлой зимой раздражала его своим вечным шумом. Может быть, поселиться в Валламброза? Ему хвалил этот тосканский лес в Апеннинах Ланцкий, который в данный момент ожидал его во Флоренции.

Прежде чем уехать из Германии, Ницше остановился в Мюнхене, где навестил своего бывшего друга, барона Зейдлица, который познакомил Ницше со своей женой и показал ему свою коллекцию японских вещей. Молодая хорошенькая женщина и японские безделушки понравились Ницше; он открывает существование целого нового искусства; он любит эти эстампы и эти маленькие веселые легкомысленные вещицы, так мало соответствующие современным вкусам, в особенности же печальному вкусу немцев. Зейдлиц понимает толк в красивых вещах и умеет хорошо жить, и Ницше ему немного завидует. «Может быть, уже настало время, дорогая Лизбет, — пишет он сестре, — отыскать мне жену. Приметы ее следующие: она должна быть весе-

ла, молода еще, красива, короче, это должно быть храброе маленькое существо á la Ирена Зейдлиц (мы с ней почти на «ты»).

Наконец, Ницше поехал в Тоскану, где его встретил Ланцкий, который всюду сопровождал его; он повел его в обсерваторию Д'Арчетри на гору Сан Миниато, где жил очень оригинальный человек, постоянный читатель Ницше. Это был Леберехт Темпель, астроном, который на своем рабочем столе, покрытом самыми удивительными инструментами, постоянно держал все произведения Ницше, знал их все наизусть и мог цитировать любую страницу. Леберехт Темпель был необыкновенный человек, благородный, правдивый и искренний; он говорил с Ницше около получаса; они, кажется, поняли друг друга, и Ницше ушел от него глубоко взволнованным.

— Я хотел бы, — сказал Ницше Ланцкому, — чтобы этот человек не читал моих книг; он слишком добр и чувствителен; я причиняю ему зло.

Он знал об ужасных последствиях своих мыслей и боялся, что его читатели будут так же страдать, как и он.

Он недолго оставался в Тоскане: на него вредно влиял холодный ветер, дувший с флорентийских гор, и он вспомнил о Ницце, где двести двадцать дней в году светит солнце. 15 ноября 1885 года он пишет сестре уже из Ниццы:

«Не удивляйся, дорогая сестра, если твой брат, у которого кровь крота Гамлета в жилах, пишет тебе не из Валламброза, а из Ниццы. Мне было очень полезно исследовать почти одновременно климат Лейпцига, Мюнхена, Флоренции, Генуи и Ниццы. Вы не поверите, до какой степени Ницца триумфально вышла из этого состязания. Я, как и в прошлом году, остановился в П а н с и о н д е Ж е н е в на маленькой улице С е н т - Э т ь е н ; он оклеен новы-

ми обоями, в нем новая мебель, и он стал очень привлекательным. Мой сосед по столу епископ, *monsignore*, говорящий по-немецки. Я много думаю о вас. Ваш

Принц Эйхгорн».

«Вот я снова в Ницце, — пишет он в другом письме, — т. е. я снова вернулся к рассудку». Он настолько доволен своим возвращением, что прощает Ницце ее космополитизм, и она его забавляет.

«Мое окно выходит на *square des Phacéens*, — пишет он Петеру Гасту. — Какой удивительный космополитизм звучит в этом сочетании слов. Вам не смешно? И это правда, здесь жили фокийцы. В воздухе мне слышится что-то победное и сверхъевропейское; какой-то внушающий мне доверие голос говорит мне: «здесь ты на своем месте». Как я здесь далек от Германии — *«ausserdeutsch»*, я не могу произнести этого слова с достаточной силой!..»

* * *

По старой своей привычке Ницше стал гулять под лучами солнца по белым дорогам, возвышающимся над морем. Воспоминания целых семи лет связывают его с этим морем, с этими берегами и горами; снова оживает его фантазия, увлекает его, и он отдается ее свободному полету. Ни один час не проходит у него бесследно; каждый из них приносит ему счастье и уходит, оставляя реальное воспоминание подаренного им счастья, — или эпиграмму, или поэму в прозе, максимум, какую-нибудь *Lied*, или песню.

Все современное нестерпимо для него; ему доставляло удовольствие, он даже считал своим долгом философа, говоря для грядущих времен, порицать свое собственное время. В XVI веке философ был прав, когда хвалил мягкость и послушание. В XIX веке в нашей Европе, ослабленной парижскими декадентами и не-

мецкими вагнерианцами, в этой слабой Европе, которая постоянно ищет помощи толпы и единодушия, наименьшего количества усилий и наименьших страданий, — философ должен восхвалять другие добродетели. Он должен утверждать следующее: тот самый великий из людей, который умеет быть более одиноким, более скрытным, более от всего отдаленным, умеющий жить по ту сторону добра и зла, хозяином своих добродетелей, свободный в своих желаниях. В этом заключается истинное величие. Он должен спрашивать непрестанно: настал ли момент облагорожения человеческой расы? *Ist Veredlung möglich?* Мы неизменно слышим этот вопрос от Ницше еще с двадцати шести лет.

Ницше высмеивает немцев; в этом заключается его другое, еще более живое и интимное удовольствие. Германизированная Европа разучилась быть искренней; она скрывает свою злобу, свою нечистоту; надо, чтобы она снова обрела дух старого времени, дух прежних французов, которые жили свободно, с ясным сознанием, что они были прекрасны и сильны. «Надо окутать музыку духом Средиземного моря, — говорит он, — а также и наши вкусы, наши желания...» В этих страницах у Ницше можно легко заметить влияние советов его «умерших друзей», Стендаля и аббата Галиани.

«Люди, проникнутые глубокою грустью, — пишет он, — выдают себя, когда они счастливы; они берут свое счастье с жадностью и как бы хотят сжать его, задушить в своих объятиях... Увы, они слишком хорошо знают, как счастье бежит от них!» Кончался декабрь, и с приближением праздников, воспоминание которых всегда волновало его верное сердце, Ницше почувствовал, что счастливое настроение покидает его. Его не удовлетворяет вполне наслаждение живою мыслью, прекрасными образами, в нем

просыпаются и мстят за себя другие требования; глубокая тоска предъявляет свои права и властно наполняет его душу. Его более не занимает уличная жизнь Ниццы и не развлекает «square de Phocéens». Какое ему дело до *Gai Saber* и его правил? Что для него составляют свет, ветер, провансальские песни? Он немец, сын пастора, и чувствует, как с приближением святых дней Рождества и Нового года сжимается его сердце.

Ему становится неприятен его маленький пансион, его мебель, которой касались тысячи рук, его обезображенная своею банальностью комната. Наступили холода; и у него не хватает денег, чтобы согреть свою комнату. Он мерзнет и горько сожалеет о немецких печах. Проклятое место, даже здесь он не может быть один: направо за стеной ребенок «барабанит гаммы», над головой два любителя упражняются — один на трубе, другой на скрипке. Под влиянием горькой тоски Ницше пишет сестре, проводящей в Наумбурге последнее Рождество:

«Как жаль, что здесь нет никого, кто мог бы посмеяться вместе со мною. Если бы я лучше себя чувствовал и был бы богаче, то, чтобы немного позабавиться, я бы желал пожить в Японии. Я потому счастлив в Венеции, что там без труда можно жить на японский лад. Все остальное в Европе скучно и пессимистично настроено, музыка ужасным образом развращена Вагнером и это только частный случай всемирного развращения и смуты.

Снова наступает Рождество, и прямо жалко подумать, что я должен продолжать жить так, как я живу в продолжение семи лет; жить как изгнанник и циничный наблюдатель людей. Никто не заботится о моем существовании; у Ламы есть «лучшие дела» или, в всяком случае, достаточно дел... Разве не хорошо мое рождественское письмо? Да здравствует Лама!

Твой Ф.

Почему вы не поедете в Японию? Ведь там наиболее веселая и умная жизнь!»

Неделю спустя Ницше написал более жизнерадостное письмо: может быть, он упрекал себя за свое признание.

«Дорогая, сегодня великолепная погода и надо, чтобы ваш Фриц снова сделал веселое лицо, хотя за последнее время он провел немало тоскливых дней и ночей. По счастью, мое Рождество было для меня настоящим праздничным днем. В полдень я получил ваши милые подарки, тотчас же украсился в вашу часовую цепочку и положил в жилетный карман ваш маленький хорошенький календарь. Что же касается до «денег», хотя в письме их и не было (мама мне о них писала), они выскользнули, очевидно, из моих рук. Простите, ваше слепое животное, которое распечатало конверт на улице, я, вероятно, выронил их, когда нетерпеливо развертывал ваши письма. Пожелаем же, чтобы какая-нибудь старушка, проходя мимо этого места, нашла на мостовой «подарок от Иисуса Христа». Затем я дохожу пешком до моего полуострова Сен-Жан, я делаю большой круг вдоль берега и устраиваюсь неподалеку от солдат, которые играют в кегли. Распустились розы, на изгородях цветут гераниумы, все зазеленело, наступило тепло: ничто не напоминает о севере! Да, вот еще новость: ваш Фриц выпил три полных стакана сладкого местного вина и даже, пожалуй, немного опьянел, по крайней мере он начал разговаривать с волнами, а когда они разбивались и пенились слишком сильно, то он разговаривал с ними, как с курами: кш, кш, кш! Наконец, я вернулся в Ниццу и пообедал в моем пансионе, как принц; сияла ярко освещенная елка. Вы не поверите, я нашел одного отличного булочника, который знает, что такое «ватрушка»: он мне рассказывал, что вюртембергский король заказывал себе почти такие же, как я люблю, ко дню своего рождения. Это мне пришло в голову, когда я писал «как принц»...

С прежней любовью ваш Ф.

NB. Я научился спать (без снотворного)».

Проходят январь, февраль, март 1886 года, и тоска Ницше становится слабее. Он приводит в порядок свои продиктованные фантазией записки. Уже в продолжение четырех лет он не издавал свои афоризмы и отрывки, и тот материал, который он находит в своих тетрадях, необъятен. Он даже решил составить из них целый том и теперь употребляет все свои силы для того, чтобы выбрать из него лучшее.

Он не забыл ту систематическую работу, которую задумал прошлой зимой, не переставал чувствовать ее необходимость и упрекал себя за бездеятельность. Он хочет сам перед собой извиниться за промедление. Он говорит себе, что ему необходимы удовольствия, необходимо развлекаться какой-нибудь живой книгой, прежде чем приняться за большую работу. Он находит наконец для нее название: *«По ту сторону добра и зла»* и подзаголовок: *«Прелюдия философии будущего»*.

Таким образом он предвозвещает появление нового важного и все еще не готового произведения. Он обманывает самого себя, соединяя искусственным образом развлечение с долгом.

* * *

Вспомним, с какой экспансивной радостью и доверием к публике объявлял Ницше прежде об окончании какой-нибудь своей книги; теперь же ни радости, ни доверия нет у него больше в душе; несчастье неизменно преследует Ницше, и на этот раз опять он не предвидел, какое новое испытание посылает ему судьба. *«По ту сторону добра и зла»* не находило себе издателя. Ницше вел переговоры с одной фирмой в Лейпциге, но она отклонила его предложения; он писал в Берлин —

те же результаты. Книга его повсюду встречает отказ. Что же с ней делать? Разделить ее на брошюры, которые, может быть, скорее дойдут до публики? И он пишет нечто вроде предисловия:

«Эти брошюры, — решил он написать, — составляют продолжение «несвоевременных размышлений, которые я издал скоро уже десять лет тому назад, для того чтобы привлечь к себе «мне подобных». Я был тогда достаточно молод, для того чтобы идти на охоту с такой нетерпеливой надеждой. Теперь — через сто лет, я измеряю время своим аршином! — я еще недостаточно стар для того, чтобы потерять всякую веру и надежду».

Но скоро Ницше отказывается даже от такой мысли. «Теперь, — пишет он сестре, — мне остается только одно: перевязать мои произведения и положить их в ящик «стола...»

По своему обыкновению весну Ницше провел в Венеции, но уже не встретил там своего друга; в это время Петер Гаст разъезжал по немецким городам и тщетно старался пристроить куда-нибудь свои музыкальные произведения. Он написал оперу *«Венецианский лев»*, постановку которой не принимал ни один театр. Ницше утешал и ободрял его в своих письмах. И тот и другой, немцы по рождению и жители Средиземноморья по своему вкусу: один в Ницце, другой в Венеции, — мечтают об одном и том же и переживают одинаковую печальную судьбу:

«Возвращайтесь, — пишет Ницше своему другу, — возвращайтесь к своему уединению, только мы одни можем жить в одиночестве. Это «вагнерия» загородила нам дорогу, и таким образом грубость, немецкая толстокожесть увеличивается и увеличивается после «торжества империи». Надо нам с вами посоветоваться и вооружиться для того, чтобы нас обоих не заставили умереть от молчания».

Ницше чувствует, как уменьшается его одиночество от мысли об общей тяжелой участи с товарищем. Горе Петера Гаста так похоже на его собственное, и он говорит с ним как с братом. Он знает, что Петер Гаст беден, и предлагает ему: «Пусть наши капиталы будут общие: разделим то небольшое, что у меня есть...» Петер Гаст впадает в отчаяние и начинает сомневаться в самом себе. Этот страх так хорошо знаком Ницше, он знает, как необходима вера трудящемуся человеку, как быстро может поколебать его человеческая ненависть. «Мужайтесь, — пишет он ему, — не позволяйте себя развенчивать; я, по крайней мере будьте в этом уверены, я верю в вас; мне необходима ваша музыка, без нее я не мог бы жить...» В правдивости этих слов нельзя сомневаться: выражаясь таким образом, Ницше был искренен. Бездонную силу своей любви и восхищения он целиком отдает последнему оставшемуся у него товарищу, дружба его преображает музыку Петера Гаста.

Даже в Венеции Ницше чувствовал себя несчастным: сильный свет болезненно действовал на его слабое зрение. Как прежде в Базеле, ему пришлось запереться в одной комнате, задвинуть ставни и отказаться от наслаждения ясными итальянскими днями. Наконец он нашел себе убежище: он вспомнил о немецких лесах, обширных, тенистых, приятных и благотворных для зрения, и с сожалением думает о своей родине. Хотя он и раздражался против нее и возмущался ею, а все-таки он любил ее, да и могло ли бы это быть иначе? Душа Ницше была бы другою, если бы его первые желания не были вызваны ее божественной музыкой, его мысли были бы другими без ее медлительного прекрасного языка. Его настоящими учителями были Шопенгауэр и Вагнер, оба немцы: они и оставались его учителями (он сознается в этом втайне). Его настоящие ученики, если они когда-нибудь будут существовать, родятся в Герма-

нии, на этой жестокой родине, от которой он не может отказаться.

Ницше узнал новости, которые взволновали его: Роде был назначен профессором Лейпцигского университета. Ницше был рад за своего друга и самым искренним образом поздравил его, но вместе с тем он не мог подавить в себе некоторой грустной мысли о самом себе. «Теперь, — пишет он Петеру Гасту, — философский факультет состоит наполовину из «моих друзей (Царнке, Гейнце, Лескин, Виндиш, Роде и т. д.)».

Ему вдруг захотелось уехать, увидеть свою мать, покинутую обоими своими детьми, ему захотелось услышать ее дружеский голос и, наконец, он хочет лично переговорить с пресловутыми издателями, которые издают по 20 000 томов в год и не хотят издать его произведения. Он уезжает из Венеции и прямо едет в Лейпциг.

Там он первым делом идет к Эрвину Роде: он выбрал неудачное для визита время. Роде был очень занят и принял довольно неприветливо неожиданного посетителя, этого странного, нарушившего порядок его жизни человека. «Я видел Ницше, — пишет он позднее, — и в нескольких словах объясняет причину своего холодного приема. — Все его существо было проникнуто какой-то не поддающейся описанию странностью и приводило меня в беспокойство. В нем было что-то незнакомое мне раньше, а в том Ницше, которого я знал прежде, не хватало многих черт. Он производил впечатление человека, вышедшего из страны, где никто не живет». Ницше сказал ему: «Я бы хотел услышать, как ты говоришь». Роде повел его на свою лекцию и посадил среди молодых своих слушателей, которые не знали ни его произведений, ни даже не слышали его имени. Ницше немного послушал и ушел. «Я слышал в университете лекцию Роде, — пишет он лаконически

сестре, — я не могу больше никого видеть. Для меня ясно, что Лейпциг не может служить мне местом для отдыха».

Ницше уехал бы из Лейпцига так же поспешно, как из Ниццы и Венеции, но его удерживают очень неприятные дела. Он по несколько раз ходит к издателям и ведет с ними переговоры. Наконец в нем проснулось чувство собственного достоинства; он хочет, чтобы книга его вышла в свет, и как ни трудно ему было сделать это, он решается печатать книгу за свой счет.

Мать его, которая с отъездом Лизбет была совсем одна, ожидала его приезда в Наумбурге. Она возбуждает в Ницше чувство живейшей жалости: он знает о том отчаянии, в которое повергал ее отъезд обоих детей, и то беззаконие, которое Ницше проповедовал в своих книгах. «Не читай их, — без конца повторял он ей, — я их пишу не для тебя», но тем не менее любопытство заставляет ее интересоваться им, и недовольство ее не утихает. Ницше не хочет уезжать из Германии, не доставив ей небольшой радости, и решает провести с ней неделю; но у него не хватило силы удержаться и не рассказать ей о своих неприятностях; он жалуется, возмущается и оставляет бедную женщину еще более опечаленной и несчастной, чем он ее нашел.

Проезжая мимо Мюнхена, Ницше захотел повидать барона и баронессу Зейдлиц и отдохнуть в их симпатичной компании; но он узнал, что они уехали, и нашел дом закрытым.

Покидая Германию, которую он видел в последний раз, Ницше едет по дороге к Верхнему Энгадину, от которого он всегда ждет облегчения. Но в июле там начались холодные туманы, и для Ницше наступил опять длинный период невралгии и меланхолии.



II

Воля к власти

Название друзей не подойдет к тем неизвестным лицам, к этим русским, англичанам, швейцарским, еврейским дамам, которые, встречая каждый сезон этого очаровательного, всегда одинокого и больного человека, не могли отказать ему в быстро зарождавшейся симпатии. Вот их имена: m-me Рёдер, Марусова, m-lle Циммерн и фон Сали-Маршлин (подруга m-lle фон Мейзенбух). Были и другие, но имена их неизвестны.

Какого мнения были о нем все эти люди? Он избегал разговоров, которые могли удивить и огорчить их, он хотел в их присутствии быть (и умел это делать) любезным собеседником, образованным, утонченным, сдержанным. Одна, очень хрупкого здоровья, англичанка, которую Ницше часто навещал и развлекал, сказала ему однажды:

— Я знаю, m-г Ницше, что вы *пишете*, я хотела бы прочесть ваши книги.

Он знал, что она горячо верующая католичка.

— Нет, — отвечал он ей, — я не хочу, чтобы вы читали мои книги. Если бы в то, что я там пишу, надо было верить, то такое бедное, страдающее существо, как вы, не имело бы права на жизнь.

Другая знакомая дама однажды сказала ему:

— Я знаю, м-г Ницше, почему вы нам не даете ваших книг. В одной из них вы написали: «Если ты идешь к женщине, то не забудь взять с собой кнут».

— Дорогая моя, дорогой мой друг, — отвечал Ницше упавшим голосом, взяв в свои руки руки той, которая ему это говорила, — вы заблуждаетесь, меня совсем не так надо понимать.

Не знаю, восхищались ли они им? Надо иметь очень определенное суждение для того, чтобы осмелиться восхищаться неизвестным автором; у них, очевидно, не хватало для этого смелости. Они уважали, любили своего знакомого и ценили его странную талантливую беседу. Они искали соседнего стула с ним за табльдотом: этого было мало для того, что называется обыкновенно славой, но, значит, это было очень многим для Ницше. Благодаря им, он находил в Энгадине ту атмосферу доверчивости, в которой так нуждалась его душа и которой не хватало ему в Германии. Летом 1886 года в Силсе жили хорошие музыканты; они нашли в лице Ницше прекрасного слушателя и хотели, чтобы он слушал их музыку. Подобное желание тронуло Ницше: «Я замечаю, — пишет он Петеру Гасту, — что наши артисты поют и играют только для меня. Если это будет так продолжаться, то они меня испортят».

Есть восточная сказка, в которой рассказывается о приключениях одного короля, который разъезжал замаскированный по своим владениям; его не узнавали, но догадывались о том, кто он, и при его приближении инстинктивно проникались уважением. Не был ли и Ницше в этом горном пансионе, как тот замаскированный король, наполовину узнан?

Но тем не менее это было только слабым утешением. Разве эти женщины могли облегчить его страшную тяжесть, которую они не могли даже измерить. Ницше переживал тот серьезный момент, когда всякий чело-

век, как бы ни желал он не знать правды о себе, должен, наконец, увидеть, что дает ему судьба и в чем она ему неумолимо отказывает; пора было вырвать из своего сердца последнюю надежду: «В течение всего этого времени, — пишет он Петеру Гасту, — я был невыразимо грустен и заботы отняли у меня сон». Очень лаконическое известие!

Сестре он признается в большем. Он пишет ей страницы за страницами, ужасные по своей силе и тоске:

«Где же они, те друзья, с которыми, как мне когда-то казалось, я так тесно был связан? Мы живем в разных мирах, говорим на разных языках! Я хожу среди них как изгнанник, как чужой человек; до меня не доходит ни одно слово, ни один взгляд. Я замолкаю, потому что меня никто не понимает; я могу это смело сказать: они никогда меня не понимали. Ужасно быть приговоренным к молчанию, когда так много имеется сказать... Неужели я создан для одиночества, для того чтобы никогда не быть никем услышанным? Отсутствие связей, отрезанность от мира — это самое ужасное из всех одиночеств; быть «д р у г и м» — это значит носить медную маску, самую тяжелую из всех медных масок — настоящая дружба возможна только между равными. Между равными — это слово действует мне на нервы; какую доверчивость, надежду, благоухание, блаженство оно обещает человеку, который постоянно по необходимости живет один; человеку, который совсем «д р у г о й» и никогда не находил никого, кто бы был его расы. И несмотря на это, он хороший искатель, он много искал... О, внезапное безумие этих минут, когда одинокому казалось, что он нашел друга, и держит его, сжимая в своих объятиях; ведь это для него небесный дар, неоценимый подарок. Через час он с отвращением отталкивает его от себя и даже отворачивается от самого себя, чувствуя себя как бы загрязненным, запятнанным, больным от своего собственного общества. «Г л у б о к о м у ч е л о в е к у» необходимо иметь друга, если у него нет Бога, а у меня нет ни Бога, ни друга. Ах, сестра, те, кого ты назы-

ваешь этим именем, были прежде друзьями, но теперь! Прости меня за этот страстный взрыв чувства, в этом виновато мое последнее путешествие... Здоровье мое не худо и не хорошо; только бедная душа моя изрезана и изголодалась... Если бы у меня был маленький круг людей, которые бы захотели выслушать и понять меня, — я был бы совсем здоров. Здесь все по-прежнему; вернулись две англичанки и старая русская дама, последняя очень больна...

* * *

Ницше снова принялся за работу над своей книгой «Воля к действию». Его несчастная поездка в Германию изменила его намерения; он думал: к чему писать боевые книги? Без единомышленников, без читателей я ничем не могу спасти Европу от падения; пусть же будет то, что должно быть. «Когда-нибудь все будет иметь свой конец — далекий день, которого я уже не увижу, тогда откроют мои книги и у меня будут читатели. Я должен писать для них, для них я должен закончить мои основные идеи. Сейчас я не могу бороться — у меня нет даже противника...» Начиная с июля, по выезде из заставившей его столько терпеть Германии, он составил себе крайне точный план. В сентябре он пишет:

«Через четыре года я окончу мою работу из четырех томов. Одно заглавие способно нагнать страх: «Воля к власти; опыт переоценки всех ценностей». Мне нужно собрать все мои силы — здоровье, уединение, хорошее настроение, — может быть, мне нужна и жена».

Ницше не знал, куда ему поехать писать свое новое произведение. Генуя вдохновила его на две книги, написанные им в настроении выздоравливающего, «Утренняя заря» и «*Gaya Scienza*». В Рапалло и Ницше он писал «Заратустру». Теперь его тянуло на Корсику; его

уже давно интересовал этот дикий остров и на этом острове один город Corte.

«Там был зачат Наполеон, — писал он, — и разве это место не предназначено для того, чтобы в нем предпринять переоценку всех ценностей? И для меня тоже настало время зарождения новых мыслей».

Увы! Это наполеоновское произведение, одно заглавие которого должно приводить в ужас, пугает прежде всего самого автора. Ницше знает, куда ведет «*Via mala — последствий*», которой он следует уже давно. Если в сердце природы заложена завоевательная, жадная сила, то всякий поступок, который не соответствует вполне этой силе, свидетельствует о лживости направления и слабости воли. Он пишет и говорит именно так: человек достигает своей предельной величины только тогда, когда соединяет быстроту и утонченность ума с известной суровостью и прирожденными жестокими инстинктами. Так понимали греки *добродетель* и итальянцы «*virtu*». Французские политики XVII века, Фридрих II, Наполеон и после них Бисмарк поступали согласно этой максиме. Взволнованный своими сомнениями, потерявшись среди трудности своей проблемы, Ницше крепко держится этой отрывочной, но верной истины; «Надо иметь мужество проповедовать психологическую обнаженность», — решил он написать. Он работает над этим вопросом, но остается неудовлетворенным. Его ум непобедимо ясен, его душа непоколебимо мечтательна и задача определения самых сильных людей дисгармонизирует с его мечтами и леденит их. Он все еще восхищается своими давно избранными учителями — Мадзини и Шиллером. В этом не может быть сомнения: редко можно встретить более постоянную душу, чем у него. Но Ницше боится, что, следуя им, он поддается слабости, и учителя, жизни

которых он предпочитает теперь, это Наполеон и Цезарь Борджиа.

На этот раз он снова уклоняется от своей задачи и избегает суровых утверждений. Издатель Фритцш соглашается, с условием денежной помощи, переиздать «*Происхождение трагедии*», «*Утреннюю зарю*» и «*Gaya Scienza*» вторым изданием. Это было давним желанием Ницше. Он хотел прибавить к старым произведениям новые предисловия, переделать, может быть, расширить их. Он с жаром принимается за эту новую работу и уходит в нее с головой.

Ницше решил не ездить на Корсику. Он возвращается на генуэзский берег, в Руту, неподалеку от Рапалло, над Портофино, лесистый гребень которого выдается в море. Он снова находит свои знакомые места для прогулок, где с ним говорил Заратустра. Какая у него была тогда тоска! Он только что потерял своих последних друзей — Лу Саломе и Пауля Ре. Но тем не менее он нес свой крест и творил в минуту сильнейшего несчастья свое самое жизнерадостное произведение. Воспоминания прошлого нахлынули в душу Ницше и взволновали ее.

В это время он получил письмо, бывшее первым вестником его последующей славы. Отчаявшись быть когда-нибудь услышанным своими соотечественниками, в августе 1886 года Ницше послал свою книгу «*По ту сторону добра и зла*» двум иностранцам, датчанину Георгу Брандесу и французу Ипполиту Тэну. Георг Брандес ничего не ответил ему, а Ипполит Тэн прислал письмо, которое немного обрадовало его.

«Милостивый Государь!

Возвратившись из путешествия, я получил книгу, которую вы пожелали прислать мне; как вы сами говорите, она полна «*pensées de derrière*»; она написана очень живо, литературно, стиль ее очень выразителен; порою парадок-

сальные обороты речи откроют глаза тому читателю, который захочет понять вашу книгу. Я особенно буду советовать философам вашу первую часть о философах и философии (с. 14, 17, 20, 25); но и историки, и критики почерпнут в ней немало новых идей (напр., с. 41, 75, 76, 149, 150 и т. д.). То, что вы говорите о характерах и о национальных гениях, в вашем восьмом опыте бесконечно убедительно, я перечту это место, хотя я нашел в нем на свой счет слишком лестное замечание. Вы мне доставили большое счастье, поставив меня в своем письме рядом с базельским профессором Буркхардтом, которого я бесконечно уважаю. Я, кажется, первым во Франции отметил в печати его большую работу о культуре времен итальянского Ренессанса.

Примите вместе с моей горячею благодарностью уверенность в моих лучших и преданнейших чувствах.

Ип. Тэн».

Пауль Ланцкий приехал также в Руту. Он был поражен той переменой, какую он нашел в Ницше за восемнадцать месяцев, в продолжение которых он не видел его. Фигура его согнулась, черты лица изменились. Но в душе он остался тем же; как ни горька была его жизнь, он оставался таким же сердечным и наивным и способным смеяться как дитя. Он увлекал Ланцкого в горы, где на каждом шагу открывались такие грандиозные виды на снежные Альпы и на море. Оба садились отдыхать в наиболее красивых местах, потом собирали осенний виноград и гнилые сучья и зажигали костер, огонь и дым которого Ницше приветствовал криками радости.

Ведь здесь, в харчевне Руты, Ницше задумал предисловие к *«Утренней заре»* и к *«Gaya Scienza»*, где он с такой удивительной живостью рассказывает свою духовную одиссею: Трибшен и дружба с Вагнером, Мец и начало войны, Байройт, надежды и разочарование, разрыв с Рихардом Вагнером; убийство своей любви; жес-

токие годы, лишённые лиризма и искусства, наконец, Италия, вернувшая ему и то и другое; Венеция и Генуя, спасшие его, и лигурийский берег, колыбель его Заратустры.

Когда Ницше писал таким образом, борясь против общего упадка, то не принимал ли он искусственно возбуждающих средств? Есть много данных думать так, но в точности мы не осведомлены относительно этого. Мы знаем, что Ницше принимал хлорал и пил настойку индийской конопли, которая в малых дозах действовала на него успокаивающе, а в больших возбуждала его. Может быть, он втайне принимал более сильно действующие средства: у нервных людей бывает такая привычка.

Ницше очень любил этот берег: «Представьте себе, — писал он Петеру Гасту, — островок греческого архипелага, принесенный сюда ветром. Это берег, принадлежащий пиратам, крутой, опасный; здесь легко скрываться...» Здесь он собирался провести зиму, но скоро изменил свои планы и хотел вернуться в Ниццу, и Ланцкий тщетно пытался удержать его.

— Вы жалуетесь на то, что все вас покинули, — говорил он ему. — Кто же виноват в этом? У вас есть ученики, и вы приводите их в уныние; вы зовете меня сюда, зовете Петера Гаста, а сами уезжаете.

— Мне нужен свет и воздух Ниццы, — отвечал ему Ницше, — мне нужна бухта Ангелов.

* * *

Он уехал один, и в продолжение зимы окончил предисловие, и перечел и пересмотрел свои книги. Он, казалось, жил в состоянии странного нервного успокоения, нерешительности и меланхолии. Он послал свои рукописи Петеру Гасту, как он всегда это делал, но его

обращение за советом носило какое-то непривычное впечатление беспокойства и приниженности. «Прочтите мои рукописи, — писал он в феврале 1887 года, — с большим недоверием, чем обыкновенно, и просто скажите мне: это подходит, это нет, это мне нравится и почему именно это, а не то и т. д., и т. д.»

Он много читал, и казалось, читал с более свободным любопытством, с менее предвзятой мыслью. Он свободно относится к сочинениям французских декадентов; он с уважением относится к критике Бодлером Вагнера и к *«Опытам современной психологии»* Поля Бурже. Он читает рассказы Мопассана, Золя; но эти общедоступные мысли, это чисто декоративное искусство не соблазняет его. Он покупает *«Опыт морали вне обязательства и санкции»* и делает свои пометки карандашом на полях. У Гюйо, так же как и у Ницше, и в одно и то же время была идея основать на экспансивных качествах жизни новую мораль, но они толковали эту идею по-разному, — Гюйо принимал за силу любви то, что Ницше считал побеждающей силой. Но, безусловно, первоначальное согласие существовало у обоих, и Ницше уважал интересное и чистое произведение французского философа. Это было время, когда начиналась слава русских романистов. Ницше интересовался поэтами этой новой, сильной и тонко чувствующей расы, обаяние которой всегда действовало на него. «Вы читали Достоевского? — пишет он Петеру Гасту. — Никто, кроме Стендаля, так не восхищал и не удовлетворял меня. Вот психолог, с которым у меня очень много общего». Во всех своих письмах Ницше говорит об этом новом для него авторе; горячая славянская религиозность интересует его, и он снисходит до нее. Он не видит в этом явлении симптома слабости, он думает, что это возвращение энергии, которая не может принять холодного принуждения современного общества, неповиновение которо-

му принимает форму революционного христианства. Эти стесненные в своих инстинктах варвары волнуются, обвиняют самих себя и открывают кризис, который еще не окончен. По этому поводу Ницше пишет: «Эта дурная совесть — болезненное явление, но болезнь вроде беременности». Он все еще надеется и упрямо защищает свои мысли от своего отвращения к окружающему; он хочет, чтобы они остались свободными, светлыми, доверчивыми, а когда он чувствует, что в нем и против них просыпается ненависть к Европе и ее опустившимся народам, когда он боится уступить своему настроению, тотчас же он упрекает себя: «Нет, — повторяет он самому себя, — Европа никогда не была настолько подготовленной к осуществлению великих дел, какой она является сейчас, и нужно вопреки всякой очевидности надеяться на все от этих масс, отвратительное рабское подчинение которых убивает всякую надежду».

В течение первых месяцев 1887 года Ницше очень сошелся с некоею г-жою В. П. Они вместе ездили в Сан-Ремо и Монте-Карло. Нам неизвестно имя этой женщины; не сохранилось ни одного адресованного ей или полученного от нее письма. В этом есть какая-то тайна, а может быть, и любовь, — мы можем так предполагать по крайней мере*.

Ницше был, без сомнения, в обществе м-ме В. П., когда он на концерте в казино Монте-Карло слушал прелюдию к «Парсифалю». Он слушал без всякого чувства ненависти, со снисходительностью утомленного борьбой человека. «Я любил Вагнера, — пишет он в сентяб-

* Нравы пансионеров на побережье Средиземного моря очень свободны и, конечно, нам неизвестны все эпизоды из жизни Ф. Ницше. Но здесь надо быть осторожным. По собранным нами сведениям, жизнь в Энгадине не давала поводов к подобного рода болтовне. Даже напротив, там, кажется, избегали женского общества.

ре Петеру Гасту, — и я еще люблю его...» Конечно, он любит его, если в таких словах говорит об этой слышанной им симфонии:

«Я не старался понять, может ли и должно ли это искусство служить какой-нибудь цели, — пишет он Петеру Гасту. — Я спрашиваю самого себя: сотворил ли Вагнер когда-нибудь нечто лучше этого? И отвечаю себе, что в этой вещи сочетались высшая правдивость и психологическая тонкость в выражении, в сообщении, в передаче эмоции; наиболее краткая и прямая форма; каждый оттенок, переход чувства определен и выражен с почти эпиграмматической краткостью; описанная сторона настолько ясна, что, слушая эту музыку, невольно думаешь о каком-нибудь шите чудесной работы; наконец, чувство, музыкальная опытность необыкновенной высокой души; «высота» в самом значительном смысле этого слова; симпатия, проникновенность, которые как нож входят в душу, — и жалость к тому, что он нашел и осудил в глубине этой души. Такую красоту можно найти только разве у Данте. Какой художник мог написать такой полный грусти и любви взгляд, как Вагнер в последних аккордах своей прелюдии!»

Какой из Ницше мог выработаться великий критик, подобный по тонкости Сент-Беву, которого он так уважал, но неизмеримо превосходил его по широте своих взглядов! И он знал об этом. «Дилетантизм анализа, — как он говорил, — имеет такое обаяние, перед которым трудно устоять», и лучшие его читатели заметили эту его особенность. «Какой вы прекрасный историк!» — говорил ему прежде Буркхардт, а потом повторит Ипполит Тэн; но Ницше эти мнения не удовлетворяли; он презирует призвание историка и критика. Его огорчило, когда один встретившийся ему в Ницце молодой немец рассказал ему, что тюбингенские профессора считают его человеком разрушительного ума, философом, радикально все отрицающим. Он еще не вполне освободился от романтизма, от жалости и любви для того,

чтобы броситься в противоположную крайность, упиваться силой и энергией. Он восхищается Стендалем; но он не собирается стать последователем Стендаля. Его детство было проникнуто христианскими верованиями; дисциплина Пфорта сделала их только более зрелыми, а Пифагор, Платон и Вагнер только увеличили и возвысили его желания. Он хочет быть поэтом и моралистом, глашатаем доблестей, творцом культов и душевной ясности. Никто из его читателей и из его друзей не понимал этого намерения. Он перечитывает, исправляя, «Утреннюю зарю», эту давно написанную страницу, истинность которой бесспорна до сих пор.

«Силе поклоняются на коленях по старой привычке рабов, и тем не менее, когда нужно определить степень почитаемости, то обращаются к степени разумного начала в силе; надо измерить, в какой степени самая сила подчинена какому-нибудь высшему началу и обращена в его средство и служебное орудие. Но подобных мерил еще существует слишком мало. Может быть, глаз и оценка гения считается даже богохульством. Таким образом, все самое прекрасное погружено может быть в вечную темноту тотчас же вслед за рождением. Я говорю здесь о расцвете той силы, которую гений обращает не на свои произведения, а на самого себя как на творческое произведение, иначе говоря, на обуздание себя, на очищение своей фантазии, на внесение порядка и выбора среди прилива идей и проблем. Великий человек остается невидимым, как далекая звезда, в том, что является наиболее замечательным, в победе над с и л о й, которая остается без свидетелей, не прославленной, не воспетой...»*

Увы, для того чтобы победить силой, надо иметь какую-нибудь внешнюю опору, разум или веру. Ницше лишал их всяких прав и, таким образом, остался безоружным в своей борьбе.

* «Утренняя заря», с. 548.

* * *

В начале марта сильное землетрясение напугало праздную интернациональную публику Ниццы; Ницше восхищался этим явлением природы, напоминающим человеку о его ничтожности. Два года тому назад катастрофа на Кракатау, при которой погибло на Яве 200 000 человек, наполнила его энтузиазмом. «Как это прекрасно, — говорил он Ланцкому, который читал ему телеграммы, — в один миг уничтожено 200 000 человек! Это великолепно! Вот конец, ожидающий человечество, вот конец, к которому оно придет!»

И он желал, чтобы море внезапно вышло из берегов и уничтожило по крайней мере Ниццу и ее обитателей. «Но, — замечал ему Ланцкий, — ведь и мы тоже погибнем». — «Не все ли равно!» — отвечал Ницше.

Его забавляло, что его желание почти исполнилось; он не ускорил своего отъезда ни на один день.

«До сих пор, — пишет он 7 марта, — среди этой тысячной толпы, внезапно лишившейся рассудка, я жил, полный чувства иронии и холодного любопытства. Но нельзя за себя отвечать, может быть, завтра я, подобно первому встречному, потеряю рассудок. Здесь есть нечто не предвиденное (в тексте — *imprévu*), в котором есть свое обаяние...»

В середине марта он окончил работу над предисловиями; в одном из них он говорит: «Какое нам дело до г-на Ницше, до его болезней и выздоровления? Будем говорить прямо, приступим к разрешению проблемы». Да, конечно, приступим к проблеме; определим, наконец, выберем из громадного числа целей, поставленных себе людьми, те, которые действительно возвышают, облагораживают их: сумеем наконец одержать нашу *победу над силой*. 17 марта он составил план:

Первая книга: *Европейский нигилизм.*

Вторая: *Критика высших ценностей.*

Третья: *Принцип новой оценки.*

Четвертая: *Дисциплина и подбор.*

Это почти то же расположение, которое он наметил в июле 1886 года: две книги анализа и критики; две книги доктрины и утверждений, в общем четыре книги, четыре тома.

Каждый год весна приводила Ницше в состояние нерешительности и дурного настроения. Приходилось выбирать между Ниццей и Энгадином; он сам не знал, где достаточно чистый воздух, не слишком жарко, достаточно светло и не очень ослепительно для глаз. В этом 1887 году его соблазнили итальянские озера и, уехав из Ниццы, он направился к Лаго Маджоре. Это укромное место, защищенное горами, вначале ему бесконечно понравилось. «Это место кажется мне более прекрасным, чем все города Ривьеры, — пишет он и вдруг начинает волноваться: — Как же это случилось, что я так долго не мог открыть его? Море, как и все огромные вещи, носит в себе оттенок чего-то нелепого и бесстыдного, чего я не нахожу здесь...» Он исправляет наброски «*Gaya Scienza*»; перечитывает «*Человеческое, слишком человеческое*» и снова с нежностью рассматривает это непризнанное произведение.

Но вскоре он берет себя в руки и решает заняться только новой работой; он заставляет себя возобновить свои размышления, но начинает нервничать и скоро теряет всякие силы. У него был проект посетить Венецию, но внезапно он от него отказался. «Мое здоровье препятствует мне, — пишет он Петеру Гасту. — Я недостоем видеть столько прекрасного...»

В довершение неприятностей между ним и Роде начинается ссора в письмах. У Ницше был случай напи-

сать несколько слов своему близкому другу давно прошедших дней, и он не мог удержаться от удовольствия немного подтрунить над ним в своем письме. «Я теперь схожусь только со стариками, — пишет он, — например, Тэном, с Буркхардтом; ты недостаточно стар для меня...» Роде не любил в нем этой черты. Будучи профессором, тогда как Ницше был ничем, известный всему ученому миру, тогда как, несмотря на свои эксцентричные книги, Ницше был совершенно неизвестен, Роде не допускал непочтения к себе и защищал свое достоинство. Письмо его было, должно быть, довольно жестким, потому что позднее он просил Ницше возратить его и уничтожил.

Эта неприятность плохо подействовала на Ницше. Здоровье его было во всех отношениях расстроено; он решил обратиться к водолечению, массажу, ваннам и поехал для этого в Швейцарию в Куар, где показался врачам.

Но, несмотря на это, он продолжал работать и употребил энергичное усилие для того, чтобы открыть и определить моральные ценности, которые он хотел предложить. Но это был напрасный труд: что он ни делал, проблема его третьей книги — *Принцип новой оценки* — осталась неразрешенной. Мы можем здесь изложить более точное определение, которое дает нам другой план:

«Третья книга: гипотеза законодателя. Связать заново беспорядочные силы таким образом, чтобы, сталкиваясь между собой, они больше не уничтожали друг друга; быть внимательным к реальному возрастанию этой силы!»

Что он хочет этим сказать? О каком реальном возрастании он говорит? Какое реальное направление указывается нам этими словами! Не есть ли это возраста-

ние напряженности? Тогда всякий оттенок энергии при условии, что он будет напряжен, — хорош. Но его надо понимать не так. Ницше выбирает, отдает предпочтение, исключает. Это возрастание есть признак порядка, естественной иерархии. Но ведь во всякой иерархии необходим критерий для распределения разрядов; какой же будет критерий? В другое время Ницше сказал бы: критерием будет мое лирическое утверждение, верование, которое я дам. Думает ли он и теперь по-прежнему? Конечно, мысли его никогда не меняются. Но дерзновение его, критический ум стал более требовательным после продолжительной нерешительности. Он по-прежнему полон желаний и исканий, он, кажется, ищет у науки, у «врача философа» реального основания, в котором отказывают ему все его приемы мышления.

Печальная новость еще более сразила его мужество; Генрих Штейн умер, не достигнув тридцати лет, от разрыва сердца.

«Я был вне себя после этой новости, — пишет Ницше Петеру Гасту, — я действительно любил его. Мне постоянно казалось, что он создан для будущего. Он принадлежал к тому небольшому количеству людей, с у с щ е с т в о в а н и е которых радует меня; и у него тоже было большое доверие ко мне... Именно здесь, в этом самом месте, как мы с ним смеялись!... Его двухдневный визит в Силс с полным равнодушием к природе и Швейцарии, — последовал непосредственно из Байройта; затем он поехал в Галле к своему отцу; это было самым редким и нежным выражением почтения, которое я когда-либо испытал. Здесь его приезд произвел впечатление. Уезжая, он сказал в отеле: «Если я опять приеду, то не ради Энгадина...»

Прошли три недели. Ницше стал жаловаться на недомогания, на нездоровье, влияющее вредным образом на его душевное состояние. Тем не менее он объявляет, что принимается за новую работу.

* * *

Он пишет не «Волю к власти». Нетерпеливое состояние духа, к тому же раздраженное сознанием усталости, мало соответствует медлительному размышлению; его импровизаторский и полемический гений один только остался незатронутым из его прежних дарований. Г-н Видманн, швейцарский критик, написал этюд о *«По ту сторону добра и зла»* и увидел в этой книге только руководство по анархизму: «Книга пахнет динамитом», — сказал он. Ницше пожелал ответить ему и тотчас же одним движением пера в две недели написал три коротких наброска, которым дал одно заглавие: *«Zur Genealogie der Moral — К генеалогии морали»*. «Это произведение, — пишет он на первой странице, — предназначено для того, чтобы дополнить и осветить последнее издание *«По ту сторону добра и зла»*».

«Я сказал, — пишет он кратко, — что занимаю место по ту сторону добра и зла — Gut und Böse. Разве это значит, что я хочу освободиться от всякой моральной категории? Совсем нет. Я отвергаю идеализацию мягкости, которую называют *добротой*, и поношение энергии, называемой *злом*; но существует история человеческого сознания, а знают ли моралисты о ее существовании? Эта история открывает нам множество других моральных ценностей, других способов быть добрым, других средств быть злым, она дает многочисленные оттенки чести и бесчестия. Здесь реальность обманчива и инициатива свободна: надо искать, надо измышлять».

Ницше развивает свою мысль далее: «Я хотел, — пишет он через несколько месяцев по поводу этой маленькой книги, — я хотел произвести пушечный выстрел более гремучим порохом». Он излагает разницу между двумя моральями, одной, продиктованной гос-

подами, другой — рабами; он думает, что путем филологического изыскания станет ясен смысл слов: «добро» и «зло». *Bonus, bionus*, говорит он, происходит, от *duonus*, что значит воинственный, *malus* происходит от *μελας*, что значит черный; белокурые арийцы, предки эллинов, определяли этим словом обычные поступки своих рабов и подданных, жителей Средиземного моря, смешанной негритянской и семитской крови. Ницше принимал эти примитивные определения низкого и благородного.

18 июля он пишет Петеру Гасту из Силс-Марии и сообщает ему о своем новом труде.

«В продолжение более ясных последних дней, — пишет он, — я усердно занимался писанием небольшой вещицы, которая полным светом озарит проблему моей последней книги. Все жалуются на то, что «не понимаю т меня», и только сто проданных экземпляров не позволяют мне сомневаться в том, что меня действительно не понимают. Вы знаете, в течение трех лет я истратил около 500 талеров, уплачивая за печатание; разумеется, не получив никакого гонорара, а мне уже сорок три года и я написал пятнадцать книг. Более того: после просмотра этих книг и еще других более обидных выходов, о которых я не могу говорить, я должен констатировать тот факт, что ни один немецкий издатель не хочет меня знать (даже если я отказываюсь от авторских прав). Может быть, эта маленькая вещица, которую я сейчас пишу, заставит купить несколько экземпляров моей предыдущей книги (мне всегда делается очень грустно, когда я думаю об этом несчастном Фритцше, на котором лежит вся тяжесть моего произведения). Может быть, когда-нибудь мои издатели и восторжествуют. Я слишком хорошо знаю, что в тот день, когда меня начнут понимать, я не получу за это никакой прибыли».

20 июля Ницше послал рукопись издателю. 24-го он посылает ему телеграмму, требуя ее обратно для неко-

торых добавлений. Все лето проходит у него в плохом настроении, в тоске и в поправках к своей книги, которую он не перестает пересматривать, расширять, сообщать ей еще более свой страстный темперамент. К концу августа, заметив пустое место на последней странице, он прибавляет любопытную заметку, где намечает все проблемы, приступить к разрешению которых у него нет ни сил, ни времени:

«Примечание: Я пользуюсь случаем, который представляет мне эта первая диссертация, для того, чтобы публично и официально высказать одно желание, которое до сих пор я открывал случайно в разговоре с некоторыми учеными. Было бы желательно, чтобы философский факультет открыл серию академических конкурсов с целью пропагандировать учения истории морали; может быть, эта книга могла бы служить важным двигателем этого вопроса. Я бы предложил следующий вопрос: «Какие указания дали нам лингвистика и, в частности, этимологические изыскания для истории эволюции моральных концепций?»»

С другой стороны, было бы не менее полезно привлечь к этим вопросам филологов и врачей. На самом деле, прежде всего надо, чтобы все таблицы ценностей, все императивы, о которых говорят история и этнологические науки, были освещены и объяснены с точки зрения физиологической, прежде чем пытаться объяснить их с помощью психологии... Вопрос: чего стоит та или иная таблица ценностей, та или иная мораль, должен быть поставлен в самых разнообразных перспективах. Особенно за изучение цели ценностей надо приниматься с разборчивостью и осторожностью. Вещь, которая, например, имела бы очевидную ценность в том, что касается наиболее длительного существования одной расы, будет иметь другую ценность, когда дело будет касаться создания типа высшей силы. Добро большинства и добро меньшинства — это две точки зрения абсолютно противоположной оценки: мы оставляем наивным английским

биологам свободу рассматривать первый случай, как вышедший в самом себе... Все науки заранее должны приготовить задачу философа будущего, состоящую в том, чтобы разрешить проблему ценностей и установить иерархию ценностей».

Наступил сентябрь; корректура была готова. В Энгадине наступили холода. Странствующему философу настало время выбирать новое место, новую работу.

«По правде сказать, — пишет он Петеру Гасту, — я колеблюсь между Венецией и Лейпцигом; мне нужно было бы поехать поработать, мне нужно еще многому поучиться, задать немало вопросов и много прочесть для великого «resum» моей жизни, с которым я теперь должен рассчитаться. Это стоило бы мне не осени, а целой зимы в Германии. Я все хорошо взвесил и решил, что мое здоровье слишком мне мешает подвергнуть себя этому опыту. Итак, я поселюсь в Венеции или в Ницце, и, с внутренней точки зрения, это будет, пожалуй, лучше. Мне более необходимо жить уединенно, чем читать о пяти тысячах проблем и справляться о них».

Петер Гаст жил в Венеции и можно было предвидеть, что она одержит верх над Ниццей и Лейпцигом. Ницше прожил несколько недель простым фланером, почти счастливый в этом городе «ста глубоких единств». Он мало писал: «Дни эти, — рассказывал Петер Гаст, — были праздными или казались такими. Ницше отказался от лейпцигских библиотек не для того, чтобы запереться в Венеции в одной комнате. Он гулял, посещал бедные «trattorie», где обедает в полдень самый бедный и самый приятный слой населения; в слишком солнечное время дня он успокаивал свои глаза в тени базилики; при наступлении сумерек он снова начинал свои бесконечные прогулки. Вечером он спокойно, не утруждая глаз, мог смотреть на собор Св. Марка с его ручными

голубями и на лагуны с их островами и храмами. Он не переставал думать о своем произведении; он воображал его логичным и свободным, простым по своему плану, богатым деталями, светозарным, но немного окутанным тайной, немного недосказанным в каждой строчке; он, словом, хотел, чтобы оно было похоже на этот любимый им город, на эту Венецию, где верховная воля сливалась со всеми грациозными фантазиями и прихотями».

Прочтем эти записки, относящиеся к ноябрю 1887 г.; разве не чувствуется в них *«Ombra di Venezia»*?

«Совершенная книга»: для этого принято во внимание:

1. Форма. Стил. Идеальный монолог. Все, что имеет ученый вид, ушедший в глубину. Все проявления глубокой страсти, беспокойства, а также и слабости облегчения, солнечные пятна, короткое счастье, высшая ясность. Быть выше всяких внешних проявлений; быть абсолютно личным, не употребляя первого лица. Нечто вроде мемуаров: говорить о наиболее отвлеченных вещах самым конкретным и жестоким образом. Вся история должна иметь такой вид, что она пережита, выстрадана лично... По мере возможности прибегать к видимым определенным вещам, давать примеры... Никакого описания; все проблемы перенесены в область чувства до страсти включительно.

2. Выразительные термины. Преимущество военных терминов. Найти выражения для того, чтобы заменить философские термины.»

22 октября Ницше был уже в Ницце.

* * *

Два события (без сомнения, слово это недостаточно выразительно) занимали Ницше в течение первых не-

дель пребывания его в Ницце. Он потерял старого друга и приобрел нового читателя. Потерянный друг был Эрвин Роде. Начатая весною ссора теперь обострилась. Ницше написал Роде, что он не хотел его обидеть. «Не уходи от меня с такою легкостью! — говорил Ницше, объявляя ему о посылке своей последней книги *«Генеалогия морали»*. — В мои годы и при моем уединенном образе жизни я с трудом могу примириться с потерей нескольких людей, которым я прежде доверял». Но этими словами он не мог ограничиться; он получил второе очень любезное письмо от Ипполита Тэна* (письмо от 12 июля 1887 года), о котором Роде без всякого уважения говорил в своем майском письме. Ницше хотел защитить своего французского корреспондента и продолжал на эту тему переписку:

НВ. «Я прошу тебя высказывать более зрело твои мнения относительно Тэна. Меня возмущают те грубости, которые ты позволяешь себе и говорить и думать на его счет. Я могу простить их принцу Наполеону, но не моему другу Роде. Кто бы ни не понимал этой нации с суровым умом и великим сердцем, но мне очень трудно поверить, что он ничего не понимает в моей жизненной задаче. Тем более, что ты никогда ни одним словом в твоих письмах не дал мне понять, что у тебя есть хоть какое-нибудь подозрение в той судьбе, которая лежит на мне... Мне сорок три года, а я чувствую себя таким одиноким, как если бы я был ребенком».

Между ними было прервались всякие отношения. Новым читателем, которого приобрел Ницше, был Ге-

* «Я очень счастлив, — писал Тэн, — что мои статьи о Наполеоне показались вам правильными, и ничто не может вернее передать мое впечатление, как те два немецких слова, которые вы употребляете: Недочеловек и Сверхчеловек».

орг Брандес, приславший в ответ на полученную от Ницше «Генеалогию» чрезвычайно остроумное письмо, написанное очень живым языком.

«Я вдыхаю с вашими книгами новый, оригинальный дух, — пишет он. — Я не всегда вполне понимаю то, что читаю, я не всегда понимаю, куда именно вы идете, но очень многие ваши черты согласуются с моими мыслями и симпатиями: подобно вам, я мало чту аскетический идеал; демократическое меньшинство внушает мне, как и вам, глубокое отвращение; я вполне понимаю ваш аристократический радикализм. Презрение, с которым вы относитесь к морали жалости, это вещь не вполне понятная для меня. Я ничего не знаю о вас и с удивлением узнаю, что вы — доктор, профессор. Во всяком случае примите мои поздравления за то, что вы своим умом так мало напоминаете профессора. Вы принадлежите к тому небольшому числу людей, с которыми мне хотелось бы говорить...»

Казалось, что Ницше должен был очень живо почувствовать утешение в том, что нашел наконец двух ценителей своей работы, да еще таких редких людей, как Брандес и Тэн. Кажется, в это же время Ницше узнал, что Брандес с удовольствием читал *«По ту сторону добра и зла»*. Но душа его была слишком наполнена горечью и способность воспринимать радостное впечатление, казалось, как бы навсегда погасла в нем. Он потерял эту внутреннюю радость, эту стойкую в испытаниях ясность духа, которой он когда-то гордился, и в письмах его звучит только тоска.

Из всех потрясений работоспособность его интеллекта вышла неповрежденной, и он трудится с необычайной энергией. Можно с трудом перечислить то, что его интересует. Петер Гаст переложил его *«Гимн жизни»* для оркестра. Ницше его просмотрел и местами исправил и в особенности наивно восхищался этой новой формой

своего творчества. Вышел «Дневник братьев Гонкур»; он читает эту «очень интересную литературную новость» и обедает у Маньи с Флобером, Сент-Бевом, Готье, Тэном, Гаварни и Ренаном. Такая масса развлечений не мешает ему благоразумно приняться за свою большую работу, за решительное произведение, где заговорит его мудрость, и будет говорить не без гнева; в ней не будет места спокойной полемике. Шестью строчками он определяет свою цель.

«Пройти все пространство современной души, в каждом уголке вкусить мою гордость, мою пытку, мою радость. На самом деле превозмочь пессимизм и посмотреть наконец на мир гётевским взглядом, полным любви и доброй воли».

В этих словах Ницше указывает, кто вдохновит его на его последнюю работу; имя ему — Гёте. Нет другой натуры, более непохожей на него, и этой разницей и определяется его выбор. Гёте не унизил ни один вид человеческой деятельности, не изгнал ни одной идеи из своего духовного мира; он получил и, как добрый хозяин, распорядился бесконечно обильным наследством человеческой культуры. Таков последний идеал Ф. Ницше, его последняя мечта. Он хочет на этом конце жизни (он знает о судьбе, которая его ожидает) оставить, как умирающее солнце, наиболее нежные лучи; всюду проникнуть, все рассудить, все осветить, без единой тени на поверхности вещей, без грусти внутри души.

Он без труда определяет руководящие идеи двух первых томов: *«Европейский нигилизм»*, *«Критика высших ценностей»*. Целых четыре года он не написал ни строчки, в которой не чувствовалось бы этого анализа или этой критики. Он быстро и раздраженно пишет. «Дайте мне немного свежего воздуха, — восклицает он, — это

нелепое состояние, в котором находится Европа, не может продолжаться дольше!» Но это только быстро замолкнувший крик. Ницше, как признак слабости, отталкивает от себя нетерпение; он должен песнью любви отвечать на жизненные удары. Он хочет вернуть себе, и действительно возвращает, более спокойные мысли и спрашивает себя: правда ли, что состояние, в котором находится Европа, нелепо. Может быть, разумность вещей существует, а только мы ее не видим. Это расслабление воли, это падение демократии, может быть, могут иметь и некоторое полезное значение, некоторую консервативную ценность. Они кажутся неустранимыми, может быть, они и необходимы. Теперь они для нас неблагоприятны, а может, наконец, они будут благотворны.

Р а з м ы ш л е н и е . Совершенно нелепо представлять себе, что вся эта победа ценностей противна законам биологии; надо искать объяснения этого в интересе самой жизни ради поддержания типа «человека» в случае, если ему придется бороться против преобладания слабых и обездоленных. Может быть, если бы все происходило другим способом, человек не существовал бы вовсе. — Проблема.

Возвышение типа опасно для сохранения вида. Почему? Сильные расы в то же время расточительны... Мы здесь встречаемся с проблемой э к о н о м и и .»

Подавив в себе отвращение, запретив себе проклинать жизнь, Ницше хочет рассмотреть — и достигает этого с полной ясностью, — все отвергаемые им тенденции. Он рассуждает: должны ли мы лишить массы права искать свою истину, свои жизненные верования? Массы являются всегда основанием человечества, подпочвой всякой культуры. Чем бы, лишившись их, стали высшие? Они должны стараться, чтобы массы были счастливы. Будем терпеливы; оставим наших возмущен-

ных рабов, ставших на мгновение нашими господами, измышлять благоприятные для них иллюзии. Путь они верят в достоинство труда! Если таким образом они станут податливее работать, их вера даже спасительна.

«Проблема, — пишет он, — заключается в том, чтобы возможно больше утилизировать человека и чтобы по мере возможности приблизить его к машине, которая, как известно, никогда не ошибается; для этого его надо вооружить добродетелями машины, его надо научить переносить огорчения, находить в тоске какое-то высшее обаяние; надо, чтобы приятные чувства ушли на задний план. Машинальная сфера существования, рассматриваемая как наиболее благородная, наиболее возвышенная, должна обожать сама себя. Высокая культура должна зародиться на обширной почве, опираясь на благоденствующую и прочно консолидированную посредственность. Единственной целью еще на очень много лет должно быть умаление человека, так как сначала надо построить широкое основание, на котором бы могло возвыситься сильное человечество. Умаление европейского человека — это великий процесс, который нельзя остановить, но который надо еще более ускорить. Активная сила дает возможность надеяться на пришествие более сильной расы, которая в изобилии будет обладать теми самыми качествами, которых именно не хватает настоящему человеку (воля, уверенность в себе, ответственность, способность поставить себе прямую цель)».

В конце 1887 года Ницше удалось написать начало той синтетической работы, которую он себе наметил. Он предоставил некоторые права, некоторое достоинство некогда отрицаемым им побуждениям. Последние наброски Заратустры уже давали нам подобные указания: «Ученики Заратустры, — писал Ницше, — дают смиренным, а не самим себе надежду на счастье. Они распределяют религии и системы в иерархическом порядке». Ницше пишет теперь, руководствуясь намере-

нием доказать, что гуманитарные тенденции не враждебны жизни, потому что они подходят массам, медленно прозябающим, а также и человечеству, которому необходимо удовлетворение масс. Христианские тенденции точно так же благотворны и ничто так не желательно, — пишет Ницше, — как их постоянство; они нужны всем страдающим, слабым, они необходимы для здоровой жизни человеческих обществ, чтобы страдания и неизбежная слабость были приняты покорно, без возмущения и даже, если возможно, с любовью. «Что мне ни приходилось говорить о христианстве, — пишет Ницше в 1881 г. Петеру Гасту, — я не могу забыть, что я обязан ему лучшими опытами моей духовной жизни; и я надеюсь, что в глубине своего сердца никогда не буду неблагодарным по отношению к нему...» Эта мысль и эта надежда не покидали его никогда; и он радуется, что нашел наконец справедливое слово этому культу его детства, единственному, который еще остался для человеческих душ.

14 декабря 1887 года Ницше послал в Базель своему старинному корреспонденту Карлу Фуксу письмо, полное горделивого настроения:

«Почти все, что я писал, должно быть зачеркнуто. В течение этих последних лет сила моего внутреннего возбуждения была ужасна. Теперь, в тот момент, когда мне предстоит идти еще выше, — моей первой задачей, является — снова измениться и подавить в себе свою личность настолько, чтобы достигнуть высших форм. Разве я стар? Я не знаю этого; и я не знаю тем более, какая молодость мне еще необходима. В Германии сильно жалуются на мои «эксцентричности». Но так как никто не знает в точности, где мой центр, то очень трудно разобраться в том, где и когда мне случается быть эксцентричным».

Если принять во внимание число, которым помече-

но это письмо, то оказывается, что Ницше в январе 1888 г. подходит к разрешению совсем иной проблемы. Это низменное большинство, права которого он допускает в ограниченном размере, не заслуживало бы существования, если бы его деятельность не была в последнем счете руководима избранным меньшинством, ведущим его к славным целям. Какими добродетелями отличается это избранное меньшинство и какие цели оно преследует? Таким образом, Ницше снова возвращается к мучающему его вопросу. Определит ли он, наконец, эту неизвестную и, может быть, недостижимую величину, к которой так давно стремится его душа? Снова тоска овладевает им; он жалуется на нервность и раздражительность; нервы его постоянно натянуты, получая письмо, он чувствует, как дрожат его руки, и боится распечатать его.

«Никогда мне не было так тяжело жить, — пишет он 13 января Петеру Гасту, — я совершенно не могу приспособиться к реальной жизни. Когда я не могу забыть обо всех меня окружающих мелочах, они угнетают меня. Бывают ночи, когда я не знаю, куда деваться от тоски. А сколько мне осталось всего сделать и столько же почти сказать! Значит, надо взять себя в руки. С таким благоразумием я рассуждаю по утрам. Музыка, за эти дни, дает мне такие ощущения, о которых я и понятия не имел. Она освобождает меня от самого себя; мне кажется в такие минуты, что я откуда-то с вышины смотрю на самого себя, и чувствую себя очень высоко; я делаюсь сильнее, и регулярно после каждого музыкального вечера (я четыре раза слышал «Кармен») для меня наступает утро, полное бодрых настроений и всевозможных открытий. Удивительно прекрасное самочувствие. Такое ощущение, будто я искупался в более естественной стихии. Для меня жизнь без музыки — это просто ужас, мучение, изгнание».

Попробуем проследить за его работой. Он принуж-

дает себя к историческим изысканиям, он пытается открыть существование социального класса, нации, расы или части человечества, которые бы давали надежду на появление более благородного человека. Он говорит о современном европейце:

«Может ли сильная человеческая раса от него освободиться? Раса с классическими вкусами? Классический вкус — это желание упрощенности, акцентировки, мужество психологического обнажения... Чтобы возвыситься над этим хаосом и прийти к подобной организованности, надо быть приневоленным необходимостью. Надо не иметь выбора: либо исчезнуть, либо возложить на себя известную обязанность. Властная раса может иметь только ужасное и жестокое происхождение. Проблемы: где варвары XX века? Ясно, что они могут появиться и взять на себя дело только после потрясающих социальных кризисов; это будут элементы, способные на самое продолжительное существование по отношению к самим себе и гарантированные в смысле обладания самой «упорной волей».

Возможно ли усмотреть в современной Европе элементы, предназначенные к этой победе? Ницше пытается найти и занести в свои тетради результаты своих изысканий:

«Самые благоприятные преграды и лучшие средства против современности:

Во-первых:

1) «Обязательная военная служба, с настоящими войнами, которые прекратили бы всякие шутки.

2) Национальная узость, которая упрощает и концентрирует».

Другие указания только усиливают вышеизложенное:

«Поддержка военного государства — это последнее средство, которое нам осталось или для поддержания великих традиций, или для создания высшего типа че-

ловека, сильного типа. Все обстоятельства, которые поддерживают неприязнь, расстояние между государствами, находят себе таким образом оправдание....»

Какое неожиданное заключение ницшеанской полемики! Он обесчестил национализм, а в этот важный момент, когда он ищет опоры, он снова возвращается к национализму. Но есть еще более неожиданное открытие: продолжая свои изыскания, Ницше предвидит, определяет и одобряет образование партии, которая может быть только формой или реформой позитивной демократии. Он различает границы двух значительных и здоровых группировок, достаточных для дисциплинирования людей:

Партия мира, ничуть не сентиментальная, которая запрещает и себе, и своим членам вести войну; она запрещает также своим членам вести войну; она запрещает также членам обращаться к судьям; она возбуждает против себя пререкания, гонения; по крайней мере на время она становится партией угнетенных; вскоре же она превращается в великую партию, свободную от чувства злобы имести.

Партия войны, которая с той же логичностью и строгостью к самой себе действует в обратном смысле.

Должны ли мы рассматривать в этих двух партиях организованные силы, возвещаемые Ницше, которые откроют *трагическую эру в Европе*? Может быть; но надо быть осторожным и не преувеличивать ценности этих заметок. Они составлены очень поспешно, и таким же образом, как они пронеслись в уме Ницше, они должны пронестись и перед нами. Взгляд Ницше разбрасывается и ни на чем не останавливается. Его не удовлетворяет никакой вид рабочего пуританизма, потому что он знает, что расцвет человеческой культуры зависит от свободной аристократии. Его не удовлетворяет никакой

национализм, так как он любит Европу и ее бесчисленные традиции.

Какая помощь осталась ему? Он решился искать даже в той эпохе, в которую он жил, опору высшей культуры. Был момент, когда ему показалось, что он нашел эту опору, но он ошибся и отказался от своего выбора, потому что эта поддержка ограничивает горизонты, а ум его не выносит этого. «Вот что необычайно в жизни мыслителя, — писал он в 1875 г., а из того, что это было написано так давно, мы можем судить о длительности этого конфликта, — что две противоположные склонности заставляют его следовать одновременно по двум разным направлениям и держать под своим ярмом: с одной стороны, он хочет знать, и, расставаясь неустанно с твердой землей, носящей на себе жизнь человеческую, пускается в неизведанные области, с другой стороны, он хочет жить, не хочет уставать и ищет себе постоянной точки...»

Ницше, расставшись с Вагнером, пускается в неизведанные области. Он ищет последней поддержки, и что же он находит? Узкое убежище национализма. Он отказывается от него; это грубый исход, это только полезная хитрость для того, чтобы немного придать силы толпе, некоторое воспитание вкуса и строгости воли. Это не должно быть, не может быть доктриной европейского, избранного рассеянного меньшинства, без сомнения, не существующего, того меньшинства, к которому направлены все его мысли.

Он более не думает о национализме: он нужен только бедному веку. Ницше больше не пытается искать благодетельной веры для низменного большинства: какое ему до него дело? Он думает о Наполеоне, о Гёте; оба они стояли выше своих современников, выше предрассудков своих партий. Наполеон ненавидит революцию,

но почерпает в ней энергию; он презирует Францию и управляет ею; гордость его требует завоеваний и реформы Европы. Гёте не уважает Германию и мало интересуется происходящей в ней борьбой, но он хочет обладать всеми идеями и мечтами человечества и оживить их, хочет сохранить и увеличить необъятное наследство моральных богатств, созданных Европой. Наполеон знал о величии Гёте, а Гёте с радостью наблюдал за жизнью победителя *ens realissimum*. Солдат и поэт, один держит людей в подчинении, в молчании и в накоплении сил, другой — присутствует, созерцает и прославляет; вот идеальный союз, который появляется в жизни Фр. Ницше в самые решительные моменты его жизни. Он поклоняется Греции в лице Феогида и Пиндара, Германии — в лице Бисмарка и Вагнера; длинный изгиб в сторону снова приводит его к его мечте, к этой недостижимой Европе, воплощению силы и красоты, одинокими представителями которой на другой день Революции были Наполеон и Гёте.

* * *

Мы знаем из одного письма Фр. Ницше к Петеру Гасту от 13 февраля 1887 г., что он в это время не был доволен своей работой. «Я так и не пошел дальше попыток, введений и всевозможных обещаний... — пишет он и затем прибавляет: — Первый черновик моего *«Опыта переоценки»* — это, в общем, была сплошная пытка; у меня нет силы воли даже думать о нем. Через десять лет дело пойдет лучше». Какова была причина этого недовольства? Может быть, он устал от того дела, которое взял на себя в течение этих трех месяцев? Устал от терпимости, снисхождения к потребностям слабой толпы. Может быть, ему не терпится сдерживать более свой гнев?

Мы можем подойти к его душе очень близко благодаря его письмам к матери и сестре (не все из них были опубликованы). Он пишет этим двум разлученным с ним женщинам с такой нежностью, при которой невозможно ни лицемерие, ни искусственная бодрость духа. Он пишет им так откровенно о самом себе, как будто ему доставляло удовольствие снова чувствовать себя ребенком около них. Матери он пишет ласковые, послушные письма и смиренно подписывает их *«твое старое создание»*. Он по-товарищески болтает с сестрой, и кажется, что он забыл все обиды, которые он прежде претерпел от нее; он знает, что она никогда не вернется из далекого Парагвая, жалеет и любит ее, потому что считает ее потерянной; она так энергична, его Лизбет, и храбро рискует своей жизнью, и Ницше восхищается этими ее добродетелями, которые он ставит выше всех и которые, как он думает, составляют добродетели их фамилии, благородной фамилии графов Ницки. «Как я живо чувствую, — пишет он ей, — в том, что ты говоришь и делаешь, что в наших жилах течет одна и та же кровь...» Он выслушивает ее, но она не перестает давать ему слишком мудрые советы. Так как он жалуется на одиночество, отчего он не хочет стать профессором или жениться? Ницше отвечает очень просто: где я найду себе жену? И если я и найду ее, буду ли я иметь право предложить ей разделить со мною мою жизнь? Но между тем он чувствует потребность в женской ласке. Об этом говорит его письмо к сестре.

Ницца, 25 января 1888 г.

Я должен рассказать тебе об одном маленьком происшествии: вчера, во время своей обычной прогулки, я услышал неподалеку голос, искренний, веселый смех (мне показалось, что это ты смеешься); и потом увидел прелест

ную молодую девушку, с карими глазами, нежную, как молодая козочка. Мое старое сердце одинокого философа забилося сильнее; я подумал о твоих matrimониальных советах и в продолжение всей прогулки не мог отогнать от себя образ этой молодой, милой девушки. Без сомнения, ведь это было бы чистое благодеяние иметь около себя такое грациозное существо, но для нее было бы это благодеянием? Разве я с монми идеями не сделал бы эту девушку несчастной и разве не разрывалось бы мое сердце (я предполагаю, что я любил бы ее), видя страдания этого милого творения? Нет, я не женюсь!»

Приблизительно в это же время им овладевает странная больная мысль. Каждую минуту он думал о том счастье, которого он был лишен, о славе, о любви, о дружбе; он злобно вспоминает о тех, кто обладает ими, и особенно о Вагнере, гений которого был всегда так щедро вознагражден. «Как была прекрасна Козима Лист, эта не сравнимая ни с кем женщина, когда он увидел ее в первый раз в Трибшене! Она приехала тогда, еще будучи дочерью Листа, невзирая на общественное мнение, жить с Вагнером и помогать ему в его работе. Внимательная, с ясным умом, деятельная и всегда готовая идти на помощь, она служила ему той поддержкой, которой он был лишен до того времени. Что было бы с ним без нее? Мог ли бы Вагнер без нее управлять своим горячим характером, умерять свое нетерпение и беспокойства? Мог ли бы он реализовать свои творения, о которых он всегда говорил? Козима умеряет его пыл, руководит им, благодаря ей он оканчивает тетралогию, он воздвигает Байройтский театр, пишет «Парсифаля». Ницше ясно вспоминает чудные дни, прожитые им в Трибшене; Козима любезно встречала его, выслушивала его мысли, проекты, читала его рукописи; она относилась к нему благосклонно, говорила с ним. Страдания и раздражение придают воспоминаниям Ницше

ложный характер; он в волнении спрашивает себя: не любил ли он Козиму? Она сама не любила ли его? Ницше хочет верить этим мечтам и, действительно, начинает верить в них. Без сомнения, между ними существует любовь, и Козима спасла бы его так же, как спасла Вагнера, если бы, благодаря какому-нибудь счастливому случаю, узнала его несколькими годами раньше. Но все настроено против Ницше, и здесь Вагнер ограбил его. Он взял у него все: славу, любовь, друзей.

Этот странный роман является сюжетом последних сочинений Ницше. Греческий миф помогает ему выразить и несколько затушевать его мысль: это миф Ариадны, Тезея и Вакха. Тезей заблудился, Ариадна спасла его и провела в глубь лабиринта; то Тезей неблагодарен: он покидает на скале спасшую его женщину; Ариадна умерла бы одинокая, полная отчаяния, если бы не явился Вакх. Вакх-Дионис любит ее. Очень легко разгадать загадку этих трех имен: — Ариадна — Козима, Тезей — Вагнер, Вакх-Дионис — Ницше.

31 марта он снова пишет, но это уже письмо погибшего человека:

«Меня день и ночь нестерпимо мучит долг, который возложен на меня (*mir gestellt ist*); меня мучат также условия моей жизни, которые абсолютно не соответствуют осуществлению этого долга; очевидно, в этом обстоятельстве надо искать причину моей тоски. Мое здоровье осталось сравнительно хорошим, благодаря исключительно прекрасной зиме, хорошему питанию и продолжительным прогулкам. Все здорово, кроме моей бедной души. Кроме того, я не скрою, что зима для меня была богата духовными завоеваниями для моего великого произведения. Значит, ум мой не болен, все здорово, кроме моей бедной души...»

На другой день Ницше уехал из Ниццы. Прежде чем подняться в Энгадин, он хотел попробовать пожить в

Турине, сухой воздух и просторные улицы которого ему очень хвалили. Путешествие его было неблагополучно: он потерял багаж, раздражался, ссорился с чиновниками и два дня пролежал больным в Sampierdarena около Генуи; в Генуе он остановился на три дня и отдыхал там, весь окутанный счастливыми воспоминаниями. «Я благодарю мою судьбу, — пишет он Гасту, — что она привела меня в этот город, где *возвышается воля*, и где нельзя сделать ничего низкого. Я никогда не испытывал большего чувства благодарности, как во время моего паломничества в Геную...» В субботу 6 апреля он приехал в Турин, разбитый усталостью. «Я не могу больше путешествовать один, — пишет он Гасту в том же письме. — Это слишком волнует меня, и все на меня действует нелепейшим образом».



III

На пути к мраку

Мы должны на время приостановить наш рассказ и предупредить читателя: мысль Ницше, историю которой мы старались до сих пор найти, не имеет больше никакой истории; разбивает Ницше не болезнь духа, а болезнь тела. Иногда говорят, что Ницше уже давно был душевнобольным. Может быть, но точный диагноз поставить невозможно; во всяком случае воля и способность рассуждать не были поражены, он мог еще сдерживаться и умерять себя. Весной 1888 г. эта способность у него пропадает; сознание его еще не затемнено, он не пишет ни одного слова, которое не проникало бы вглубь и не рассекало бы какой-нибудь вопрос; ясность его ума была поразительна, но чрезвычайно губительна; вся сила его направлена только на разрушение. Когда наблюдаешь последние месяцы этой жизни, кажется, что присутствуешь при работе военного снаряда, которым не может управлять никакая человеческая рука.

Ницше прекращает все моральные изыскания, которые до тех пор поддерживали, обогащали и возвышали его произведения. Вспомним содержание его письма к Петеру Гасту, написанного в феврале 1888 г. «Я нахожусь в состоянии хронической раздражительности, над которой в лучшие моменты я беру род реванша, вовсе не

самый лучший — все это имеет вид чрезмерной жестокости...» Эти слова освещают содержание его трех ближайших сочинений: «Дело Вагнера», «Гибель идолов», «Антихрист».

Мы в кратких чертах изложим содержание этих дней, когда Ницше перестал быть самим собой.

* * *

Около седьмого апреля Ницше получил в Турине неожиданное письмо от Брандеса, в котором тот писал ему о своем намерении посвятить философскому учению Ницше несколько лекций. «Меня возмущает, что никто вас здесь не знает, и я хочу сразу заставить людей познакомиться с вами...» «Право, для меня совершенно неожиданно, — отвечал ему Ницше, — что у вас хватает храбрости публично говорить о *безвестности*. Вы, может быть, воображаете, что на моей родине меня знают? Меня принимают там за нечто странное и нелепое, которое нет никакой надобности *принимать всерьез*». «Длинный ряд препятствий, — пишет он в конце письма, — понемногу убили во мне гордость. Философ ли я? Не все ли равно!»

Это письмо должно было быть для него поводом к великой радости, и если бы его можно было спасти, то, может быть, и его спасением. Без сомнения, он ощущал какое-то счастливое настроение, но мы с трудом замечаем его признаки. Было уже слишком поздно, и Ницше идет по тому пути, куда влечет его судьба.

В течение этих дней, полных усталости и напряжения, он прочел последнюю и очень для него важную книгу.

Желая познакомиться с примером иерархических обществ, на восстановление которых он надеялся, Ницше достал перевод законов Ману; он прочел их, и ожида-

ния его оправдались. Этот кодекс является основанием народов и определяет порядок четырех каст; этот прекрасный, простой, человеческий даже в своей строгости, язык, это постоянное благородство, наконец, это впечатление спокойной уверенности и мягкости, которыми проникнута вся книга, восхитили его. Прочтем правила ее первых страниц:

«Прежде чем делать отсечение пуповины, рождению ребенка мужского пола должна предшествовать церемония: ему должны дать смесь очищенного меда и масла с золотой ложки и читать при этом молитву.

Отец должен выполнить церемонию наречения на десятый или двенадцатый день после рождения, или в следующее полнолуние, в благоприятный для этого момент, под звездой, обладающей хорошим влиянием.

Пусть имя *Врамаһне*, в силу тех двух имен, из которых оно состоит, должно означать благоволение, имя *Kchatrya* — власть, имя *Vaïśya* — богатство, имя *Soudra* — подлость.

Имя женщины должно быть легко произносимо, нежно, ясно, приятно, благосклонно; оно должно оканчиваться на долгую гласную и напоминать слова благословения...»

Эта книга восхитила Ницше, и он переписал из нее многие места: он узнает в индусском тексте этот *гётевский взгляд, полный любви и доброй воли*, и слышит тот *canto d'amore*, который он сам хотел петь.

Но он судит произведение, одновременно с тем и восхищаясь им. В основании этого индусского порядка лежит мифология; священники, объясняющие ее, вовсе не глупы.

«Эти мудрецы, — пишет Ницше, — сами в это не верят, иначе они не измыслили бы этих законов». Законы Ману — это ловкая и красивая ложь, но эта ложь необходима. Если природа представляет из себя хаос, насмешку над всякой мыслью и порядком, то всякий, кто желает восстановить в ней какой-либо порядок, дол-

жен уйти от нее и создать новый мир, полный иллюзий. Эти учителя-строители, индусские законодатели, очень умелы в искусстве лгать, и если бы Ницше не был осторожен, их гениальность увлекла бы его на путь лжи.

Это был момент кризиса, из которого мы знаем только его происхождение и конец. Ницше был в Турине один, никто не присутствовал при его работе, и он никому не говорит о ней. О чем он думал? Без сомнения, он изучал эту старую арийскую книгу, давшую ему пример его мечтаний, и немало размышлял над ней; это был лучший памятник эстетического и социального совершенства, но это было также памятником духовного лукавства. Нет ничего больше, что бы Ницше мог любить или ненавидеть; он размышляет, изумляется, потом на время оставляет свою работу. Те же трудности четыре года тому назад помешали ему окончить *«Заратустру»*, не говоря уже о *«Сверхчеловеке»* и *«Вечном возврате»*. Наивные формулы оставлены, но не были ли иллюзорны самые тенденции, которые они содержали? — одна лирическая, жаждущая строительства и порядка, другая критическая, жаждущая разорения и ясности: что же ему в конце концов делать? Слушать ли ему этих браминов, жрецов, хитрых руководителей человечества? Нет: честность — это добродетель, которой он не поступится. Позднее, много позднее, через несколько веков, люди, лучше знающие о смысле их жизни, лучше осведомленные о происхождении и ценности их инстинктов, о механизме наследственности, будут в состоянии испробовать новые законы. Сейчас они этого не могут сделать; они могут дополнить прежние лицемерие и ложь, которыми они окутаны, новой ложью и новым лицемерием. Ницше отказывается от мыслей, которые так сильно занимали его в течение шести месяцев, и возвращается к тому душевному состоянию, в каком был на тридцатом году своей жизни,

а именно к безразличию перед всем, что не составляет служения истины.

«Надо вывести наружу все подозрительное и ложное, — писал он в то время. — Мы не хотим ничего создавать преждевременно, мы не знаем, можем ли мы что-нибудь создать и, может быть, даже лучше не создавать ничего. Мы не хотим принадлежать к числу низких и безропотных пессимистов.

Когда Ф. Ницше говорил таким образом, то у него было достаточно силы, чтобы ясно и спокойно смотреть на свой труд, освещаемый надеждой. Эту силу и его молодость, это спокойствие прошлых дней он потерял на протяжении пятнадцати лет, и всякая надежда покинула его. Его больная душа не противится больше раздражению. Наконец один факт разрушает и заканчивает наши догадки: Ницше отказывается от своей большой работы и оставляет ее для того, чтобы приняться за памфлет.

Время ясного сознания миновало, раненная насмерть душа Ницше мстит ударом за удар. Всю свою злобу он вымещает на Рихарде Вагнере, на лживом апостоле *«Парсифаля»*, иллюзионисте, увлекавшем свое поколение. Когда-то и он был в числе его поклонников, теперь же он хочет развенчать его; Ницше страстно хочет этого и чувствует, что в этом даже его долг. «Я создал вагнеризм, я же должен погубить его», — думает он. Жестоким нападением хочет он освободить своих современников, которые, будучи слабее его, все еще подчиняются обаянию этого искусства. Он хочет унижить этого человека, которого он любил и все еще любит; он хочет опозорить учителя, оказавшего благотворное влияние на его молодые годы; он, наконец, хочет (мы не ошибаемся?) отомстить ему за потерянное счастье. Он оскорбляет Вагнера, называет его декадентом, комедиантом, современным Калиостро. Подобная грубая бестакт-

ность — неслыханный факт в прежней жизни Ницше; ее одной достаточно, чтобы доказать близость трагической развязки.

Делая все это, он не чувствует угрызений совести, он возбужден, и этот счастливый экстаз помогает его работе и ускоряет ее. Психиатрам известно то странное состояние, которое предшествует последнему кризису общего паралича: на Фр. Ницше находит приступ непонятной радости. Он приписывает это благотворному климату Турина.

«Турин, милый друг, — пишет он Петеру Гасту, — это большое открытие. — Я пишу вам об этом с задней мыслью, что и вы, может быть, воспользуетесь его климатом. У меня хорошее расположение духа, я с утра до вечера работаю, — в данный момент над маленьким памфлетом в области музыки, — пищеварение у меня, как у полубога; несмотря на ночной стук экипажей, я хорошо сплю: как видите, множество симптомов того, что Ницше приспособился к Турину».

В июле здоровье Ницше становится значительно хуже, после нескольких холодных и сырых недель, прожитых в Энгадине; наступила бессонница, приятное возбуждение сменилось лихорадочным и горьким настроением. М-лле де Сали-Маршлен, которая передает свои воспоминания о Ницше в интересной брошюре, увиделась с ним после десятимесячной разлуки и заметила перемену в его состоянии. Она тщательно наблюдала за ним; он гулял один, ходил очень быстро, быстро раскланивался со знакомыми, едва останавливался с ними или вовсе не останавливался, всегда спешил возвратиться в гостиницу записать пришедшие ему на прогулке мысли. Он несколько раз посещал ее и не скрывал своей озабоченности. Ницше ненавидел денежные затруднения: та сумма, которую ему удалось дос-

тать, уже почти истощилась; мог ли он с тремя тысячами франков пенсион, которые давал ему Базельский университет, существовать и еще дорого платить из них за публикацию своих книг? Напрасно он сокращал свои путешествия, примирялся с самыми упрощенными помещениями и питанием: его деньги приходили к концу.

Он кончил *«Дело Вагнера»*; прибавил в тексте предисловие, *postscriptum*, второй *postscriptum* и эпилог. Он не может остановиться и не расширять дальше свое произведение, не делать его более резким. Но тем не менее он не удовлетворен и, написав свою книгу, чувствует угрызения совести.

«Для меня очень значительное утешение представляет то обстоятельство, что моя рискованная брошюра вам понравилась, — пишет он Петеру Гасту 11 августа 1888 года. — Бывают часы, целые вечера, в особенности, когда у меня не хватает достаточно храбрости для такого безумия, такой жестокости; я сомневаюсь относительно нескольких мест. Может быть, я зашел слишком далеко (не в содержании, а в манере выражаться)? Не лучше ли сократить то место, где я говорю о семейных делах Вагнера?»

Около этого же времени он пишет письмо m-lle фон Мейзенбух, над которым можно задуматься.

«Я дал людям глубочайшую книгу, — пишет он, — но это дорого стоит... Иногда для того, чтобы стать бессмертным, надо заплатить ценою целой жизни! На моей дороге постоянно стоит байройтский кретинизм. Старый соблазнитель Вагнер, хотя и мертвый, продолжает похищать у меня тех людей, которых могли бы достигнуть мои творения. Но в Д а н и и — нелепо кажется даже говорить об этом — меня чествовали этой зимою! Доктор Георг Брандес, у которого такой живой ум, осмелился говорить обо мне в Копенгагенском университете! И с блестящим успехом! Каждый раз было

свыше трехсот слушателей, и в конце лекции овация! В Нью-Йорке готовится нечто подобное! У меня ведь самый независимый ум во всей Европе и я единственный немецкий писатель, — это что-нибудь да значит».

В *postscriptum* он прибавляет: *«Для того, чтобы выносить мои произведения, надо иметь великую душу. Я очень счастлив, что восстановил против себя все слабое и добродетельное».*

Снисходительная m-lle фон Мейзенбук поняла, что в этих словах был намек на нее, и отвечала мягко, как она всегда делала: «Все слабое и добродетельное, говорите вы, против вас? Не будьте парадоксальны! Добродетель не слаба, это сила, об этом достаточно говорится. А сами вы разве не представляете собою живое противоречие тому, что вы говорите? Вы добродетельны, и пример вашей жизни, если бы люди могли только его знать, убедил бы их скорее, чем ваши книги...» Ницше ответил ей: «Я с волнением прочел ваше милое письмо, дорогая моя и друг мой; без сомнения, вы правы — и я тоже...»

Он вел очень подвижную жизнь: днем он ходит в ритме со своими фразами, изоощряя свои мысли; вечером он работает, и часто он все еще пишет при первых лучах зари; когда встает хозяин гостиницы, тогда Ницше выходит бесшумно из дому и бредет в горы, наблюдая за следами серны. «Разве я сам не охотник за сернами?» — спрашивает себя Ницше, не прерывая работы.

Он кончает «Дело Вагнера» и начинает новый памфлет не против определенного человека, а против идей, против всех идей, найденных людьми для того, чтобы определить свои поступки. Нет мира метафизического, и рационалисты только мечтатели; нет и мира морального, и моралисты только предаются меч-

таниям. Что же остается? «Мир видимостей, может быть? Нет. С миром истины мы разрушили мир видимостей».

Существует только с каждой минутой обновляемая энергия: «*Incipiet Zaratoustra*». Ницше ищет заглавия для нового памфлета: «*Досуз психолога*», — думает он сначала, потом решает: «*Гибель идолов или философия молота*». 7 сентября он посылает рукопись издателю. Эта маленькая книга, — пишет он, должна поразить, скандализировать, привлечь умы и приготовить их к принятию его большого труда.

Он все еще не забыл о нем и, едва окончив второй памфлет, принимается за работу. Но нельзя более узнать тон гётевски спокойного произведения, о котором он мечтал. Он придумает новые заглавия: «*Мы имморалисты*», «*Мы гиперборейцы*», и наконец возвращается к прежнему заглавию и останавливается на нем: «*Воля к власти, опыт переоценки всех ценностей*». С 3 по 30 сентября, в двадцать семь дней, он написал первую часть и пишет третий памфлет «*Антихрист*». На этот раз он говорит нам откровенно: он указывает нам свое *да*, свое *нет*, свою прямую линию, свою *цель*; он высказывается очень грубо и энергично. Все продиктованные народом или его избранными моральные императивы Моисея и Ману — одна ложь. Европа была на пороге величия, пишет Ницше, когда в начале XVI века можно было надеяться на то, что на папский престол вступит Цезарь Борджиа. Должны ли мы считать эти мысли определяющими все остальное только потому, что это последние высказанные им мысли?

В это время Ницше пишет «*Антихриста*», а также возвращается к своим «*Дионисийским поэмам*», набросанным еще в 1889 г., и кончает их. Мы находим в них некоторые выражения тех предчувствий, которые его тогда волновали:

«Солнце садится! Скоро, мое сожженное сердце, ты уже не будешь болеть! В воздухе чувствуется прохлада, я ощущаю дыхание неведомых уст, надвигается сильный холод... Солнце стоит над моей головой в полдень и жжет ее. Я приветствую вас, летящие быстрые ветры, добрые духи вечерней прохлады! Воздух колышется, спокойный и чистый. Эта ночь, не бросила ли она на меня тайного соблазнительного взгляда? Сердце мое, крепись, не спрашивай зачем? Вечер моей жизни настал!.. Солнце зашло».

21 сентября Ницше снова в Турине. 22-го «Дело Вагнера», появился на свет; это была, наконец, книга, о которой журналы немного говорили, но Ницше пришел в отчаяние от их комментариев; кроме швейцарского писателя Карла Шпиттелера, никто не понял книги; каждое слово говорило о том, как мало чувствует публика его произведение. Немецкие критики о нем ничего не знали; они знали, что какой-то Ницше был учеником Вагнера и что-то писал; прочитав «Дело Вагнера», они напечатали, что Ницше только что порвал со своим учителем. Кроме того, он чувствует, что некоторые из последних друзей недовольны им и осуждают его: Якоб Буркхардт, всегда очень аккуратный, не отвечал ничего на присылку книги, добрейшая Мейзенбух прислала возмущенное и суровое письмо.

«Это вопросы, — отвечал ей Ницше, — по поводу которых я не допускаю возражения. Я говорю о вопросах *декаданса*, самых животрепещущих, какие только существуют; люди, с их жалким и дегенеративным инстинктом, должны были чувствовать себя счастливыми, что около них есть кто-то, который великодушно дает им благородное вино, в самые темные моменты. Что Вагнеру удалось заставить поверить в себя, это без сомнения доказывает его *гениальность*, но *ложивую гениальность*... А я имею честь быть совсем другим, гением истины...»

Несмотря на такое возбуждение, письма Ницше ды-

шат неслыханным счастьем; все его восхищает: осень прекрасна, улицы, галереи, кафе Турина великолепны, стол питателен, цены умеренны; у него прекрасное пищеварение и чудесный сон; он слушает французские оперетки, и ничто ему не кажется таким совершенным, как этот легкий жанр, «рай утонченных впечатлений». Он бывает в концертах и одинаково прекрасными кажутся ему Бетховен, Шуберт, Россаро, Гольдмарк, Вильбах и Бизе. «Я плакал... — пишет он Петеру Гасту. — Я думаю, что Турин с музыкальной точки зрения, как и со всякой другой, самый *основательный город*, который я знаю».

Можно было бы предполагать, что, полный этим опьянением, Ницше не знает о том, какая судьба его ожидает. Ничего подобного: нескольких беглых слов достаточно, чтобы указать на его прозорливость; он чувствует охватывающее его волнение. 13 ноября 1888 года Ницше выражает Петеру Гасту свое желание видеть его около себя и сожаление, что он не может приехать; это была его постоянная жалоба, самое постоянство которой уменьшало ее силу. Ницше знает это и предупреждает своего друга: *примите самым трагическим образом то, что я вам* говорю. 18 ноября он пишет ему письмо, кажущееся счастливым; он пишет о слышанных им оперетках, о Жюдик и о Милли Мейер: «Для наших тел и для наших душ, милый друг, — пишет он, — все спасение в легкой парижской отраве». В конце письма он добавляет: *«Пожалуйста, это письмо принимайте тоже трагически»*.

Это состояние физического возбуждения, куда влечет его ясное сумасшествие, не мешает ни предчувствиям, ни страху перед надвигающейся катастрофой. Ницше хочет в последний раз собрать все воспоминания и впечатления, оставленные ему жизнью, и пишет странное, самодовольное и отчаянное произведение.

Вот название глав: «Почему я так осторожен», «Почему я так умен», «Почему пишу такие хорошие книги», «Почему я рок», «Слава и вечность»... Свое последнее произведение он называет «Ессе Ното». Что означает это заглавие? Это Антихрист или новый Христос? То и другое вместе. Как Христос, он принесен в жертву. Христос — человек и Бог: он победил искушения, которые представлялись ему. Ницше — человек и сверхчеловек: он знал все слабые желания, все низкие мысли и оттолкнул их. Никто до него не был так нежен и так суров, никакая реальность не испугала его. Он взял на себя не только грехи человечества, но все их страхи в самой сильной их степени. «Иисус на кресте, — пишет он, — это проклятие жизни; Дионис, разрезанный на куски, — это обещание жизни, жизни неразрушимой, навсегда воскреснувшей». У христианского отшельника был Бог: Ницше одинок, и у него нет Бога; древние мудрецы имели друзей: Ницше одинок и у него нет друзей. У стойка была вера в смысл своего отречения: Ницше живет без веры и в постоянной борьбе с самим собой. Но он все-таки живет и может заставить себя в этой жестокой жизни петь свои дионисийские гимны. «Я не святой, — пишет он, — я сатир...» — «Я написал столько книг, — пишет он снова, — и таких прекрасных, каким же образом я могу не быть благодарным жизни?»

Это было неправдой: Ницше не был сатиром, это святой, раненый святой, который жаждет смерти. Он говорит, что благодарен жизни; это неправда; душа его полна горечи. Он лжет, но ложь бывает иногда победой, единственной, оставшейся человеку. Когда Аррия, умирая от нанесенного себе самой удара, говорила мужу, отдавая ему свое оружие: «*Pete, non dolet*», — она лгала, и это стало ее славой. «Ее святая ложь, — писал Ницше в 1879 году, — затмила все оказанные до этого дня ис-

тины умирающих». Нельзя ли и здесь повторить те же слова? Ницше не торжествовал: *Ессе Ното* разбит, но не сознается в этом. Он поэт, он хочет, чтобы его предсмертный крик был песнью; последний поэтический порыв волнует его душу и дает ему силы для того, чтобы лгать:

«День моей жизни! Ты приближаешься к вечеру; уже глаз твой светится наполовину, истомленный; уже журчат капли твоей росы, рассеянные, как слезы; уже расстилается спокойно по твоему молочному морю твой любимый пурпур, твой последний поздний свет. Кругом нет больше ничего, кроме играющих волн. Моя, прежде непокорная, лодка бессильно затонула в голубом забвении. Я забыл о грозах, о путешествиях, потонули все желания и надежды, и душа и море спокойны. Седьмое одиночество. Никогда я не чувствовал, что нежное успокоение так близко от меня, так жарки лучи солнца. Лед моей вершины, не блестит ли он уже вдали? Вдоль моей лодки скользнула и исчезла золотая рыбка...»

Но тем не менее Ницше чувствует приближение давно желанной славы. Георг Брандес, собиравшийся повторить и издать свои лекции о нем, находит ему нового читателя, шведа Августа Стриндберга. Ницше был чрезвычайно счастлив и поделился своим счастьем с Петером Гастом. «Стриндберг прислал мне письмо, — пишет он ему, — и в первый раз я получил отклик мировой и исторический (*Welthistorik*)». В Петербурге собирались переводить его «*Преступление Вагнера*». В Париже Ипполит Тэн ищет и находит ему корреспондента: Жан Бурдо, редактор «*Деба́*» и «*La Revue des deux Mondes*». «Наконец, — пишет Ницше, — открылся великий панамский канал во Франции. Его старинный друг Дейссен передал ему 2 000 франков от одного неизвестного, который хочет подписаться на издание его книг. М-лле де Сали-Маршлен той же целью дает ему

тысячу. Ницше мог бы быть счастлив, но уже слишком поздно.

Мы не знаем, как прошли его последние дни. Он жил в меблированной комнате, в семье небогатых людей, которые, по его желанию, и кормили его. Он поправлял отрывки *«Ессе Ното»*, прибавив к основному тексту *postscriptum*, потом дифирамбическую поэму; в то же время он готовил новый памфлет. *«Nietzsche contra Wagner»*. «Прежде чем выпустить в свет первый том моей большой работы, — пишет он своему издателю, — надо приготовить к нему публику, надо создать настоящее напряжение внимания, или его постигнет та же участь, что и «Заратустру»...» 8 декабря он пишет Петеру Гасту: «Я перечел *«Ессе Ното»*, я взвесил каждое слово на вес золота; оно буквально делит на две части историю человечества. — Это самый страшный динамит». 29 декабря он пишет своему издателю: «Я присоединяюсь к вашему мнению: не будем издавать *Ессе Ното* в количестве тысячи экземпляров; неблагоприятно издавать в Германии тысячу экземпляров книги, написанной таким высоким стилем. Во Франции, я вам говорю серьезно, я допускаю 80 000—40 000 экземпляров». 2 января он снова пишет письмо (буквы большие и бесформенные): «Возвратите мне поэму — вперед с *Ессе!*»

Согласно трудно поддающемуся проверке сообщению, Ницше в течение последних дней играл своим хозяевам отрывки из Вагнера и говорил им: «Я знал его», и рассказывал им о Трибшене. Очень важно, что воспоминания самого высшего счастья, которое он испытал в жизни, снова посетили его, и он с самозабвением рассказывал о них бедным людям, ничего не знающим об его жизни. Ведь он только что написал в *«Ессе Ното»*:

«Так как здесь я говорю о днях отдыха, которые я встретил в моей жизни, я должен в нескольких словах высказать мою благодарность тому, что было самым

глубоким, прекрасным моим покоем. Это было, без сомнения, время моей самой интимной дружбы с Рихардом Вагнером. Я отдаю должное моим остаткам отношений с людьми, но ни под каким видом не хочу стирать в моей памяти дни, проведенные в Трибшене, дни доверия, веселья, божественных случайностей — г л у б о к и х взглядов... Что Вагнер давал другим, я не знаю. На нашем небе не было никогда ни одного облака».

* * *

9 января 1889 года Франц Овербек с женой стояли у окна своего мирного базельского дома. Он заметил старого Буркхардта, который остановился и позвонил у его дверей; он очень этому удивился; с Буркхардтом он никогда не был близко знаком, и какое-то внутреннее предчувствие подсказало ему, что общий их друг Ницше был причиной этого посещения. В течение нескольких недель он получал из Турина тревожные известия, и Буркхардт подтвердил его подозрения; теперь он принес длинное и очень прозрачное по своему содержанию письмо. Было ясно, что Ницше сошел с ума: «Я Фердинанд Лессепс, — писал он, — я Прадо, я Шанбиг (двое убийц, которые занимали все парижские газеты); я был погребен в течение осени два раза...» Через несколько минут Овербек получил подобное же письмо, и все друзья Ницше получили такие же. Он написал каждому из них.

«Друг Георг, — писал он Брандесу, — с тех пор, как ты открыл меня, теперь не чудо найти меня; гораздо труднее теперь потерять меня...

Распятый».

Петер Гаст получил письмо, все трагическое значение которого он не понял:

«Моему maestro Pietro. Спой мне новую песню. Мир ясен и все небеса радуются.»

Распятый».

«Ариадна, — писал он Козиме Вагнер, — я люблю тебя».

Овербек тотчас же поехал в Турин. Он нашел Ницше под наблюдением его хозяев; он играл на пианино локтем своей руки, пел и кричал во славу Диониса. Овербеку удалось перевезти его в Базель, без особенно тяжелых сцен; там он поместил его в лечебницу, куда вскоре приехала его мать.

Ницше прожил еще десять лет. Первые годы были мучительны, последние более спокойны, минутами даже была надежда на выздоровление. Иногда он вспоминал о своих произведениях: «Разве я не писал прекрасных книг?» — спрашивал он.

Когда ему показали портрет Вагнера, то он сказал: — Этого я очень люблю.

Светлые промежутки его сознания могли бы быть ужасными, но, кажется, они такими не были. Однажды сестра, сидевшая около него, не могла удержаться от слез. «Лизбет, — сказал он ей, — зачем ты плачешь? Разве мы не счастливы?»

Погибший интеллект спасти было нельзя; но нетронутая душа его осталась такой же нежной и обаятельной, восприимчивой к каждому чистому впечатлению. Однажды (молодой человек, занятый изданием книг Ницше, сопровождал больного в его недолгих прогулках) Ницше заметил на краю дороги прелестную маленькую девочку. Он подошел к ней, остановился, поднял упавшие ей на лоб волосы и, с улыбкой глядя в ее целомудренное лицо, сказал: «Не правда ли, вот олицетворение невинности?»

Фридрих Ницше умер в Веймаре, 25 августа 1900 г.

Содержание

	Предисловие	3
I.	Годы детства	9
II.	Годы юности	33
III.	Фридрих Ницше и Рихард Вагнер. Трибшен	67
IV.	Фридрих Ницше и Рихард Вагнер. Байройт	125
V.	Кризис и выздоровление	201
VI.	Заратустра	237
	I. Вечный возврат	239
	II. Так говорил Заратустра	266
	III. Приезд Генриха фон Штейна	293
VII.	Последнее одиночество	311
	I. По ту сторону добра и зла	313
	II. Воля к власти	329
	III. На пути к мраку	365

Даниэль Галеви
Жизнь Фридриха Ницше

Перевод с французского *А. Н. Ильинского*

Художник *С. Царёв*
Художественное оформление *Е. Колобова*
Корректоры: *О. Милованова, Н. Никанорова*

Лицензия ЛР № 065194 от 2 июня 1997 г.
Сдано в набор 20.09.97. Подписано
в печать 21.10.97. Формат 84×108/32.
Бум. офсетная. Гарнитура CG Times. Печать
высокая. Усл. п. л. 20,16. Тираж 10 000 экз.
Зак. № . 305.

Издательство «Феникс»
344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 17
Отпечатано с готовых диапозитивов в ЗАО «Книга»
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 57



Фридрих Ницше — одна из самых сложных, противоречивых и загадочных фигур в мировой философии.

Много раз в литературе делались попытки истолковать его учение. Жестоким душевный недуг, отравивший последнюю четверть жизни Фридриха Ницше, нередко рассматривали как праведную божественную кару за его «нечестивое» вольнодумство.

Скорбный и привлекательный облик гениального скептика-страдальца, сгоревшего на жертвенном пламени своего неугасимого духа, встанет перед внимательным читателем прекрасной книги Даниэля Галеви.

Да будет правдивый талантливый труд последнего оценен по достоинству в России — стране, к которой Фридрих Ницше относился всегда с живейшим интересом и заочной сердечной симпатией.